



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

P Slav 381.60 (12-13)

The gift of

Library of the
University of Petrograd

HARVARD COLLEGE LIBRARY

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

СБОРНИКЪ

Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Н. И. КАРѢВА.

(1904 г.).

ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1904.

PSlav 381.60

Slav 25.20

МАР. В. А.
(JUL 17 1924)

Library of
University of Petrograd



3347

Печатается по постановленію Комитета Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ. Спб., 16 мая 1904 года.

Предсѣдатель *Н. Кареевъ*.

Н. Н. БУЛИЧЪ.

О Ч Е Р К И

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И

ПРОСВѢЩЕНІЯ

СЪ НАЧАЛА ХІХ ВѢКА.

ТОМЪ II.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.

1904.



8348

ЛЕКЦІЯ I.

1812 годъ. — Патриотическое направленіе литературы.—С. Глинка. — Растопчинъ.—Его афиши.

Въ половинѣ царствованія Александра Россіи суждено было вынести тяжелое испытаніе, которое значительно повліяло на историческія судьбы ея, на духъ общества и поставило власть въ другія отношенія къ народу. Мы говоримъ о 12-мъ годѣ и объ исполнинской борьбѣ съ Наполеономъ, взволновавшей государство и общество до самаго основанія и сильно, хотя и не надолго, поднявшей общественное сознаніе. Тяжелый ударъ упалъ на безмолвную до тѣхъ поръ страну и возбудилъ вдругъ всѣ ея силы и въ особенности чувство національнаго достоинства и оскорбленной народной гордости, которая потомъ вполне удовлетворилась нашими побѣдами и политическимъ преобладаніемъ въ Европѣ. Не могли эти великія событія, переживаемыя съ трепетнымъ волненіемъ современниками, не отразиться на идеяхъ, и на умственной дѣятельности, какъ бы ни была незначительна эта послѣдняя. Въ эту замѣчательную эпоху общаго народнаго напряженія мы видимъ какъ бы поворотную точку, съ которой начинается измѣненіе и въ направленіи власти и въ направленіи общества. Нельзя отрицать вліянія войны 1812 года на народное сознаніе, потому что война эта была народная, потому что въ ней ставился вопросъ о существованіи. Съ голоса патриотической литературы, которая начала имѣть вліяніе на наше общественное мнѣніе съ первыхъ неудачныхъ встрѣчъ съ Наполеономъ, въ массу народа проникла глубокая ненависть къ врагу. Это чувство было общимъ и господствовавшимъ въ то время. Нашествіе французовъ, наши потери, занятіе Москвы и пожаръ ея произвели глубокое впечатлѣніе на сознаніе народа; оно не вдругъ прошло и не вдругъ уступило мѣсто ходу событій. Изгнаніе врага и побѣды подняли и возбудили родную гордость, тѣшили народное самолюбіе. Но утверждать, что эпоха

12-го года имѣла другое, болѣе рѣшительное и глубокое вліяніе на всю нашу исторію и наше развитіе, что съ нея измѣнился самый ходъ послѣдняго и вмѣсто прежней подражательности и прежнихъ заимствованій изъ Европы начинается пора самостоятельнаго развитія и въ жизни и въ мысли и въ литературѣ—будетъ не со-всѣмъ сиравадливо. Порывъ чувства былъ слишкомъ силенъ и стреми-теленъ; но онъ прошелъ такъ же скоро, какъ и пришелъ. Самосто-ятельнаго и глубоко-національнаго развитія въ жизни мы не увидимъ, но увидимъ, что самая жизнь эта стала глубже и многостороннѣе; вліяніа европейскія сдѣлались гораздо сильнѣе; болѣе тѣсное сбли-женіе и знакомство съ Европою, въ томъ обновленномъ и полномъ движеніи видѣ, въ какомъ она вышла изъ революціонной борьбы, еще болѣе распространили у насъ эти вліяніа. Съ помощію ихъ и въ на-шей мысли началось болѣе глубокое движеніе; она съ болѣе рѣши-тельною смѣлостію принялась за разработку внутреннихъ обществен-ныхъ вопросовъ, получила 'отгѣнокъ' политическій и пыталась даже выступить на практическое поприще.

Съ этимъ ходомъ нашего общественнаго развитія въ эпоху тя-желой борьбы съ Наполеономъ сообразовалась и литература наша. На ней отражался ходъ событій и знаменія времени, не смотря на всю ея слабость и подцензурное безсиліе. Мы довольно подробно гово-рили о нашемъ литературномъ движеніи въ замѣчательную эпоху на-чала царствованія Александра. Мы видѣли слабыя несвободныя и неумѣлыя попытки литературы въ эпоху первыхъ надеждъ на лучшее устройство,—во время первыхъ преобразованій, о которыхъ мечталъ Александръ и его молодые и либеральные совѣтники. Требовать отъ этой литературы больше, чѣмъ дала она при общей незрѣлости мысли, при совершенной непривычкѣ общества заниматься вопросами дѣйстви-тельной жизни—мы не имѣемъ права. Явившись въ эпоху реформы Петра, эта литература служила только дѣлу реформы; ея главное вниманіе обращено было на Европу, художественнымъ явленіямъ которой она должна была по необходимости подражать, усвоивая своей странѣ общія начала цивилизаціи. Необходимо должна она была находиться подъ вліяніемъ явленій болѣе могущественныхъ и даже съ чужой точки зрѣнія смотрѣть на свою собственную, на-родную жизнь. Въ такомъ положеніи, за самыми ничтожными исклю-ченіями, литература наша находилась въ теченіе всего XVIII вѣка. Въ концѣ этого вѣка и началѣ XIX мы познакомились съ крупнымъ литературнымъ явленіемъ—произведеніями Карамзина, въ которыхъ уже замѣтенъ нѣкоторый успѣхъ, сравнительно съ предшествовав-шимъ временемъ, успѣхъ, заключающийся въ томъ, что онъ проще и естественнѣе взглянулъ на жизнь, что онъ ближе подвинулся къ

дѣйствительности, чѣмъ его предшественники, хотя все содержаніе его литературной дѣятельности разработывало вялый сентиментализмъ, тупую привязанность къ неподвижнымъ формамъ государственной жизни и ненависть къ реформамъ, задуманнымъ лучшими людьми въ началѣ царствованія Александра. Эти реформы дали нѣкоторое оживленіе русской мысли, особенно въ журналистикѣ, чему способствовали, разумѣется, самыя взгляды правительства и желаніе дать относительный просторъ мысли. Но это кратковременное оживленіе не составляло еще значительнаго успѣха, литература не понимала народной жизни, потому что не изъ нея и вытекала она; правда жизни, какъ и дѣйствительныя потребности ея были далеки отъ нея. При томъ прежній тонъ литературной похвалы и самовосхваленія, тонъ напыщенной оды, представителемъ которой была Державинская поэзія, продолжалъ господствовать по-прежнему. Немногіе понимали его безсодержательность, и критика не смѣла еще возставать на прославленные авторитеты. У Державина было много послѣдователей и тонъ его поэзіи, состоящей въ восхваленіи самодержавія, побѣдъ и героевъ, не смотря на пробужденіе въ русской жизни болѣе высокихъ потребностей, продолжалъ господствовать и въ первую половину царствованія Александра. При преобладаніи такого тона и такихъ идеаловъ, которые совершенно приходились по плечу большинству общества, слабый голосъ журнальной литературы, касавшейся вопросовъ общественныхъ и робко трактовавшей о задуманныхъ реформахъ, былъ едва слышенъ въ обществѣ. Эта литература была слишкомъ незрѣла, долго шла на помочахъ у власти и была слишкомъ запугана, чтобъ имѣть независимый голосъ и говорить свободно, именно о томъ, что составляетъ главное содержаніе литературы—о вопросахъ общественныхъ—и тѣмъ служить развитію страны.

Прежняя литературная рутинa была такъ сильна, что пробудившійся голосъ новыхъ идей былъ совершенно заглушенъ *патріотическимъ направленіемъ*, усилившимся во время неудачныхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ. Въ ряду другихъ литературныхъ явленій того времени: художественной поэзіи, мистицизма и журналистики, патріотическое направленіе стало самымъ сильнымъ и тонъ его проникъ во всѣ литературныя области. Мы познакомились уже отчасти съ дѣятельностію представителей патріотической литературы передъ самою войною 12-го года: съ Шишковымъ, Растопчинымъ и Глинкою. Всѣ трое въ эпоху 12-го года являются во главѣ движенія.

Мы довольно подробно говорили о борьбѣ Шишкова съ Карамзинистами, гдѣ выступаетъ тоже это патріотическое направленіе, гдѣ, повидимому, дѣло шло о словахъ и формахъ языка, но въ сущности происходила борьба стараго съ новымъ. Шишковъ былъ представи-

телемъ старыхъ Ломоносовскихъ и Сумароковскихъ преданій въ языкѣ; въ языкѣ Карамзина были видны новыя, свѣжія силы, въ немъ замѣтно французское вліяніе, а этого было довольно Шишкову, чтобъ видѣть въ Карамзинѣ и въ его школѣ революціонеровъ и вредныхъ людей, обвинять ихъ въ вольнодумствѣ и даже въ измѣнѣ отечеству, тогда какъ въ дѣйствительности между идеями Шишкова и идеями Карамзина, по отношенію къ государственной жизни, не было существенной разницы. И тотъ и другой говорили одинаково въ пользу консервативныхъ идей и уваженія къ старинѣ, какова бы она ни была. Съ голоса Шишкова наша литература наполнилась выходками противъ всего французскаго, противъ нашихъ французскихъ учителей, въ рукахъ которыхъ, по необходимости, было такъ долго воспитаніе русскаго юношества. Теперь, подѣ вліяніемъ неудачъ и пораженій, подѣ вліяніемъ нелюбви къ преобразованіямъ и новой жизни, нелюбви, которая въ каждомъ французѣ заставляла видѣть революціонера и царевубійцу, раздраженіе противъ всего французскаго достигло высшей степени, хотя въ немъ и замѣтно было много дѣтскаго и недѣльнаго.

Но Шишковъ, какъ личность, въ своихъ увлеченіяхъ и нападеніяхъ на все французское былъ искрененъ, хотя и недѣленъ; таково было его воспитаніе и таковъ былъ складъ его ума. Едва ли можно говорить объ искренности убѣжденія въ литературно-патріотической дѣятельности Растопчина, хотя онъ по таланту стоялъ выше Шишкова. Простодушнѣе и наивнѣе Шишкова былъ С. Глинка съ своимъ дѣтски патріотическимъ журналомъ „Русскій Вѣстникъ“. Журналъ этотъ, который онъ сталъ издавать въ одно время съ патріотическими брошюрами Растопчина и подѣ его вліяніемъ, былъ и задуманъ имъ для пробужденія въ русскомъ обществѣ національнаго чувства и патріотизма, посвященъ прославленію старинныхъ добродѣтелей и достоинствъ русскаго народа, желанію поднять во что бы то ни стало людей древней Руси, при чемъ Глинка, въ наивномъ увлеченіи своемъ, иногда чрезвычайно забавно сравнивалъ мысли древнихъ русскихъ людей съ европейскою наукою, которую онъ зналъ гораздо лучше, чѣмъ древнюю Русь. Промахи Глинки не замѣчались тогдашнимъ неразвитымъ русскимъ обществомъ; оно безраздѣльно подчинилось его пылкому увлеченію, и въ эпоху борьбы съ Наполеономъ онъ имѣлъ большое значеніе и нравственный авторитетъ. Онъ даже пожалованъ былъ орденомъ „за любовь къ родинѣ“, какъ сказано въ рескриптѣ. Это былъ вполнѣ цѣльный и честный характеръ, чѣмъ и объясняется его вліяніе даже на молодое поколѣніе. Произведенія Растопчина въ ту пору пользовались также большою популярностію, хотя подѣ слоемъ патріотизма въ нихъ выступало наружу

личное честолюбіе, а не искреннее и глубоко убѣжденное чувство. Теперь, когда прошло уже много времени, легко замѣтить даже въ самомъ слогѣ его что-то натянутое и придуманное. Растопчивъ былъ человекъ вовсе не воспитанный по-русски; народъ и его положеніе были не близки ему; онъ тупо и упорно стоялъ за старыя формы жизни и защищалъ крѣпостное право, видя въ освобожденіи вредъ для государства. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ скорѣе поддавался подъ народный тонъ, чѣмъ понималъ его.

Съ такимъ общимъ характеромъ представляется намъ русская литература въ первую половину царствованія Александра I. Она была слабымъ выраженіемъ слабаго и неопредѣленнаго общественнаго мнѣнія. Въ этомъ обществѣ только самая ничтожная часть его, и то поддерживаемая сначала, правительствомъ, думала о лучшемъ будущемъ, о реформахъ, необходимыхъ для государства и народа. Но само правительство, по личному характеру Александра, колебалось и выражало постоянно нерѣшительность; оттого мнѣнія меньшинства не имѣли ни твердости, ни возможности дѣйствовать на жизнь. Приверженцы стараго порядка, удалившіеся было отъ дѣлъ въ началѣ царствованія, недовольные новыми людьми, окружавшими молодого императора, и новыми идеями, грозившими измѣнить старину, отчаявались недолго и скоро опять подняли голову. 12-й годъ помогъ имъ очень много.

Съ этого времени правительство покидаетъ путь реформъ и улучшеній, и представители стараго порядка снова управляютъ дѣлами. Посреди тревожныхъ ожиданій общественнаго мнѣнія, въ виду близящагося нашествія Наполеона, правительство должно было уступить напору консервативной партіи; оно испугалось; идеи Карамзина, которыми онъ грозилъ власти въ своей знаменитой „Запискѣ“ и которыя были приняты сначала неблагосклонно, теперь восторжествовали и сдѣлались руководящими. Создатель всѣхъ реформъ и преобразованій въ администраціи—Сперанскій, на голову котораго сыпалось столько проклятій, палъ къ общей радости консерваторовъ; его реформы и конституціонные планы заслужили теперь ему названіе „измѣнника“, съ которымъ соглашался и самъ Александръ, принесшій его въ жертву всеобщему раздраженію. „Не знаю, смерть лютаго тирана могла ли бы произвестъ такую всеобщую радость“, говоритъ современникъ о паденіи и ссылкѣ Сперанскаго¹⁾. Изъ этого уже можно видѣть, какъ настроено было тогда общественное мнѣніе въ Россіи, хотя оно не имѣло ни голоса, ни выраженія и ничтожныя газеты того времени не смѣли даже напечатать извѣстія о такой перемѣнѣ.

¹⁾ Записки Ф. Ф. Вигеля, вып. IV, стр. 33.

Въ самую эпоху 12-го года, въ это время порывовъ и патриотическаго увлеченія, ненависть къ иностранцамъ и въ особенности къ французамъ достигаетъ своего полного развитія и естественно ожидать, что знакомое намъ патриотическое направленіе должно торжествовать въ литературѣ. Извѣстенъ чрезвычайный успѣхъ новаго журнала, появившагося въ 1812 году и посвященнаго возбужденію патриотизма и описанію подвиговъ русскихъ въ отечественную войну. Редакторомъ его былъ въ то время еще молодой и мало кому знакомый литераторъ Н. И. Гречъ. Журналъ этотъ— „Сынъ отечества“, самое названіе котораго уже достаточно показываетъ его направленіе. Хотя впоследствии онъ много разъ измѣнялъ этому направленію, но въ ту пору все оно состояло въ ожесточенномъ преслѣдованіи Наполеона и французовъ, въ дивихъ насмѣшкахъ надъ побѣжденнымъ врагомъ. Ненависть къ завоевателю и французамъ перешла въ ненависть къ идеямъ, созданнымъ французскою литературою XVIII вѣка, и къ принципамъ, которые создала революція. И то и другое смѣшивалось.

Такимъ же успѣхомъ, вслѣдствіе всеобщаго возбужденія въ разныхъ слояхъ общества, пользовались знаменитыя *Теребеневскія* карикатуры (по имени художника ихъ исполнявшаго, хотя у него были и другіе помощники). Это были политическія карикатуры того времени во всей своей грубой непосредственности. Подняться выше онѣ не могли, потому что настоящая политическая карикатура развивается только въ странахъ съ свободною государственною жизнью и немислима при существованіи цензуры. Теребеневскія карикатуры издавались съ разрѣшенія цензуры и все ихъ немудреное содержаніе заключалось въ грубой насмѣхѣ надъ побѣжденнымъ врагомъ, въ желаніи возбудить къ нему ненависть. Тутъ была лезть животнымъ инстинктамъ народа, а въ подписяхъ подъ карикатурами мы встрѣчаемъ поддѣлку подъ народный складъ языка, на манеръ Растопчина. Правительство поддерживало подобныя литературныя и художественныя явленія, потому что старалось и съ своей стороны о возбужденіи народнаго чувства. Патриотическая ненависть къ французамъ и Наполеону достигла высшей степени въ пресловутыхъ *афишахъ* или печатныхъ объявленіяхъ графа Растопчина, въ которыхъ онъ разговаривалъ съ московскими жителями о приближающемся къ столицѣ врагѣ. Мы говорили уже о предшествовавшей литературной дѣятельности Растопчина, возникшей во время первыхъ несчастныхъ войнъ нашихъ съ Наполеономъ, подъ влияніемъ внутренняго недовольства преобразованиями и неудовлетвореннаго честолюбія, такъ какъ Растопчинъ не пользовался милостію Александра. Растопчинъ находился въ оппозиціи, и въ обществѣ московскомъ разноси-

лись его остроумныя выраженія, которыя не могли нравиться правительству. Его личный характеръ тоже не располагалъ къ нему. Чрезвычайно впечатлительная, желчная и раздражительная натура его во многомъ напоминала императора Павла, любимцемъ котораго онъ былъ и которому онъ обязанъ былъ какъ своимъ возвышеніемъ въ служебной іерархіи, такъ и жалованнымъ богатствомъ.

Александръ сблизился съ нимъ незадолго до войны 12-го года. Въ этомъ сближеніи, какъ это было и по отношенію къ Карамзину, принимала участіе В. К. Екатерина Павловна, недовольная Сперанскимъ и преобразованіями, сдѣланными имъ. Родство и дружба Растопчина съ Карамзинымъ, одинаковость ихъ взглядовъ и убѣжденій обратили на него вниманіе Великой Княгини, а въ началѣ 12-го года, когда все общественное мнѣніе было встревожено близящимся грознымъ нашествіемъ Наполеона, когда послѣдовало неожиданное паденіе Сперанскаго, всѣ указывали на Растопчина, какъ на главу консервативной партіи, какъ на будущаго спасителя отечества. Всѣ приписывали ему извѣстное подложное письмо къ императору, весьма грубое по формѣ и выраженію, гдѣ Сперанскій выставился главою заговора, желавшаго предать Россію въ руки Наполеона и лишить ее всякихъ средствъ къ оборонѣ. Какъ бы то ни было, Растопчинъ, если не прямо, то своими словами и дѣйствіями много способствовалъ паденію Сперанскаго. Въ ту тяжелую пору всеобщаго страха и недоумѣнія, когда напуганное мнѣніе вездѣ и во всемъ видѣло измѣну, когда, уступая подозрѣніямъ подобнаго рода, Александръ назначилъ, противъ своего желанія, Кутузова главнокомандующимъ вмѣсто Барклая де-Толли, почитаемаго измѣнникомъ, назначеніе Растопчина на важный постъ московскаго главнокомандующаго было встрѣчено всеобщимъ одобреніемъ. Онъ былъ дѣйствительно въ то время на своемъ мѣстѣ. Страстный по своей впечатлительной натурѣ и деспотъ въ душѣ, Растопчинъ сжалъ первопрестольную столицу въ своихъ крѣпкихъ рукахъ и распорядился въ ней самовластно; это былъ диктаторъ, которому обстоятельства придавали силу. Въ этому времени, именно къ 12-му году, къ двумъ или тремъ мѣсяцамъ передъ тѣмъ, какъ Наполеонъ занялъ Москву, относятся его *Афиши* или объявленія къ народу, которыя въ нашихъ исторіяхъ литературы обыкновенно считаются за образцовыя произведенія. Онѣ, дѣйствительно, были тогда замѣчательнымъ явленіемъ въ нашей жизни: появленіе ихъ доказываетъ, какъ необходимо для правительства и власти печатное слово, и надобно только сожалѣть, что такъ рѣдко и то только въ затруднительныхъ обстоятельствахъ прибѣгаютъ къ этому средству.

Всѣхъ афишъ 10 или 12. Болѣе полное ихъ изданіе находится у

Богдановича ¹⁾). Содержаніе этихъ объявленій къ народу заключается въ увѣдомленіи москвичей о движеніи нашихъ и непріятельскихъ войскъ, о числѣ ихъ, при чемъ, конечно, главная цѣль Растопчина была воодушевить и ободрить народъ и въ особенности успокоить его, такъ какъ Москва въ то время была полна волненіемъ въ виду приближавшагося нашествія. Изъ Москвы Растопчинскія афишки переходили и въ ближайшія губерніи и вездѣ читались съ жадностію. Растопчинъ находился въ довольно затруднительномъ положеніи. Не смотря на то, что онъ старался въ своихъ афишахъ удержать москвичей отъ выселенія изъ города, смѣялся надъ тѣми, которые выѣзжали, какъ надъ трусами, „жизнію отвѣчалъ, по его выраженію, что злодѣи въ Москву не будутъ“, выселеніе людей достаточныхъ, дворянъ, купцовъ и чиновниковъ было очень значительно, да и само правительство выводило и вывозило изъ Москвы государственныя драгоцѣнности, присутственныя мѣста, воспитательныя заведенія, монаховъ, монахинь и пр. Все это раздражало народъ и противорѣчило утвержденіямъ Растопчина. Тѣ, которые вѣрили его увѣреніямъ, раскаялись жестоко потомъ, что остались въ Москвѣ, и въ этомъ въ особенности надобно искать причину того, что Растопчинъ такъ скоро потерялъ свою популярность. Часто эти афиши приводили народъ въ недоумѣніе: онъ не зналъ, чему вѣрить — словамъ ли главнокомандующаго или тому, что онъ зналъ изъ другихъ источниковъ. Надобно думать, что самъ Растопчинъ, какъ онъ и говоритъ въ своемъ рапортѣ Сенату ²⁾), былъ вполне убѣжденъ, что русская армія отстоитъ Москву и не допуститъ въ нее непріятеля, и полагался на утвержденія Кутузова въ этомъ смыслѣ: „моя цѣль, говоритъ онъ, состояла единственно въ томъ, чтобъ спокойствіемъ Москвы сохранить спокойствіе и во всей Россіи, спасти жителей столицы и оставить ее на погибель непріятеля безъ людей и безъ пищи: въ чемъ, благодареніе Всевышнему! успѣлъ совершенно!“ Въ противоположность Кутузову, Растопчинъ видѣлъ въ паденіи Москвы погибель всей Россіи. „Каждый теперь изъ русскихъ, писалъ онъ къ Кутузову, полагаетъ всю силу въ столицѣ и справедливо почитаетъ ее оплотомъ царства; но съ ея впаденіемъ въ руки злодѣя, цѣпь, связывающая все мнѣніе и укрѣпленная къ престолу государей нашихъ, разорвется, и общее рвеніе, раздѣляясь на части, останется бездѣйственно“. Онъ воображалъ, что Наполеонъ, утвердившись въ Москвѣ, будетъ безпрепятственно править Россіею ³⁾). И Растопчинъ хотѣлъ отстоять Москву, возбуждая ея населеніе къ

¹⁾ „Исторія Александра I. т. III, Прил., стр. 69—73“.

²⁾ „Русск. Арх.“ 1868 г., стр. 884.

³⁾ „Русск. Стар.“ 1870 г., II, стр. 305.

оборонѣ, унижая въ его глазахъ врага шутками, въ которыхъ поддѣлывался подъ грубый тонъ народа. „Какъ! Къ намъ? — говоритъ Раstopчинъ устами московскаго мѣщанина Карюшки Чихирина, выпившаго лишній кружокъ на тычекъ, „милости просимъ, хотъ на святкахъ, хотъ на масленицу; да и тутъ жгутами дѣвки такъ припоняты, что спина вздуется горой. Полно демономъ-то наряжаться; молитву сотворимъ, такъ до пѣтуховъ сгинешь! Сиди-ка дома, да играй въ жмурки, либо въ гулячки. Полно тебѣ фиглярить; вить солдаты-то твои карлики да щегольки: ни трупа, ни рукавицъ, ни малахая, ни онучь не надѣнуть. Ну гдѣ имъ русское житье-бытье вынести? Отъ капусты раздуются, отъ каши перелопачуются, отъ щей задохнутся, а которые въ зиму-то и останутся, такъ крещенскіе морозы поморятъ, будутъ у воротъ замерзать, на дворѣ околѣвать, съ сѣняхъ зазывать, въ избѣ задыхаться, на печи обжигаться“... ¹⁾ Онъ увѣрялъ народъ, что легко побѣдить французовъ, даже однимъ москвичамъ: „И выйдемъ сто тысячъ молодцевъ, возьмемъ Иверскую Божию Матерь, да 150 пушекъ и кончимъ дѣло всѣ вмѣстѣ. У непріятеля же своихъ и сволочи 150 т. человекъ, кормятся пареною рожью и лошадинымъ мясомъ“... „Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее отдуемъ; все перемелется, мука будетъ“... „Мы своимъ судомъ съ злодѣемъ разберемъ! Когда до чего дойдетъ, мнѣ надобно молодцевъ и городскихъ и деревенскихъ; я вличъ вликну дни за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо съ топоромъ, не дурно съ рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки; французъ не тяжеле снопа ржаного“... ²⁾ Изъ этихъ отрывковъ Раstopчинскихъ воззваній видно, что національное чувство, имъ возбуждаемое, походило скорѣе на раздражительность и ненужное хвастовство, напоминающее извѣстное выраженіе: „шапками закидаемъ“! Въ афишахъ не было уваженія ни къ врагу, ни къ русскимъ. Народа и не могъ уважать Раstopчинъ по всему складу своихъ убѣжденій и по характеру. Онъ смотрѣлъ на него, какъ на бессмысленную толпу, которую можно обманывать бойкими фразами въ псевдо-народномъ духѣ и ложными извѣстіями.

¹⁾ Соч. Раstopчина, изд. Смирдина, стр. 163—164.

²⁾ Богдановичъ, т. III, прил., стр. 69—73.

ЛЕКЦІЯ П.

„La vérité sur l'incendie de Moscou“.—Казнь Верещагина.—Общая характеристика личности Раstopчина.—Шишковъ. „Опытъ славенскаго словаря“. „Разсужденіе о любви къ отечеству“.—Назначеніе Шикова государственнымъ секретаремъ.

Двѣнадцатымъ годомъ и прославленною историческою дѣятельностію въ Москвѣ въ званіи генералъ-губернатора заканчивается собственно литературная слава Раstopчина, какъ и вообще его роль въ русской исторіи, ему современной. Скоро онъ удаляется отъ дѣлъ и событій и если не покидаетъ своего пера, то написанное имъ, болѣею частію не по-русски, не имѣетъ уже прямого отношенія къ времени и касается только его одного. Въ заревѣ всемірно-историческаго пожара Москвы, который можно считать скорѣе случайнымъ произведеніемъ народнаго грабежа и обстоятельствъ, чѣмъ сознательнымъ и обдуманымъ патриотическимъ подвигомъ, мрачная и желчная фигура Раstopчина освѣщена какимъ-то зловѣщимъ блескомъ. Этотъ пожаръ Москвы, который обыкновенно приписываютъ патриотической дѣятельности и распоряженіямъ Раstopчина, сдѣлался потомъ причиною всеобщаго неудовольствія на него, особенно со стороны многочисленнаго населенія москвичей, разоренныхъ пожаромъ и принужденныхъ возвращаться на груды развалинъ. Манифесты 12-го года приписывали пожаръ Москвы поджогамъ французовъ. Патриотическое значеніе его выступило въ сознаніи гораздо позже; на первыхъ порахъ онъ возбуждалъ только ненависть и раздраженіе, признаніе пожара какъ подвига даже сдѣлано было не русскими, а иностранцами. И самъ Раstopчинъ, уже гораздо позже, въ 1823 году, когда толки объ этомъ событіи и вопросы, поднимаемые имъ, стали часто встрѣчаться въ иностранной печати и когда усилились обвиненія его со стороны русскихъ, почелъ своею обязанностію издать въ Парижѣ книжку „La vérité sur l'incendie de Moscou“, въ которой онъ отрицалъ фактъ своихъ распоряженій и снималъ съ себя всякую отвѣтственность за пожаръ. Поклонники Раstopчина думаютъ, что эта странная книжка была написана имъ изъ уваженія къ русскому народу ¹⁾, что въ ней Раstopчинъ не желалъ приписывать себѣ одному честь высокаго патриотическаго самопожертвованія, а хотѣлъ ее раздѣлить съ народомъ русскимъ... Но мы знаемъ, что онъ не уважалъ этотъ народъ. Скорѣе можно думать, что Раstopчинъ, жившій тогда

¹⁾ „Русск. Арх.“, 1869 г., стр. 1443.

въ Парижѣ и читавшій французскіе газеты и журналы, въ которыхъ московскій пожаръ выставялся какъ величайшее варварское дѣло, недостойное XIX вѣка, желалъ снять съ себя общія обвиненія.

Другое обстоятельство того же 12-го года еще болѣе въ зловѣщемъ свѣтѣ выставяетъ мрачную личность Растопчина. Это трагическая смерть Верещагина, несчастнаго молодого человѣка, попавшагося въ руки раздраженной московской черни съ рукописнымъ переводомъ Наполеоновской прокламаціи, сдѣланнымъ имъ изъ празднаго любопытства. Обстоятельства этого дѣла, много разъ изложеннаго въ нашей печати въ воспоминаніяхъ современниковъ, не дѣлаютъ вовсе чести Растопчину. Послѣ кратковременныхъ и недостаточныхъ вопросовъ онъ выставилъ Верещагина передъ разъяренною чернью измѣнникомъ и шпиономъ французовъ (это было наканунѣ входа французовъ въ Москву) и выдалъ его на растерзаніе народу. Это былъ необдуманнѣйшій поступокъ произвола, который составлялъ существенную черту характера Растопчина, и нельзя поэтому согласиться съ Фарнгагеномъ фонъ-Энзе, представившимъ замѣчательную характеристику Растопчина, что онъ рѣшился на казнь Верещагина обдуманно и сознательно „для усиленія народнаго негодованія“. Казнь Верещагина, безъ суда и слѣдствія, была произведеніемъ только дикаго разгула власти, до котораго дошелъ Растопчинъ съ своими инстинктами, чисто татарскаго свойства. Современники рассказывали, что эта казнь Верещагина стояла грознымъ призракомъ въ памяти Растопчина до самой смерти его, что тѣнь убитаго являлась ему въ сонныхъ видѣніяхъ и мучила его совѣсть, наводя по временамъ на его далеко не чувствительную натуру неописанный ужасъ ¹⁾. Говорятъ также, что отецъ несчастнаго Верещагина, какой-то капитанъ, уже въ 1813 году, бросился къ ногамъ императора Александра и просилъ суда и слѣдствія, желая оправдать память невиннаго сына, и это было между прочимъ причиною усилившагося нерасположенія Александра къ Растопчину. Но главный источникъ неудовольствія заключался въ московскомъ пожарѣ, на который смотрѣли тогда, какъ на совершенно бесполезную жертву, какъ на страшное дѣло, погубившее столько имущества и богатствъ и разорившее такъ много народа. Александръ и прежде не любилъ Растопчина; теперь эта нелюбовь усилилась и Растопчинъ былъ уволенъ отъ званія московскаго главнокомандующаго 30 августа 1814 года. На другой годъ онъ поѣхалъ за границу какъ для лѣченія, такъ и для воспитанія своихъ дѣтей и оставался тамъ лѣтъ восемь. Его сыномъ изданы

¹⁾ *Свербеевъ*, Записки, т. I, стр. 464—8; Ф. ф.-Энзе.—„Моск. Вѣд.“, 1859 г., № 234.

отрывки изъ его „путевыхъ замѣтокъ“¹⁾, которыя, какъ кажется, были первоначально писаны на языкѣ французскомъ. Въ нихъ по-прежнему виденъ живой и наблюдательный умъ его и удивительная легкость выраженія. Недовольство и желчь, которыя составляли существенную черту этихъ записокъ, не мѣшали однако высказывать ему очень мѣткія наблюденія, гдѣ рядомъ съ признаками неудовлетвореннаго честолюбія заключалось много замѣтокъ весьма вѣрныхъ, какъ о нѣкоторыхъ людяхъ, такъ и объ обстоятельствахъ времени. То же можно сказать о собраніи его писемъ къ извѣстному кавказскому герою, его другу — Циціанову, писанныхъ еще до начала его авторства²⁾. Въ нихъ очень много любопытнаго, какъ для характеристики самого Растопчина, такъ и для характеристики времени и общества, разумѣется, подъ условіемъ личнаго его взгляда.

Большую часть своей заграничной жизни Растопчинъ естественно провелъ въ Парижѣ, гдѣ слава его имени, значительное богатство, умъ, превосходное умѣнье владѣть французскимъ языкомъ и выражаться на немъ съ замѣчательнымъ остроуміемъ, приобрѣли ему всеобщую извѣстность и знакомства въ различныхъ слояхъ общества. Его нарочно приходили смогрѣть, какъ личность чрезвычайно оригинальную, и потому очень много замѣтокъ о немъ и его характерѣ встрѣчается въ запискахъ иностранцевъ. Къ сожалѣнію, нельзя ничего сказать похвальнаго о нравственномъ характерѣ послѣднихъ годовъ его жизни. Снѣдаемый оскорбленнымъ самолюбіемъ, при пылости, дикихъ и грубыхъ инстинктахъ своего татарскаго характера, Растопчинъ пускался въ увлеченія, несвойственныя ни его лѣтамъ, ни его положенію. Онъ скрывалъ однако то чувство, которое грызло его, и распорядился выгравировать свой портретъ съ характеристическою надписью: „Безъ дѣла и безъ скуки—сизу, поджавши руки“. Вигель оставилъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ нѣсколько непривлекательныхъ намековъ о томъ, какъ этотъ старикъ „оставивъ неохотно бремя государственныхъ дѣлъ, чувственными наслажденіями хотѣлъ заглушить сожалѣнія о потерянной власти“³⁾. Вигеля подтверждаетъ и Ф. фонъ-Энзе, рассказывая объ увлеченіяхъ Растопчина штутгардскою актрисою Бреде⁴⁾. Дикій баринъ, испорченный крѣпостнымъ правомъ, хотя и съ лоскомъ парижанина, выходилъ наружу. Въ 1823 году Растопчинъ воротился въ Москву, гдѣ прожилъ недолго. Онъ умеръ 18-го января 1826 года. Послѣднее впечатлѣніе его и

¹⁾ Деятели. Вѣкъ, II, стр. 121—140.

²⁾ Тамъ же, стр. 1—113.

³⁾ Записки, вып. V, стр. 126.

⁴⁾ „Моск. Вѣд.“, 1859 г., № 234.

последнія остроумныя слова его относились къ людямъ извѣстнаго петербургскаго событія 14 декабря 1825 года, которыхъ онъ судилъ съ своей точки зрѣнія: „Обыкновенно сапожники дѣлаютъ революціи, чтобы сдѣлаться господами, а у насъ господа захотѣли сдѣлаться сапожниками“¹⁾. Растопчинъ жилъ довольно долго и стоялъ часто на самомъ верху событій, любилъ наблюдать и умно наблюдалъ, писалъ много и было о чемъ ему писать, а потому трудно предположить, чтобы послѣ него не осталось подробныхъ воспоминаній о пержитомъ имъ. Сынъ его свидѣтельствуетъ²⁾, что всѣ его бумаги, тотчасъ по смерти, взяты были въ Петербургъ.

Надобно замѣтить, что славу Растопчина составили сначала главнымъ образомъ иностранцы. Ихъ интересовала въ высшей степени эта во всякомъ случаѣ оригинальная и замѣчательная личность и роль ея въ московскомъ пожарѣ 12 года. Конечно, французы въ то время и долго спустя смотрѣли на этотъ пожаръ, какъ на поступокъ вполнѣ варварскій, свойственный только дикариямъ, а не образованному народу; но другіе иностранцы, воспитанные въ ненависти къ Наполеону, видѣли въ Растопчинѣ героя. Многіе изъ нихъ разглядѣли однако въ немъ „неумолимую жестокость башкира съ любовью француза нашего вѣка“, сужденіе, повторенное и Ф. фонъ Энзе, который имѣлъ случай говорить съ нимъ въ 1817 году. И онъ замѣтилъ въ немъ также эти характерныя черты: произволь и сильную волю, прикрытые вѣншиимъ доскомъ, и неудовлетворенное честолюбіе. Когда Растопчинъ говорилъ, что отечество было неблагодарно къ нему, то, по словамъ Фарнгагена, его страшно было слушать. Онъ замѣтилъ въ немъ и дикую основу характера. По его характеристикѣ извѣстный англійскій историкъ Карлейль составилъ о Растопчинѣ понятіе, какъ о фигурѣ въ родѣ Мивель-Анджеловскихъ³⁾. Естественно, что для нѣмцевъ время освобожденія изъ-подъ власти Наполеона Растопчинъ являлся величайшимъ патриотомъ и героемъ въ духѣ древней Греціи или Рима. Въ замѣткахъ извѣстнаго нѣмецкаго патриота Арндта, бывшаго въ Россіи въ 1812 году вмѣстѣ съ барономъ Штейномъ, онъ и представляется такимъ, а пожаръ Москвы величайшимъ патриотическимъ подвигомъ⁴⁾. Эти взгляды перешли и къ нашимъ историкамъ Отечественной войны и сдѣлались общимъ достояніемъ. Что касается до литературной дѣятельности Растопчина и до значенія ея въ исторіи нашего развитія, то, не отнимая у него

¹⁾ „Русск. Арх.“, 1868 г., стр. 1675.

²⁾ Дев. Вѣкъ, II, стр. 114.

³⁾ „Русск. Арх.“, 1866 г., стр. 509.

⁴⁾ „Русск. Арх.“, 1871 г., стр. 940.

блестящаго таланта и замѣчательной легкости выраженія, мы далеки отъ того однакожь, чтобъ приписывать его сочиненіямъ безукоризненно народный характеръ. Сознаніе и въ наукѣ и въ обществѣ растетъ съ годами, и увлеченія прежнихъ сужденій уступаютъ мѣсто взглядамъ болѣе строгимъ и обдуманнѣмъ. Всѣ произведенія Растопчина имѣли значеніе временное, а слѣдовательно, одностороннее. Видѣть въ нихъ что-нибудь больше—будетъ преувеличеніе. Онъ сдѣлалъ свое дѣло въ свое время, но не былъ народнымъ писателемъ, потому что не любилъ народа, не уважалъ ни его ума, ни сердца, а смотрѣлъ на народъ, какъ на грубую и темную массу, съ которою можно поступать деспотически и произвольно. Растопчина выдвинули впередъ обстоятельства; вмѣстѣ съ ними онъ сошелъ съ исторической сцены.

Та же знаменательная эпоха 12 года выдвинула на новый родъ дѣятельности и Шишкова. И онъ, подобно Растопчину, да и вообще большинству своихъ современниковъ, страдалъ служебнымъ честолюбіемъ. Его огорчало удаленіе отъ государя, которому нужны были новые люди съ новымъ взглядомъ на вещи. Его мѣсто заступилъ молодой, чрезвычайно образованный, либеральный и лично любимый Александромъ — Чичаговъ, которому потомъ пришлось въ 12 году сыграть довольно двусмысленную и до сихъ поръ не вполне выясненную роль при извѣстной переправѣ Наполеона чрезъ Березину, за что тяжко обрушилось на него тогдашнее общественное мнѣніе Россіи. И Чичаговъ и Шишковъ не терпѣли другъ друга и недовольный Шишковъ весь отдался своимъ полемическимъ трудамъ, *corneratiu*, какъ называли тогда, и борьбѣ противъ новаго слога, въ которомъ онъ видѣлъ развращеніе вѣка. Мы видѣли, какой дѣльный и рѣзкій отпоръ получилъ онъ отъ карамзинистовъ, которые потрудились отвѣчать на каждое изъ полемическихъ сочиненій Шишкова. Но его преслѣдовала и въ другомъ мѣстѣ неудача, гдѣ онъ, повидимому, не могъ бы ожидать ее. Въ качествѣ члена Россійской Академіи, въ которой засѣдали всѣ старики тогдашней литературы, на ряду съ членами высшаго духовнаго сана, Шишковъ въ 1808 году представилъ въ нее для напечатанія „Опытъ славенскаго словаря“, гдѣ ему „вздумалось собирать и толковать не всѣмъ вообще извѣстныя слова, часто весьма сильныя и для высокаго слога необходимо нужныя, но забытыя или незнаемыя, по причинѣ малаго употребленія оныхъ въ просторѣчїи“¹⁾. Академія рѣшила напечатать подобный словарь, но послѣ напечатанія нѣсколькихъ листовъ, продолженіе было приостановлено, вслѣдствіе замѣчаній двухъ членовъ—епископовъ, которые,

¹⁾ Записки, мнѣнія и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлинъ, 1870 года, т. II, стр. 1. (Быль, достойная нѣкотораго любопытства).

разбирая нѣкоторыя слова, требовали все сочиненіе подвергнуть особой духовной цензурѣ, не смотря на то, что Академія имѣла право печатать безъ всякой цензуры. Обиженный Шишковъ потребовалъ объясненій и получилъ довольно объемистую тетрадь примѣчаній на свой „Словарь“, которыя онъ, разумѣется, призналъ неосновательными, тѣмъ болѣе, что его заподозривали въ неправославныхъ мнѣніяхъ и въ незнаніи церковно-славянскаго языка. Шишковъ не преминулъ вступить въ рукописную полемику съ двумя духовными сочленами по Академіи, своими критиками, при чемъ „не могъ воздержаться отъ удивленія и печали, видя людей, которые въ почтенномъ архипастырскомъ санѣ, напрягаясь желаніемъ очернить трудъ чловека, ищущаго принести пользу языку своему, начинаютъ съ важностію обвинять его“¹⁾). Poleмика эта не привела ни къ чему и словарь былъ напечатанъ лѣтъ восемь спустя. Изъ нея Шишковъ, въ своемъ увлеченіи, вынесъ только слѣдующее убѣжденіе: „Доселѣ Теофаны, Платоны и другіе наши церковные пастыри, говорили поученія свои языкомъ священныхъ книгъ; свѣтскіе же писатели—Ломоносовы и имъ подобные, почерпали изъ нихъ важность слога и красоту выраженій. Нынѣ, напротивъ, не токмо свѣтскіе журналисты, не читая ничего истинно высокаго и краснорѣчиваго, отстаютъ отъ великолѣпія и силы языка своего, но и духовныя особы въ томъ имъ послѣдуютъ“²⁾). Всю эту полемику Шишковъ подробно записалъ въ своихъ „Домашнихъ запискахъ“³⁾).

Неудачи по службѣ, самолюбіе, немолодые лѣта и воспитаніе, имъ полученное, сдѣлали его консерваторомъ, врагомъ людей и преобразованій, задуманныхъ въ первую половину царствованія Александра. Мы знаемъ, что подобныхъ ему было много. Онъ отличался, однако, выгодно отъ другихъ своимъ простодушіемъ и искренностію, дѣйствительною любовью къ языку нашихъ богослужебныхъ книгъ, уваженіемъ народныхъ преданій и наивною враждою ко всему чужеземному, въ чемъ видѣлъ, по обыкновенію, развращеніе нравовъ и слѣды ненавистной ему французской революціи. Самодержавію, подобно Державину, онъ былъ преданъ вполнѣ, всею душою и видѣлъ въ немъ единственный якорь спасенія. Въ его сердцѣ самымъ искреннимъ образомъ, хотя и безсознательно, въ неопредѣленномъ видѣ, жила та формула, которую извѣстный министръ, графъ Уваровъ, въ глухую пору нашей внутренней исторіи старался положить въ основу всего народнаго просвѣщенія Россіи: православіе, самодержавіе и на-

¹⁾ Ibidem, стр. 15.

²⁾ Ibidem, стр. 25.

³⁾ Ibidem, стр. 1—42.

родность. Я говорил уже о томъ, какъ, при главномъ участіи Шишкова и Державина, образовалась въ Петербургѣ, по преимуществу изъ старыхъ литераторовъ съ Ломоносовскими преданіями и консервативными убѣжденіями, такъ называемая „Бесѣда любителей русскаго слова“, какъ противоѣдствіе новому слогу и новому направленію въ словесности. Это литературное общество, котораго торжественныя собранія съ большою внѣшнею помпою происходили въ нарочно для того устроенной залѣ дома Державина и привлекали лицъ высшаго общества, всегда консервативнаго и въ пору старавшагося выказать свой патриотизмъ, было Высочайше утверждено въ началѣ 1811 года. „Бесѣда“ была открыта вступительною рѣчью Шишкова о красотахъ нашихъ стихотворцевъ. Въ декабрѣ этого года, когда отношенія наши къ Наполеону достаточно опредѣлились и когда для многихъ стала ясною неизбѣжность новой и рѣшительной борьбы съ нимъ, Шишковъ читалъ въ „Бесѣдѣ“ свое извѣстное „Разсужденіе о любви къ отечеству“¹⁾. Онъ написалъ его ранѣе, но читать долго не рѣшался по политическимъ обстоятельствамъ. Шишковъ самъ объясняетъ, почему онъ не смѣлъ читать своего разсужденія. „Времена казались мнѣ такія, что я, наслышась о преобладаніи надъ нами французскаго двора и чванствѣ посланника его, Коленкура, а при томъ зная и неблаговоленіе ко мнѣ государя императора, опасался, чтобъ не поставили мнѣ это въ какое-нибудь смѣлое покушеніе, безъ воли правительства возбуждать гордость народную“²⁾. Слова замѣчательныя! Они показываютъ, какъ принижена мысль у нашихъ писателей, которые не смѣютъ, безъ воли правительства, говорить о народной гордости. Для огражденія себя отъ нападеній, Шишковъ потребовалъ, чтобы публичное чтеніе его разсужденія было опредѣлено всѣми отдѣлами „Бесѣды“. Собраніе, въ которомъ читалъ Шишковъ, было очень многочисленно. Все высшее общество столицы и представители духовенства, болѣе 400 человекъ, привлеченные содержаніемъ рѣчи и ея отношеніемъ къ времени, собрались сюда. Успѣхъ чтенія былъ чрезвычайный; самъ Шишковъ, какъ онъ передаетъ это въ письмѣ къ своему пріятелю Бардовскому, не ожидалъ ничего подобнаго³⁾.

„Тутъ увидѣлъ я, говоритъ онъ, что какъ бы правы ни были повреждены, однакожь правда не престаётъ жить въ сердцахъ чело-вѣческихъ“. Слѣдовательно причину успѣха разсужденія Шишкова надобно искать въ обстоятельствахъ времени. Это было полное тор-

¹⁾ Соч. т. IV, стр. 147 сл.

²⁾ Записки I, стр. 117—118.

³⁾ Ibidem II, стр. 321—322.

жество „Бесѣды“ и ея идей; тогда были лучшіе дни ея, какихъ не случилось уже болѣе пережить ей. Намъ нѣтъ надобности входить въ разборъ этого разсужденія Шишкова, напоминавшаго по своему содержанію такое же разсужденіе Карамзина; это были общія мѣста, проникнутыя, однако, неподдѣльнымъ чувствомъ, что и составляетъ главное достоинство всѣхъ сочиненій Шишкова: тутъ было повтореніе всего того, что Шишковъ прежде высказывалъ въ своихъ сочиненіяхъ, въ болѣе общей формѣ и въ извѣстныхъ рамкахъ ораторской рѣчи. Онъ говорилъ о народной гордости и развивалъ тѣ основныя начала, которыя составляютъ народность: языкъ, воспитаніе, вѣра. Но повторяемъ: разсужденію придавали значеніе обстоятельства времени; ихъ величіе, трепетное чувство ожиданія—усиливали впечатлѣніе. Разсужденіе это не прошло даромъ; оно выдвинуло Шишкова на новый родъ государственной и авторской дѣятельности, который доставилъ ему почетную извѣстность въ 12 году и за который Пушкинъ почтилъ Шишкова двумя извѣстными стихами своими. Вскорѣ послѣ паденія Сперанскаго, обязанностію котораго было сочинять всѣ манифесты, выходящіе отъ Высочайшаго имени, императоръ Александръ позвалъ къ себѣ Шишкова, котораго не видалъ нѣтъ десять. Онъ сказалъ Шишкову, что читалъ его „разсужденіе о любви къ отечеству“, что чувства, высказанныя въ немъ, ему нравятся, что онъ можетъ быть полезенъ, и предложилъ ему написать первый манифестъ о рекрутскомъ наборѣ по поводу предстоящей войны съ французами. Манифестъ былъ скоро готовъ, государь остался доволенъ его выраженіями и, не смотря на свое личное чувство нелюбви къ составителю, послѣ нѣкоторыхъ колебаній (выборъ могъ еще остановиться на Карамзинѣ, но, вѣроятно, неблагоприятное впечатлѣніе его „записки“ не совсѣмъ еще изгладилось) назначилъ Шишкова государственнымъ секретаремъ и предложилъ ему ѣхать съ собою въ армію. Два года провелъ Шишковъ при особѣ государя, въ сообществѣ Аракчеева и Балашева; эти три новыя приближенныя лица очень не походили на прежнихъ любимцевъ Александра. Обстоятельства времени требовали другихъ, болѣе подходящихъ къ нимъ, людей. Реформаторы не годились.

Съ этого времени, съ самаго вачала войны, съ первыхъ неудачъ нашихъ, которыя произвели общій испугъ, и до торжественныхъ извѣщеній объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества, о нашихъ побѣдахъ на поляхъ Германіи и Франціи, о *omnes* въ Парижъ и объ общемъ умиротвореніи народовъ по заключеніи Священнаго Союза, которымъ, казалось тогда, навсегда упрочивались снокойствіе и счастье государствъ—всѣ манифесты, рескрипты, указы, извѣщенія и проч., касавшіеся великихъ событій исполнинской борьбы, писаны

были Шишковымъ. Конечно, не прямо выливались они изъ головы его; большая доля участія въ нихъ принадлежитъ самому императору, который давалъ тонъ и направленіе мысли Шихкова, исправлялъ выраженія, но въ этихъ памятникахъ государственнаго краснорѣчія въ великую эпоху Шишкову открывался полный просторъ всенародно высказывать любимыя свои убѣжденія. Это была самая лучшая пора литературной дѣятельности Шихкова, когда имя его, какъ государственнаго секретаря и автора манифестовъ, сдѣлалось извѣстнымъ всей Россіи. Современники оставили намъ любопытныя воспоминанія о томъ сильномъ впечатлѣніи на умы и сердца, которое производили тогда Шихковскіе манифесты. Почти изъ нихъ только однихъ глухая страна получала понятіе о смыслѣ всего переживаемаго ею. Впервые выступилъ на сцену и забытый народъ въ рѣчахъ царя, впервые пришла на память и историческія воспоминанія. „Мы уже возвали къ первопрестольному граду нашему Москвѣ, говорится въ извѣстномъ манифестѣ изъ Полоцка отъ 6 Іюля, а нынѣ взываемъ ко всѣмъ нашимъ вѣрнопопданнѣмъ, ко всѣмъ сословіямъ и состояніямъ, духовнымъ и мірскимъ, приглашая ихъ вмѣстѣ съ нами единодушнымъ и общимъ возстаніемъ содѣйствовать противу всѣхъ вражескихъ замысловъ и покушеній. Да найдетъ онъ на каждомъ шагѣ вѣрныхъ сыновъ Россіи, поражающихъ его всѣми средствами и силами, не внимая никакимъ его лукавствамъ и обманамъ. Да встрѣтитъ онъ въ каждомъ дворнягѣ—Пожарскаго, въ каждомъ духовномъ—Палицина, въ каждомъ гражданинѣ—Минина. Благородное дворянское сословіе! ты во всѣ времена было спасителемъ отечества; Святѣйшій Синодъ и духовенство! вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу Россіи; народъ Русской! храброе потомство храбрыхъ славянъ! ты неоднократно сокрушала зубы устремлявшихся на тебя львовъ и тигровъ; соединитесь всѣ: со крестомъ въ сердцѣ и съ оружіемъ въ рукахъ, никакія силы человѣческія васъ не одолѣютъ!“¹⁾ Мы не знаемъ—Шихкову или Александру принадлежатъ знаменитыя слова рескрипта графу Салтыкову: „Я не положу оружія доколѣ ни единого непріятельскаго воина не останется въ царствѣ моемъ“²⁾. Всѣ нападенія, направленные противъ французовъ, какъ народа, принадлежатъ, разумѣется, самому Шихкову. „Могъ ли бы онъ (Наполеонъ) духъ ярости и злочестія своего вдохнуть въ милліоны сердецъ, если бы сердца сіи сами собою не были развращены и не дышали зловрачіемъ?—говорится въ официальномъ извѣстіи изъ Москвы послѣ бѣгства фран-

¹⁾ Полн. Собр. Зак., т. XXXII, стр. 388.

²⁾ Ibidem, стр. 354.]

дузовъ. „Хотя конечно во всякомъ и благочестивомъ народѣ могутъ быть изверги, однакоже когда сихъ изверговъ, грабителей, зажига- телей, убійцъ невинности, оскорбителей человѣчества, поругателей и осквернителей самой сватыни, появится въ цѣломъ воинствѣ почти всякъ и каждый, то невозможно, чтобъ въ народѣ такой державы были благіе нравы. Человѣческая душа не дѣлается вдругъ злою и безбожною; она становится таковою мало-по-малу, отъ примѣровъ, отъ соблазна, отъ общаго и долговременно разливающагося яда безвѣрія и развращенія. Сами французскіе писатели изображали нравъ народа своего сліяніемъ тигра съ обезьяною; и когда же не былъ онъ таковъ? Гдѣ, въ какой землѣ весь царскій домъ казнень на плахѣ? Гдѣ, въ какой землѣ столько поругана была вѣра и самъ Богъ? Гдѣ, въ какой землѣ самыя гнусныя преступленія позволя- лись обычаями и законами? Взглянемъ на адскія изрыгнутыя въ книгахъ ихъ лжемудрованія, на распутство жизни, на ужасы рево- люціи, на кровь, пролитую ими въ своей и чужихъ земляхъ: слы- хано ли когда, чтобъ столѣтніе старцы и нерожденные еще мла- денцы осуждались на казнь и мученіе? Гдѣ человѣчество? Гдѣ при- знаки добрыхъ нравовъ? Вотъ съ какимъ народомъ имѣемъ мы дѣло! И посему должны разсудить, можетъ ли прекращена быть вражда между безбожіемъ и благочестіемъ, между порокомъ и добродѣтелію? Долго мы заблуждались, почитая народъ сей достойнымъ нашей пріязни, содружества и даже подражанія. Мы любовались и прижи- мали къ груди нашей змѣю, которая, терзая собственную утробу свою, проливала къ намъ ядъ свой, и наконецъ насъ же, за нашу къ ней привязанность и любовь всезлобнымъ жаломъ своимъ уязвляетъ“ ¹⁾). Это были уже личныя увлеченія Шишкова. Онъ какъ бы торжество- валь, что все имъ прежде высказываемое подтверждалось событіями.

Пожаръ Москвы долженъ открыть намъ глаза, убить нашу подра- жательность. О своихъ литературныхъ противникахъ онъ говоритъ: „Теперь я бы ткнулъ ихъ носомъ въ пепель Москвы, и громко имъ сказалъ: вотъ чего вы хотѣли!“ ²⁾).

¹⁾ Записки А. С. Шишкова, т. I. Приложенія, стр. 441—44.

²⁾ Записки II, стр. 327, письмо къ Я. I. Бардовскому отъ 4 мая 1813 г.

ЛЕКЦІЯ III.

Шишковъ за границей.—Отставка.—Положеніе и направленіе общественнаго мнѣнія во время послѣдней борьбы съ Наполеономъ.—Басни Крылова, какъ отголосокъ патріотическаго настроенія общества.—Зарожденіе мистицизма въ обществѣ.—Манифестъ 1816 года.

Въ своихъ „Запискахъ“¹⁾, какъ и въ „Письмахъ къ женѣ во время похода“²⁾ Шишковъ оставилъ подробныя воспоминанія о своемъ пребываніи при лицѣ государя и въ главной квартирѣ, о всѣхъ тѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ, по поводу которыхъ были писаны его манифесты. Эти воспоминанія раскрываютъ передъ нами ту же зна- комую намъ личность, исполненную оригинальныхъ, преувеличенныхъ, но совершенно искреннихъ чувствъ. Его неподатливая натура была неспособна къ придворной жизни, а потому, несмотря на близость его къ императору Александру, несмотря на частыя свиданія съ нимъ и ежедневный обмѣнъ мыслей, Шишковъ нисколько не выигралъ въ благорасположеніи государя. Очевидно, что Александръ только тер- пѣлъ его, понуждаемый силою обстоятельствъ, и выслушивалъ сла- вианофильскія, архипатріотическія тирады своего государственнаго се- кретаря, не убѣждаясь ими. Вліяніе Шихкова выразилось въ убѣ- жденіи Александра оставить армию, не мѣшать своимъ присутствіемъ распоряженіямъ главнокомандующаго и уѣхать сначала въ Москву, а потомъ въ Петербургъ, но и здѣсь доводы Шихкова были под- крѣплены авторитетомъ Балашева и Аракчеева. Шихковъ, не на- дѣясь словами убѣдить Александра, рѣшился обратиться къ нему письменно; бумагу эту, подписанную имъ и другими двумя прибли- женными лицами, хранили въ тайнѣ, но Шихковъ сообщилъ о томъ, какъ онъ самъ признается, изъ авторскаго самолюбія, сестрѣ государя — Еватеринѣ Павловнѣ; Александръ узналъ объ этомъ обстоятельстве и оно было причиною еще большаго охлажденія къ Шихкову и наконецъ удаленія его отъ должности государственнаго секретаря.

12-й годъ усилилъ въ Шихковѣ тѣ убѣжденія, которыя потомъ развивались въ сочиненіяхъ позднѣйшихъ славянофиловъ. Бѣдствіи того времени онъ приписывалъ несамостоятельности нашей и духъ подражанія. Не разъ онъ развивалъ эту любимую свою тему передъ Александромъ. „Государь! не вы тому причиною, говорилъ онъ ему и едва ли въ царствованіе ваше могли отвратить сіе слишкомъ ус-

¹⁾ I, стр. 123—309.

²⁾ Ibidem, стр. 313—419.

лившееся зло, котораго начало идетъ отъ великаго впрочемъ, но въ семь случаѣ не предусмотрѣннаго послѣдствій, прародителя вашего, Петра Перваго. Онъ, видѣвъ съ полезными искусствами и науками, допустилъ войти мелочнымъ подражаніямъ, поколебавшимъ коренные обычаи и нравы. Прочіе цари не останавливали сего рождавшагося въ насъ пристрастія ко всему чужеземному, а особливо французскому. Великая Екатерина, бабка ваша, на послѣдокъ почувствовала сіе и старалась обращать насъ къ отечественнымъ доблестямъ, но то уже было поздно и требовало немалыхъ и долговременныхъ усилій¹⁾. Шишковъ самъ признается, что подобныя разсужденія весьма не нравились тѣмъ, которые уже заразились новизною, т. е. стояли за прогрессъ и просвѣщеніе.

Вслѣдъ за бѣгущею арміею Наполеона Александръ поѣхалъ въ Вильно въ сопровожденіи Шишкова, въ декабрѣ 1812 года. Русское войско должно было идти въ Европу. Шишковъ, подобно Кутузову, не желалъ европейскаго похода; онъ ожидалъ, хотя и ошибочно, поражения, и совѣтовалъ довольствоваться сдѣланными уже успѣхами и изгнаніемъ врага изъ предѣловъ Россіи. Убѣжденія Шишкова не водѣйствовали, и онъ долженъ былъ сопровождать государя при главной квартирѣ. Быстрое путешествіе для больного старика было очень утомительно; ему не разъ случалось отставать, и онъ просился домой, но государь не отпускалъ его. Болѣзнь помѣшала ему быть вслѣдъ за нашими войсками во Франціи и въ ненавистномъ ему Парижѣ. Все это время онъ пробылъ въ Карльсруэ, гдѣ жила у родныхъ и наша императрица Елисавета Алексѣевна. Но онъ слѣдилъ за событіями, радовался окончательному пораженію французовъ на ихъ же почвѣ, съ мистическимъ чувствомъ подбиралъ библейскіе тексты, приравнявъ ихъ къ современнымъ событіямъ и, привыкнувъ писать манифесты и воззванія, онъ для собственнаго своего удовольствія, воображая себя, какъ онъ самъ признается весьма наивно, фельдмаршаломъ соединенныхъ армій, сочиняетъ воззваніе къ французскому народу, гдѣ ему достается такъ, какъ не доставалось ни въ одномъ печатномъ манифестѣ, и гдѣ онъ старается вылить все лѣтами накопившееся въ сердцѣ его огорченіе и желчь. Это воззваніе отзывается, по словамъ его, „тѣмъ отвращеніемъ или, лучше сказать, омерзениемъ, какое чувствовалъ я всегда ко многимъ издаваемымъ французскими писателями злочестивымъ сочиненіямъ, распространившимъ между нами безвѣріе и безнравственность, за которыми послѣдовали гнусныя, богомерзкія дѣла ихъ“²⁾.

¹⁾ Ibidem, стр. 160—161.

²⁾ Ibidem, стр. 269—277.

Изъ заграничныхъ воспоминаній Шишкова любопытны тѣ встрѣчи съ западными славянами, которыя его радовали, какъ филолога, и пребываніе его въ Прагѣ, гдѣ онъ познакомился съ извѣстнымъ Добровскимъ, съ которымъ потомъ, какъ и съ другими славянскими учеными, велъ дѣятельную переписку въ званіи президента Россійской Академіи. Но вообще Шишковъ тосковалъ за границею и сильно желалъ воротиться домой. Это возвращеніе послѣдовало почти одновременно съ государемъ, въ іюль 1814 года. Нѣсколько манифестовъ и очень важныхъ, особенно тѣхъ, гдѣ, подъ вліяніемъ пережитыхъ событій, высказывалось новое, уже сложившееся возрѣніе, съ приѣздомъ мистицизма, развивавшагося въ душѣ Александра, пришлось еще написать Шишкову, но все менѣе и менѣе онъ пользовался расположеніемъ и вскорѣ былъ уволенъ отъ званія государственнаго секретаря. Съ этихъ поръ онъ снова обратился къ литературнымъ трудамъ, которые приняли теперь чисто филологическое направленіе, къ Россійской Академіи, гдѣ онъ дѣятельно предсѣдательствовалъ, и къ „Бесѣдѣ“, которая теперь доживала послѣдніе дни свои, не возбуждая уже никакого участія въ обществѣ и сдѣлавшись постоянною цѣлью насмѣшекъ и юмористическихъ выходокъ болѣе молодого литературнаго общества „Арзамасъ“. Къ сожалѣнію, записки Шишкова прерываются по возвращеніи его въ Петербургъ въ 1814 году и такимъ образомъ теряется возможность уяснить его дальнѣйшія жизненные отношенія. Въ качествѣ сенатора, онъ не разъ еще подавалъ мнѣнія по разнымъ дѣламъ, но мнѣнія эти, выражая собою личный, давно сложившійся и хорошо всѣмъ извѣстный взглядъ стараго адмирала, не представляютъ государственнаго интереса.

Только въ концѣ царствованія Александра, уже въ очень преклонныхъ лѣтахъ, по паденіи мистическаго министерства князя Голицына, Шишковъ снова является государственнымъ человекомъ, въ качествѣ министра народнаго просвѣщенія, и оказываетъ свое вліяніе на духовную жизнь страны. Тогда мы встрѣтимся съ нимъ.

Если бы мы захотѣли судить о положеніи общественнаго мнѣнія и о его направленіи по тѣмъ литературнымъ явленіямъ, которыя относятся ко времени послѣдней и рѣшительной борьбы нашей съ Наполеономъ, по газетнымъ извѣстіямъ, по толкамъ немногихъ тогдашнихъ журналовъ, то мы должны были бы положительно сказать, что передъ нами общество, глубоко проникнутое національными стремленіями, сознательно понимающее себя и свои отношенія и ненасытающее подражательность.

Переворотъ въ мнѣніяхъ и въ характерѣ жизни былъ поразительный. Люди становились неузнаваемыми, и современники часто говорятъ, какъ многіе изъ легкомысленныхъ и пустыхъ людей ста

новились серьезными и мыслящими. Слова патриотизма и самопожертвованія были на устахъ у всѣхъ. Всѣ, казалось, хотѣли быть русскими, никому и ни въ чемъ не подражая, стараясь не говорить по французски въ высшемъ обществѣ, презирая французскія моды, французскую литературу и т. п. Это направленіе представляется однако ничѣмъ инымъ, какъ скоропреходящимъ порывомъ; люди ходили въ какомъ то чаду отъ событій; вѣтеръ развѣялъ этотъ чадъ и все стало по-прежнему.

Въ эту эпоху, какъ и во всякую другую, когда въ жизни народа по какой-либо причинѣ совершается исторической переломъ, подняты были снова и властію и литературою толки о воспитаніи, такъ какъ оно оказываетъ самое сильное вліяніе на народную жизнь и ея направленіе. Мѣры, принятыя правительствомъ въ первые годы царствованія Александра, оказались недостаточными. За малымъ развитіемъ у насъ науки, русскихъ воспитателей не находилось или было чрезвычайно мало, а потому попрежнему воспитателями у насъ были иностранцы; они, какъ люди гораздо болѣе приготовленные къ педагогическому дѣлу, чѣмъ русскіе, заняли даже главныя мѣста во вновь учрежденныхъ училищахъ. Это признавала сама власть и еще за годъ до войны 12-го года указывала на такое положеніе вещей, какъ на зло.

„Въ отечествѣ нашемъ давно простерло корни свои воспитаніе, иноземцами сообщаемое, говоритъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Разумовскій въ докладѣ своемъ отъ 25 мая 1811 года. Дворянство, подпора государства, возрастаетъ нерѣдко подъ надзоромъ людей, одною собственною корыстію занятыхъ, презирающихъ все не иностранное, не имѣющихъ ни чистыхъ правилъ нравственности, ни познаній. Слѣдую дворянству, и другія состоянія готовятъ медленную пагубу обществу воспитаніемъ дѣтей своихъ въ рукахъ иностранцевъ. Любя отечество, не можно безъ прискорбія взирать на зло толь глубоко въ ономъ внѣдрившееся“¹⁾, и министръ указываетъ на средства, которыя могутъ, если не уничтожить, то, по крайней мѣрѣ, ослабить это зло. Если уже правительство признавало зло и съ своей стороны собиралось бороться съ нимъ, то естественно ожидать, что литература того времени и въ особенности журналы должны были, подъ вліяніемъ усилившагося патриотизма воевать съ этимъ зломъ. Дѣйствительно—нападенія на иностранныхъ воспитателей и въ особенности на французовъ, какъ педагоговъ—составляютъ любимую тему въ тогдашней литературѣ. Ихъ усиливали ненависть къ врагу и факты, которые возмущали тогдашнихъ патриотовъ. Множество

¹⁾ Полн. Собр. Зак., XXXI.

плѣнныхъ французовъ было разослано партіями по всѣмъ русскимъ губерніямъ. Журналы, настроенные на одинъ ладъ, сообщали съ чувствомъ негодованія извѣстія, что эти плѣнные, сосланные французы, скоро сдѣлались любимыми гостями въ дворянскихъ домахъ провинцій, что въ нихъ скоро были забыты недавніе враги, что ихъ берутъ въ учителя къ дѣтямъ, что нѣсколько дворянскихъ дѣвицъ вышло замужъ за тѣхъ, на рукахъ которыхъ не успѣла еще обсохнуть кровь ихъ родственниковъ и ближнихъ.

„Вотъ достойная награда родителямъ, говорить „Сынъ Отечества“¹⁾, столь много пекущимся о томъ только, чтобъ дѣти ихъ болтали по-французски! вотъ плоды воспитанія, введеннаго у насъ въ XVIII столѣтіи, воспитанія, въ которомъ отцы и матери, отрекшись отъ священной обязанности своей, отъ должнаго присмотра за своими дѣтьми, „слѣпо“ ихъ передаютъ въ руки иноплеменныхъ, ибо безъ сего коварнаго условія ни одинъ французскій гувернеръ или гувернантка въ русскій домъ не вступаетъ. Нерѣдко случается, что въ провинціяхъ парижская судомойка становится наставницею молодыхъ благородныхъ дѣвицъ. И чему тутъ удивляться, когда здѣсь, въ столицѣ мы часто видимъ французскую горничную дѣвцу, вдругъ возведенную въ почтенное достоинство наставницы“. Почти то же самое говорилось Гнѣдичемъ и Оленинымъ въ рѣчахъ ихъ при открытіи Императорской Публичной Библіотеки. Это были чувства, возбужденныя войною и нашими бѣдствіями. Самое понятіе о французскомъ народѣ измѣнилось. „Нынѣшнее слово „французъ“ есть синонимъ чудовищу, извергу, варвару“ и пр.²⁾ Безнравственность Наполеоновскихъ солдатъ приписывалась безнравственности ихъ воспитанія; нравственныя основы въ характерѣ французскаго народа по словамъ нашихъ журналовъ были разрушены энциклопедистами. Отъ французовъ отнимали всякое гражданское достоинство; ихъ называли подлымъ, низкимъ народомъ, націею комедіантовъ и пр. Все это повторялось непрерывно и въ стихахъ и въ прозѣ. Патриотическое настроеніе въ литературѣ дошло до крайностей. Нечего и говорить, что, начиная отъ старика Державина, написавшаго свой вѣлый, длинный, полный старческаго безсилія и мистицизма „Гимнъ лироэпическій на прогнаніе французовъ изъ отечества“³⁾, всѣ и всякій считали обязанностію изъяснить свое негодованіе на враговъ отечества и прославить ихъ изгнаніе и наши побѣды. Цѣлый сборникъ

1) 1813 г., № 26, стр. 301—305.

2) Сынъ Отеч., 1812 г., ч. 8, стр. 90.

3) Сочиненія Державина, т. III, стр. 137—164.

„Собрание стихотворений, относящихся къ незабвенному 1812 году“¹⁾, свидѣтельствуесть объ усиліяхъ нашихъ поэтовъ въ этомъ патриотическомъ настроеніи. Не имѣя никакихъ основаній говорить о подобныхъ эфемерныхъ произведеніяхъ, мы упомянемъ здѣсь о литературной дѣятельности Крылова въ этомъ направленіи; онъ стоялъ выше другихъ по таланту, и его басни сдѣлались также отголоскомъ тогдашняго общественнаго мнѣнія.

Крыловъ писалъ свои басни и до 1812 года²⁾, но лишь къ этому времени опредѣлился вполне талантъ его, нашедшій самое удобное выраженіе въ баснѣ. Она доставила ему вдругъ громкую извѣстность. На чтеніяхъ „Бесѣды“, членомъ которой онъ состоялъ, каждая новая басня его встрѣчалась общимъ восторгомъ. Тогда же опредѣлилось и служебное положеніе Крылова. Въ 1812 году открылась Имп. Публичная Библіотека и директоръ ея, Оленинъ, большой любитель искусствъ и литературы, пригласилъ въ числѣ другихъ писателей и Крылова на должность бібліотекаря. Въ этой должности онъ и оставался лѣтъ 30, до послѣдней отставки своей. Знаменательная эпоха отечественной войны не могла не отразиться въ басняхъ Крылова. Талантъ его былъ весьма чутокъ къ явленіямъ жизни и современности; только надобно разглядѣть эти черты въ басняхъ, гдѣ онѣ скрыты подъ условною формою выраженія. Крыловъ вторилъ общему направленію литературы. Еще гораздо раньше, когда онъ издавалъ сатирическіе журналы, ему не разъ случалось писать статьи противъ увлеченія всѣмъ иностраннымъ и въ особенности французскимъ. То же самое онъ высказывалъ и въ своихъ комедіяхъ „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. Послѣ событій 12-го года это направленіе Крылова усилилось. Такова его басня „Червонецъ“, очевидно вызванная современными разсужденіями о необходимости народнаго воспитанія, гдѣ онъ доказываетъ, что

„Просвѣщеніемъ зовемъ
Мы часто роскоши прельщенье,
И даже нравовъ развращенье“.

Безъ сомнѣнія, Крыловъ имѣлъ въ виду просвѣщеніе, заимствованное у французовъ, модное, гдѣ, по его выраженію, сдирая кору грубости съ людей, можно растерять и добрыя свойства ихъ. Фран-

¹⁾ 2 ч., М., 1814 г.

²⁾ Теперь доказано, что первыя басни Крылова помѣщены были въ „Утреннихъ Часахъ“ 1788 года. См. Э. А. Витбергъ. Первыя басни И. А. Крылова. Извѣстія отдѣленія русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н., т. V, 1900 г., кн. 1-ая, стр. 204—259.

цускій учитель въ баснѣ „Крестьянинъ и Змѣя“ представленъ въ образѣ змѣи, которая просится у крестьянина въ домъ и, чтобъ не жить безъ дѣла, обѣщается нанять у него дѣтей. Хоть крестьянинъ и согласенъ, что именно эта змѣя добрая, но

„Когда примѣръ такой
У насъ полюбить,
Тогда вползуть сюда за доброю змѣей
Одной,
Сто злыхъ, и всѣхъ дѣтей адѣсь перегубятъ“.

Крыловъ самъ указываетъ на смыслъ этой басни въ заключительномъ стихѣ:

„Отцы, понятно-ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?“

Подобно многимъ своимъ современникамъ, Крыловъ приписывалъ бѣдствія революціи и слѣдовавшихъ за нею войнъ ученію французскихъ философовъ. Этихъ „мнимыхъ мудрецовъ кощунства толки смѣлы“ вооружили народъ противъ божества и приблизили часъ его гибели. Такъ и въ баснѣ „Водолазы“ онъ былъ противъ смѣлости и дерзости ума, бросающагося въ пучину знанія.

„Хотя въ ученьи зримъ мы многихъ благъ причину,—
говорить онъ,—

Но деракій умъ находить въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ,
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою“.

Въ баснѣ „Бочка“, написанной около того же времени, Крыловъ снова обращается къ отцамъ, представляя имъ примѣръ бочки, навсегда пропитавшейся виннымъ запахомъ: стоитъ только разъ заразиться „вреднымъ ученіемъ“ съ юности и вліяніе его будетъ отзываться во всѣхъ поступкахъ и дѣлахъ. Хотя толкователи Крылова понимаютъ подъ „вредными ученіями“—мистическіе толки, но вѣрнѣе и ближе къ правдѣ будетъ видѣть въ нихъ—французскую философію XVIII вѣка и государственные идеалы революціи, кредитъ которыхъ сильно палъ тогда въ мнѣніи русскаго общества.

За шумомъ событій, сначала столько бѣдственныхъ, а потомъ столько славныхъ для Россіи, за громкими восклицаніями поэтовъ и патріотическими возгласами газетъ трудно, конечно, было разслышать голосъ дѣйствительной жизни; едва ли кому приходила въ голову обратная сторона дѣла, едва ли кто сомнѣвался во всеобщности и дѣйствительности патріотическаго увлеченія. Газеты, разумѣется, не смѣли указывать на темныя стороны современности; можетъ быть,

даже извѣстія о нихъ не доходили до тогдашнихъ журналистовъ, а въ стихахъ одъ того времени, конечно, ничего подобнаго и предполагать было нельзя. Тѣмъ не менѣе, проявленія высокаго патріотизма, стояли, какъ всегда бываетъ въ жизни, рядомъ съ эгоистическими, корыстными расчетами. Едва ли не на эту сторону тогдашнихъ обстоятельствъ указываетъ басня Крылова „Раздѣлъ“, написанная въ 1812 году и оканчивающаяся слѣдующимъ правоученіемъ:

„Въ дѣлахъ, которыя гораздо поважнѣй,
Нерѣдко отъ того погибель всѣмъ бываетъ,
Что чѣмъ бы общую бѣду встрѣчать дружнѣй,
Всякъ споры затѣваетъ
О выгодѣ своей?“

Въ этомъ смыслѣ смотреть на басню и толкователи. Извѣстно, что въ отечественную войну всѣ бѣдствія, всѣ тягости, все разоренье пали на простой народъ. Ни одно сословіе тогда не принесло столько жертвъ и человѣческими жизнями и достоинствомъ, какъ этотъ до того неизвѣстный народъ. Онъ вынесъ на плечахъ свою родину изъ пожара. Много говорятъ о самоотверженіи и жертвахъ дворянства и купечества, но первому легко было быть великодушнымъ, опираясь на крѣпостное право, а купечеству всегда представляется столько средствъ для наживы. Конечно, слѣдующій отзывъ современника о дворянствѣ нашемъ въ то время представляется какъ бы съ умысломъ преувеличеннымъ—въ такой рѣзкой противоположности онъ находится со всѣмъ, что мы привыкли слышать: „Въ годину испытанія, т. е. 12-го года, не покрыло ли оно себя всѣми красками чудовищнѣйшаго корыстолюбія и безчеловѣчія, расхищая, какъ и теперь, все, что расхитить можно было, даже одежду, даже пищу, и ратниковъ и рекрутъ и плѣнныхъ,—не смотря на прославленный газетами патріотизмъ, котораго дѣйствительно не было ни искры, что бы ни говорили о нѣкоторыхъ утѣшительныхъ исключеніяхъ“... ¹⁾ Вигель тоже приводитъ въ своихъ запискахъ нѣсколько фактовъ подобнаго грабительства, но вообще эта сторона того времени сравнительно мало извѣстна.

Крыловъ въ своихъ басняхъ обрисовывалъ не только общій характеръ времени и идеи, возбужденныя событіями, но самыя эти событія историческія. Такъ басня „Волкъ на псарнѣ“ относится прямо ко времени послѣ Бородинскаго сраженія, когда Наполеонъ старался завязать съ Кутузовымъ переговоры о мирѣ. Въ своемъ ловчьемъ этой басни Крыловъ выставилъ Кутузова, въ которомъ онъ всего болѣе, вмѣстѣ со многими современниками, цѣнилъ хитрость. „Ты сѣрѣ, а

¹⁾ „Вѣстн. Евр.“ 1867 г., кн. 2, стр. 197.

я, пріятель, сѣдь“—говорить этотъ ловчій волкъ—Наполеону. Кутузовъ вообще былъ любимымъ героемъ Крылова. Извѣстно, что послѣ Бородина и послѣ оставленія Москвы безъ боя непріятелю государь, нѣкоторые изъ его приближенныхъ и даже значительная часть общества стали упрекать Кутузова въ медленности и нерѣшительности. Ропотъ былъ значительный, потому что никто не зналъ Кутузовскаго плана. Крыловъ защищалъ своего героя въ баснѣ „Обозъ“, гдѣ Кутузовъ сравнивается съ добрымъ конемъ, который спокойно, не обращая вниманія на насмѣшки молодой лошади, повесъ подѣ гору на крестцѣ свой тяжелый возъ. Планъ Кутузова указывается Крыловымъ въ современной баснѣ „Ворона и Курица“, гдѣ выставленъ голодъ французской арміи:

„Когда Смоленскій князь,
Противу дерзости искусствомъ вооружась,
Вандаламъ новымъ сѣтъ поставилъ,
И на погибель имъ Москву оставилъ“—

тогда начались ихъ бѣдствія.

„Какъ голодомъ морить Смоленскій сталъ гостей
Она сама (ворона) къ нимъ въ сунъ попалась“.

Къ 12 году также относится Крыловская басня „Щука и Котъ“, поводъ къ которой данъ былъ извѣстною неудачею адмирала Чичагова подѣ Березиною, гдѣ онъ долженъ былъ остановить и окончательно истребить бѣгущую армію Наполеона. Эта неудача возбудила сильно противъ Чичагова общественное мнѣніе; всѣ называли его измѣнникомъ, и Крыловъ въ своей баснѣ сдѣлался выразителемъ общественнаго мнѣнія, хотя онъ и не говоритъ въ ней объ измѣнѣ, а приписываетъ неудачу неумѣнью морского генерала распорядиться на сушѣ:

„Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги точать пирожникъ:
И дѣло не пойдетъ на ладъ,
Да и примѣчено стократъ,
Что кто за ремесло чужое браться любить,
Тотъ завсегда другихъ упрямѣй и вдорнѣй.“

Въ баснѣ рассказываются даже подробности Чичаговской неудачи. При его отступленіи потеряны многіе изъ полковыхъ обозовъ, канцелярія главнокомандующаго, много экипажей, наши больные и раненые. Когда котъ, наѣвшійся пойманной рыбой, пошелъ провѣдать кумушку—Щуку на ея ловлѣ:

„А щука чуть жива, лежитъ разинувъ ротъ,
И крысы хвостъ у ней отъѣли“.

Въ этомъ случаѣ басня Крылова шла за современными событіями, подобно карриатурѣ, и дѣлала то же дѣло. Попадаютъся и другіе намеки въ ней на лица и случаи того времени, но они не такъ важны.

Между тѣмъ счастливый исходъ тяжелой борьбы съ Наполеономъ, истребленіе его арміи въ Россіи, перенесеніе борьбы съ всемірнымъ завоевателемъ сначала въ Германію, а потомъ въ самое сердце Франціи, возбудившей всеобщую ненависть народовъ, успѣхи нашего оружія и оружія союзниковъ, окончательное паденіе Наполеона, взятіе Парижа, восстановленіе на французскомъ престолѣ династіи Бурбоновъ и умиротвореніе Европы, — событія великія и неожиданныя, быстро слѣдовавшія другъ за другомъ, въ которыхъ главное участіе принималъ русскій народъ и въ главѣ его царь, окруженный славою побѣдъ, царь „вождь народовъ“, по единогласному выраженію всѣхъ поэтовъ, — все это, полное восторга и удовлетвореннаго чувства народной гордости, должно было мало-по-малу измѣнить общественное мнѣніе и замѣнить чувства ненависти и раздраженія, возникшія въ волненіяхъ борьбы, другими, болѣе благородными и спокойными. Для большинства этого общества счастливый исходъ исполинской борьбы, послѣ тяжелыхъ потерь и пораженій, отозвавшихся въ цѣлой странѣ, казался какимъ-то чудомъ, ниспосланнымъ свыше; въ величіи событій, въ ихъ роковой послѣдовательности, стали видѣть персть Божій, правящій судьбами народовъ и царствъ, волю Провидѣнія, и для многихъ, умственное развитіе которыхъ было не очень сильно, именно теперь начинался періодъ мистической вѣры. Здѣсь надобно искать начала мистицизма и въ государѣ, и въ его приближенныхъ, мистицизма, который сдѣлался даже правительственною системою. Паденіе Наполеона казалось торжествомъ охранительныхъ началъ. Тѣ, для кого ненавистна была революція, а они составляли тогда большинство, думали, что время волненій и бѣдствій кончилось, что революція, со всѣми ея ужасами прошла и не воротится вновь, что „миръ мірови дарованъ“ и что источникъ этой благодати идетъ изъ нашего отечества, отъ народа, который своею кровью искупилъ свободу и счастье другихъ народовъ. Онъ, въ сознаніи многихъ, сталъ являться теперь избраннымъ сосудомъ Божиимъ, а царь его — непосредственнымъ исполнителемъ воли Божіей. На той парижской площади, гдѣ было пролито столько крови въ революціонные дни, гдѣ скатилась голова Людовика XVI, въ день Пасхи, по повелѣнію Александра, русское духовенство, окруженное войсками и множествомъ зрителей, служило торжественный молебенъ на азыгѣ нашей церкви. Православіе являлось такимъ образомъ носителемъ мира и любви въ самомъ страшномъ мѣстѣ революціи. Было отъ чего приходиться въ радостный восторгъ русскимъ. Люди, пережившіе впечатлѣнія того времени, навсегда

сохранили о нихъ воспоминаніе. Но не человѣческое дѣло, не волю и умъ человѣка видѣли въ этихъ событіяхъ современники, а волю Провидѣнія. „Рука Господня, ему единому извѣстными, но явными очамъ смертнаго путями, веда ихъ (событія), сорасполагала, сплѣтала, устроила,—говоритъ манифестъ 1816 года,¹⁾—да исправитъ людскія неустройства, да утѣшитъ колеблющіяся волны умовъ и сердець, и да изъ нѣдръ смѣси и боренія изведетъ порядокъ и покой. Богъ сильный низложилъ гордость; Премудрый разогналъ тьму; Источникъ милосердія и благодати не допустилъ людямъ во мракѣ страстей своихъ погибнуть“. Возвѣщая русскому народу событія съ самаго начала революціи, царскій манифестъ говоритъ: „Да прочтетъ онъ дѣла и судъ Божій; да воспалится къ нему любовью, и вмѣстѣ съ Царемъ своимъ во глубинѣ сердца и души своей воскликнетъ: „Не намъ, не намъ Господи, но имени Твоему;“—слова эти были отчеканены на медали 12-го года.

ЛЕКЦІЯ IV и V.

Жуковский.—Его первые литературные опыты. — „Сельское кладбище“. — Редактированіе „Вѣстника Европы“. — „Людмила“.

Манифестъ всю исторію времени представляетъ въ мистическихъ образахъ, видитъ въ ней на каждомъ шагу чудеса, непонятныя для обыкновеннаго человѣческаго разсудка. „Начало и причины сей войны, безпрестанно тлѣвшей, многократно вновь и вновь возгаравшейся, потухавшей иногда, но для того токмо, дабы съ новою силою и лютостью воспылать, возвеличиться, усилиться и скоро потомъ изъ величайшей силы упасть, сокрушиться, опять возстать и опять низринуться, — являютъ нѣчто непостижимое и чудесное“. Многолѣтняя, только что прекратившаяся война не была простою войною царствъ и народовъ между собою. „Нѣтъ—она есть порожденное злочестьемъ нравственное чудовище, въ отпадшихъ отъ Бога сердцахъ людскихъ угнѣздившееся, млекою лжемудрости воспитанное, тайнствомъ злоухитренія и лжи облеченное, долго подъ личиною ума и просвѣщенія изъ страны въ страну скитавшееся и медоточными устами въ неопытныя сердца и нравы сѣмена разврата и пагубы сѣявшее“. Разказавъ съ этой точки зрѣнія французскую революцію, возвышеніе Наполеона, его завоеванія и потомъ гибель его въ русскихъ предѣлахъ, манифестъ съ особенною силою останавливается на томъ призваніи, которое выпало на долю русскимъ въ этихъ великихъ событіяхъ, когда

¹⁾ 1 Января 1816 г.

„россійскіе, какъ бы крылатые воины, изъ-подъ стѣнъ Москвы, съ окомъ Провидѣнія на груди и со крестомъ въ сердцѣ, являются подѣ стѣнами злочестиваго Парижа... Тамъ—о чудное зрѣлище!—тамъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ изрыгнутое адомъ злочеіііе свирѣііствовало и ругалось надѣ вѣроу, надѣ влаііію царей, надѣ духовенствомъ, надѣ добродѣтелью и челоііѣчествомъ, гдѣ оно воздвигало жертвенникъ и курило фиміамъ злодѣііству, гдѣ несчастный король Людовикъ XVI былъ жертвою буйства и безначалія, гдѣ въ страхѣ добродравіію и въ ободреніе неистовству повсюду лилась кровь невинности, тамъ, на той самой площади, посреди покрывавшихъ онуу въ благоустройствѣ различныхъ державъ войскъ и при стеченіи безчисленнаго множества народа, росіііскими священнослужителями, на росіііскомъ языкѣ по обрядамъ православной нашей вѣры, приносится торжественное пѣіінопѣіііе Богу, и тѣ самые, которые оказали себя явными отъ него отступниками, вмѣіістѣ съ благочестивыми сынами церкви, преклоняють предѣ нимъ свои колѣііна, во изъявленіе благодарности за посрамленіе дѣііа ихъ и низверженіе ихъ власти“. Это дѣііо кажется выше средствъ и способовъ людскихъ: „Кто челоііѣкъ, или кто люди могли совершить сіе высшее силъ челоііѣческихъ дѣііо? Не явенъ ли здѣіісь Промыселъ Божій? Ему единому слава!“ „Вѣіічная правда Божія допустила возраііти оному (чудовицу), да накажется родъ челоііѣчскій за преступленіе свое, до постраждетъ и научится изъ сего ужаснаго примѣра, что *въ единомъ страхѣ Господнемъ состоитъ благоденствіе и безопасность людей*“. Что же этотъ манифестъ предоставляетъ народу русскому, котораго, по его же словамъ, „Богъ избралъ совершить великое дѣііо“? Молитву и смиреніе. „Падемъ предѣ Всевышнимъ; повергнемъ предѣ нимъ сердца свои, дѣііла и мысли“!.. Вся сила подвига, весь успѣхъ событій принадлежитъ намъ; „но самая великость дѣііа сихъ показываетъ, что не мы то сдѣііали. Богъ, для совершенія сего нашими руками, далъ слабости нашей Свою силу, простотѣ нашей Свою мудрость, слѣііпотѣ нашей Свое всевидящее око“. Отсюда русскому народу необходимо избрать не гордость, а смиреніе; не земной награды слѣіідуетъ ждатъ ему за претерпѣііныя бѣіідствія и совершенные подвиги, а небесной. „Кто, кромѣ Бога, кто изъ владыкъ земныхъ и что можетъ ему воздатъ?“ Такимъ образомъ въ манифестѣ этомъ высказывалась не необходимость улучшеній, въ которыхъ нуждалась жизнь народа и которыя, кажется, онъ заслужилъ пролитою кровью и вынесенными бѣіідствіями,—они откладывались на неопредѣііленное время и туманъ мистицизма, какъ выраженіе власти, сталъ покрывать страну.

Въ самомъ характерѣ Александра, отъ котораго зависѣііла судьба нашего отечества, послѣіідовала значительная перемѣііна, и въ испы-

таніяхъ 12-го года и въ неожиданной славѣ европейскихъ походовъ и всеобщаго умиротворенія надобно искать начала той набожности и того мистицизма, которые наполняли его душу до самой смерти. Столкновение идеаловъ его молодости съ тяжелою дѣйствительностію глупою потрясло его духъ. Всѣ надежды, которыя онъ носилъ въ груди своей при началѣ царствованія, разлетѣлись; планы преобразованій были оставлены; кругомъ его не было прежнихъ людей, любимыхъ сподвижниковъ его; кругомъ его были теперь люди, имъ нелюбимые, которыхъ навязала ему сила обстоятельствъ; кругомъ его была пустыня и, вмѣсто полезной и необходимой для государства внутренней дѣятельности, являлась кипучая и трудная дѣятельность внѣшняя, гдѣ на каждомъ шагѣ приходилось встрѣчаться съ людскою злобою и эгоистическими стремленіями. Вмѣстѣ съ мистицизмомъ, въ душѣ его развилось глубокое презрѣніе къ людямъ и привязанность къ такимъ личностямъ, которыя вовсе не стоили его довѣрія. Этимъ можно объяснить и деспотизмъ его и вспышки произвола, которыя заставляли забывать первую, гуманную пору его царствованія. Страшное напряженіе во время французскаго нашествія было поводомъ физическаго и духовнаго измѣненія его натуры. Говорятъ, что во время занятія Москвы французами, у него посѣдѣли волосы; онъ быстро сталъ старѣть. Пожару московскому онъ самъ приписывалъ просвѣтленіе души своей. Съ этихъ поръ религіозная пустота, оставленная въ сердцѣ его французскимъ воспитаніемъ, стала наполняться. Въ событіяхъ войны онъ видѣлъ персть Божій и освобожденіе Европы сталъ считать своимъ собственнымъ освобожденіемъ ¹⁾. „Пожаръ Москвы просвѣтилъ мою душу, говорилъ онъ самъ въ 1818 году, и судъ Божій на ледяныхъ поляхъ наполнилъ мое сердце теплотою вѣры, какой я до тѣхъ поръ не чувствовалъ“ ²⁾. Съ этихъ поръ онъ часто искалъ уединенія, часто прибѣгалъ къ чтенію Священнаго Писанія. Въ этой книгѣ онъ находилъ множество намековъ на свою жизнь и на свою судьбу. Когда Шипковъ въ Германіи составилъ для него изъ библейскихъ текстовъ всю исторію современныхъ событій и войны, онъ плакалъ надъ нею, а изъ темныхъ главъ пророка Даниила онъ почерпнулъ первую идею „Священнаго Союза“. Изъ чувства смиренія, изъ убѣжденія, что онъ только слѣпое орудіе Промысла, онъ отказался отъ монумента въ честь его и отъ названія „благословеннаго“, которое поднесъ ему сенатъ Имперіи. Указомъ Синода запрещено было священникамъ говорить въ церквахъ въ словахъ проповѣди похвалы Императору. Но покуда вся эта внутрен-

¹⁾ Gervinus. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. II, S. 716--717.

²⁾ Русск. Арх. 1869 г., стр. 75.

ная переменна въ характерѣ и образѣ мыслей Александра не выходила наружу и не проявлялась въ дѣйствіи. Въ сознаниі русскаго народа и общества, какъ и въ Европѣ, онъ стоялъ на недоступной высотѣ величія, какъ побѣдитель всеобщаго врага, какъ умиротворитель Европы. Въ обществѣ господствовалъ полный энтузіазмъ, жажда жизни и наслажденія, полнота ощущеній и впечатлѣній. Какое-то молодое, свѣжее, беззаботное чувство наполняло сердца всѣхъ, и старыхъ и молодыхъ. Всѣ были довольны временемъ и событіями, не думая о будущемъ и не заглядывая въ него. Никогда прежде Россія, даже въ лучшіе годы Екатерины, не стояла на такой высотѣ въ сознаниі общества какъ своего, такъ и европейскаго. Не было конца восторгамъ и упоенію. Когда Александръ въ іюлѣ 1814 года, покрытый славомъ, изъ Парижа пріѣхалъ въ Петербургъ, его окружила любовь народная и всеобщій восторгъ. Не было русскаго поэта, который не привѣтствовалъ бы его въ эту пору вполне искренно. „Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ — говоритъ Пушкинъ своимъ товарищамъ—въ своей послѣдней Лицейской годовщинѣ

Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался;
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ Онъ,
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!“¹⁾

Казалось, начиналась новая эра русской исторіи: впереди открывалась безконечная будущность развитія; навстрѣчу ему неслись горячія желанія, раскрывались молодые сердца и никто не могъ ожидать, что эти свѣтлыя надежды смѣнятся, и очень скоро, общимъ недовольствомъ лучшихъ людей времени, и восторгъ замѣнится разочарованіемъ и скукою.

Къ этому времени общественнаго одушевленія и восторга относится громкая извѣстность и слава поэзіи Жуковскаго, чловѣка новаго поколѣнія, сочувствующаго новому. Онъ въ стихахъ своихъ, имѣвшихъ прямое отношеніе къ времени и событіямъ, явился выразителемъ того, что чувствовали всѣ; отсюда успѣхъ его и извѣстность. Эти четыре или пять лѣтъ, слѣдующіе за отечественною войною, принадлежать къ лучшей порѣ поэтической дѣятельности Жуковскаго. Никогда, ни прежде, ни послѣ, онъ не стоялъ такъ близко къ событіямъ дѣйствительности, какъ въ эту пору. Правда, Жуковский вообще не былъ поэтомъ дѣйствительности, но замѣчательный талантъ его, удивительная красота выраженія, до которой прежде него никогда не достигалъ русскій стихъ, вся его жизнь и множество произведеній, имъ

¹⁾ „19 окт. 1836 г.“

написанныхъ, выдвигаютъ его впередъ между писателями. Вокругъ него, какъ около центра, сосредоточивается поэтическая и вообще литературная дѣятельность многихъ, съ нимъ вмѣстѣ мы входимъ въ кругъ литературныхъ идей и стремленій, которыя могли существовать при условіяхъ того времени, и знакомимся съ фигурою поэта, какъ она сложилась при этихъ условіяхъ. Его долгая жизнь видѣла разные фазисы и разныя направленія въ нашей исторіи и въ нашемъ общественномъ развитіи. По своему положенію, таланту, по общему уваженію, которымъ вездѣ пользовался Жуковский, его мнѣнія и убѣжденія должны были имѣть вліяніе. Въ ту пору его жизни, о которой говоримъ мы, когда онъ вдругъ приобрѣлъ извѣстность и славу, Жуковский не былъ уже начинающимъ писателемъ, ему уже было тридцать лѣтъ, внутренне онъ развился вполне и писалъ съ опредѣленною цѣлью, совершенно сознавая свой талантъ, свои идеалы и будущія цѣли свои.

Послѣ сочиненія доктора Зейдлица, который зналъ Жуковскаго болѣе сорока лѣтъ, и біографія его и факты литературной дѣятельности, въ связи съ жизнію, достаточно оцѣнены ¹⁾, а довольно значительное собраніе писемъ поэта, къ сожалѣнію, однако, изъ болѣе поздняго времени его жизни, позволяютъ намъ взглянуть и въ интимный міръ души его, познакомиться съ нимъ такимъ, какимъ былъ онъ не въ однихъ стихахъ его, писанныхъ для свѣта. Жуковский родился 29 января 1783 года; слѣдовательно, по отношенію къ Карамзину, онъ принадлежалъ къ молодому поколѣнію, которое пережило другія событія и другія впечатлѣнія. Жуковский былъ побочнымъ сыномъ богатаго Бѣлевскаго помѣщика (Тульской губерніи) Аванасія Ивановича Бунина, въ пору рожденія Жуковскаго уже старика. Отъ законной жены своей, которая была жива при рожденіи Жуковскаго, у Бунина было одиннадцать человѣкъ дѣтей и между ними былъ только одинъ сынъ, умершій въ Лейпцигскомъ университетѣ за два года до рожденія Жуковскаго. Матерью Жуковскаго была красивая, плѣнная турчанка, привезенная въ домъ Бунина его крестьянами, бывшими маркитантами въ арміи Румянцева, фамилію же свою Жуковский получилъ отъ крестнаго отца, бѣднаго кіевскаго дворянина, жившаго въ домѣ Буниныхъ и потомъ законно усыновившаго мальчика. Такое положеніе мальчика, при нашихъ общественныхъ понятіяхъ, должно было довольно грустно отозваться на внутреннемъ настроеніи Жуковскаго, когда онъ выросъ и понялъ себя. Впослѣдствіи онъ жаловался въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу, на „двухъ тѣхъ (т. е. отца и мать), ко-

¹⁾ Опубликованные къ 50-лѣтію со дня смерти Жуковскаго матеріалы дали много новаго и вызвали обширное изслѣдованіе академика А. Н. Веселовскаго.

Прим. ред.

торые такъ много и такъ мало на меня дѣйствовали¹⁾). Отецъ его умеръ, когда ему было только восемь лѣтъ, а мать, простая и не-образованная, хотя и добрая женщина, не могла имѣть никакого вліянія на него. Объ отцѣ Жуковскій никогда не говорилъ. Мальчикъ въ семьѣ, гдѣ были все женщины, скоро сдѣлался общимъ любимцемъ. Старикъ Бунинъ сталъ заботиться о воспитаніи сына, написалъ для него какаго-то нѣмца, но скоро прогналъ его за жестокое обращеніе съ мальчикомъ. Затѣмъ зимою, когда все семейство переселилось въ Тулу, Жуковского посылали въ пансіонъ другого нѣмца Раде, но и здѣсь пребываніе его было непродолжительно и едва ли вынесъ онъ оттуда что-нибудь, будучи 8-ми лѣтъ.

Старикъ Бунинъ умеръ въ 1791 году. Онъ не желалъ передать Жуковскому населеннаго имѣнія, но однако позаботился о сынѣ, оставивъ его на попеченіе жены и дочерей, изъ которыхъ каждая должна была изъ приданаго, ей назначеннаго, удѣлить 2500 р. въ его пользу. По смерти старика, вся семья переѣхала въ Мишенское, куда она переѣзжала обыкновенно на лѣтніе мѣсяцы, по зимамъ возвращаясь въ Тулу. Ученье не могло идти успѣшно при такихъ перерывахъ. Старшія, законныя сестры Жуковского давно повыходили замужъ; съ ихъ уже дѣтьми, которыя почти всѣ были дѣвочки, росъ Жуковскій, какъ сверстникъ. Въ домѣ одной изъ старшихъ сестеръ своихъ, Юшковой, у которой было довольно дѣтей и воспитывались племянницы Вельяминовы, поселился въ Тулѣ и Жуковскій. Отсюда сталъ онъ ходить въ народное училище, но и тутъ ученье шло плохо и неудачно; главный учитель Покровскій принужденъ былъ уволить Жуковского „за неспособность“. Пришлось ограничиться домашними средствами воспитанія, и прибѣгнуть къ иностраннымъ гувернанткамъ, которыхъ было много, но онѣ не отличались должными качествами. Надобно замѣтить, однако, что домъ Юшковыхъ былъ весьма образованный домъ по тому времени въ Тулѣ. Сама Варвара Аеанасьевна Юшкова, хозяйка дома, читала много, любила музыку и литературу. Она устраивала у себя музыкальные и литературные вечера, на которые собирался весь городъ и гдѣ читались всѣ новыя русскія произведенія. Юшкова управляла даже тульскимъ театромъ, куда вся семья, разумѣется, ѣдила часто. Въ этой семьѣ, посреди такихъ вліяній духовныхъ, могли развернуться первые литературные вкусы и наклонности Жуковского. Двѣ сверстницы — племянницы Жуковского, дочери Юшковой: Зонтагъ и Елагина, потомъ тоже выступали въ литературѣ. На 12-мъ году, при такихъ вліяніяхъ, Жуковскій написалъ трагедію, которая и была разыграна съ успѣхомъ его моло-

1) „Русск. Арх.“, 1867 г., стр. 794.

денькими соученицами. Онъ началъ писать въ томъ родѣ, который былъ чуждъ его таланту. Біографъ рассказываетъ¹⁾, что вторая его рукописная трагедія, также разыгранная домашними, потерпѣла полную неудачу и съ тѣхъ поръ Жуковский не писалъ трагедій.

Такими были первыя литературныя попытки Жуковского въ семействѣ его старшей сестры и крестной матери Юшковой. На его долю выпало семейное воспитаніе, со всѣхъ сторонъ онъ окруженъ былъ женщинами и выросъ на ихъ рукахъ. Отсюда въ его характерѣ замѣчаются много чисто женскихъ сторонъ, которыя невозможны въ публичной школѣ, посреди мальчиковъ. Робость, застѣнчивость, привычка къ мягкимъ, женскимъ формамъ обращенія, рано развили въ немъ какую-то мечтательность и нѣжность характера, которыя отличали его въ жизни и сдѣлались существенными чертами и его поэзіи. Біографъ говоритъ²⁾, что уже здѣсь, въ этомъ семейномъ кружкѣ, Жуковский привыкъ отдавать на судъ близкихъ ему людей первыя свои произведенія, и это сдѣлалось потомъ его потребностію. Впослѣдствіи свои стихотворенія онъ любилъ подвергать обсужденію друзей молодости: Тургенева, Блудова, Дашкова, Вяземскаго, Батюшкова и др. Что касается положительныхъ свѣдѣній, которыя онъ могъ вынести изъ этого семейнаго воспитанія, то едва ли они были значительны и имѣли какой-либо порядокъ и систему. Одно только можно сказать вѣрно: Жуковский познакомился хорошо съ языками французскимъ и нѣмецкимъ, которыми преимущественно ограничивался кругъ стараго дворянскаго образованія, и любилъ чтеніе. Все это имѣло значеніе для дальнѣйшаго его развитія и направленія.

Между тѣмъ года уходили. Жуковский дошелъ уже до того возраста, когда надобно было подумать о дальнѣйшей судьбѣ его и когда оставаться ему одному посреди дѣвочекъ въ семьѣ было уже не совсѣмъ ловко. Сначала, по старинному обычаю, думали было его опредѣлить въ службу. Одинъ знакомый семейства Юшковыхъ повесѣлъ было его въ полкъ, расположенный въ Финляндіи, но вернулся съ нимъ обратно. Съ восшествіемъ на престолъ императора Павла запрещено было принимать въ военную службу малолѣтнихъ. Тогда рѣшено было везти Жуковского въ Москву и старуха Бунина въ началѣ 1797 года помѣстила его въ благородный пансіонъ при московскомъ университетѣ, гдѣ онъ оставался три года. Это было почти закрытое заведеніе, но находившееся въ связи съ университетомъ и отъ него зависѣвшее. Оно было учреждено собственно для дѣтей дво-

¹⁾ Зейдлицъ. Изд. 1883 г., стр. 15.

²⁾ Ibidem, стр. 15—16.

ранскихъ и долго пользовалось большою извѣстностію, въ особенности за то, что ученики его получали свѣтское, чуждое педантизма воспитаніе, но такъ какъ преподаватели въ пансіонѣ были тѣ же, что и въ университетѣ, то и учебная сторона не отставала, разумѣется, сообразно съ временемъ.

Главные предметы преподаванія, впрочемъ, заключались въ словесности, т. е. въ упражненіи воспитанниковъ въ сочиненіяхъ, въ стихахъ и прозѣ, и въ изученіи иностранныхъ, то-есть живыхъ языковъ, безъ которыхъ немислимъ былъ образованный человѣкъ тогдашняго общества, такъ какъ при бѣдности нашей науки и литературы, дальнѣйшее развитіе могло происходить только съ помощью чужого языка. Литературныя упражненія составляли главное. Преподавателями словесности въ пансіонѣ были два профессора: Сохацкій и Подшиваловъ, большіе, разумѣется, поклонники литературнаго таланта и направленія Карамзина, которому все стремилось подражать тогда, считая каждую строчку его образцовою. Сохацкій и Подшиваловъ вмѣстѣ были издатели литературныхъ журналовъ: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“¹⁾ и „Иппокрена или утѣхи любословія“²⁾, въ которыхъ помѣщались статьи воспитанниковъ пансіона, конечно, исправленныя учителями, и гдѣ напечатаны также и первые опыты въ стихахъ и прозѣ Жуковскаго. Въ то время литературныя требованія были невелики; писателемъ сдѣлаться было легко, и вотъ причина, почему многіе изъ замѣчательныхъ впоследствии государственныхъ людей нашихъ, воспитывавшихся въ этомъ пансіонѣ, начинали съ литературныхъ трудовъ, которые потомъ постепенно оставляли, по мѣрѣ успѣховъ въ служебномъ поприщѣ. Изъ такихъ людей товарищами Жуковскому по пансіону были два брата Тургеневы, Андрей и Александръ, изъ которыхъ первый умеръ очень рано, Блудовъ, Дашковъ, Уваровъ, послѣдніе три—министры при императорѣ Николаѣ Павловичѣ. Эти люди остались навсегда самыми близкими друзьями Жуковскаго, который умѣлъ какъ-то пріобрѣтать и поддерживать дружбу. Особенно былъ онъ друженъ съ дѣтьми И. П. Тургенева, замѣчательнаго человѣка предшествовавшей эпохи, одного изъ основателей „дружескаго ученаго общества“ и „типографической компаніи“, друга Новикова, человѣка, которому многимъ былъ обязанъ и Карамзинъ. Съ воцареніемъ Павла Тургеневъ сдѣланъ былъ директоромъ университета; Юшковы и Бунины были близки съ его семействомъ и въ его домѣ молодой Жуковскій имѣлъ случай встрѣчать тѣхъ представителей литературы, которымъ онъ издали поклонялся и которымъ

¹⁾ 20 частей. М. 1794—1798 г.

²⁾ 11 частей. М. 1799—1801 г.

подражалъ въ первыхъ своихъ деревенскихъ и пансіонскихъ опытахъ—Карамзина и Дмитріева. Старикъ Тургеневъ, сыновья котораго сдѣлались друзьями его, остался навсегда въ его воспоминаніяхъ личностью чрезвычайно привлекательною и симпатичною:

„Бывало, онъ (Андрей), съ отцемъ рука съ рукой,
Входилъ въ нашъ кругъ—и радость съ нимъ являлась;
Старикъ при немъ былъ юноша живой;
Его сѣдинъ свобода не чуждалась...
О вѣтъ! Онъ былъ милѣйшій намъ собратъ,
Онъ отдыхалъ отъ жизни между нами,
Отъ сердца даръ—его былъ каждый взглядъ,
И онъ друзей не рознилъ съ сыновьями“¹⁾.

Съ сыномъ его, Александромъ, Жуковскій велъ до конца жизни самую интимную, сердечную переписку.

Первые литературные опыты Жуковского въ стихахъ и прозѣ, помѣщенные въ журналахъ Сохацкаго и Подшивалова, несмотря на свою юношескую слабость, сентиментальное направленіе, въ которомъ онъ видимо подражалъ Карамзину, любопытны однакожь въ томъ отношеніи, что выборъ предметовъ въ нихъ имѣеть общее соотвѣтствіе съ тѣмъ, что было имъ написано потомъ.

Общій тонъ направленія сказывался и здѣсь. Для насъ страннымъ кажется это болѣзненное направленіе, эта тоска не по жизни и ея наслажденіямъ, какъ бы слѣдовало ожидать, а по смерти, это недовольство жизнью въ молодомъ человѣкѣ, которому едва минуло 16 лѣтъ:

„Жизнь, другъ мой, бездна
Слезъ и страданій...
Счастливъ стократъ
Тотъ, кто, достигнувъ
Мирнаго берега,
Вѣчнымъ спитъ сномъ“²⁾.

Смерть, кладбище, могилы, надгробные памятники,—вотъ предметы, на которыхъ съ какою-то любовью останавливается воображеніе молодого поэта. То же самое можно сказать и о прозаическихъ статьяхъ Жуковского въ лирическомъ тонѣ, безъ сомнѣнія—переводахъ нѣмецкихъ или французскихъ стихотвореній. Первое прозаическое сочиненіе Жуковского озаглавлено „Мысли при гробницѣ“ (1797 г.). Конечно, страннымъ должно было казаться такое направленіе и такіе темы стихотвореній въ молодомъ поэтѣ и пришлось

¹⁾ „А. И. Тургеневу въ отвѣтъ на его письмо“.

²⁾ „Майское утро“.

бы искать источникъ этого въ жизни его, еслибъ мы не знали, что тогда господствовало сентиментальное направленіе, что предметы такого рода были тогда въ модѣ, и что избѣгнуть подражательности Жуковскому было нельзя. Что онъ началъ подражаніемъ, это доказываетъ и его стихотвореніе „Могущество, слава и благоденствіе Россіи“ (1799), написанное по поводу побѣдъ Суворова въ Италіи.

Все оно проникнуто духомъ Державина и Дмитріева, ихъ образами и выраженіями. Достаточно одной строфы:

„На тронѣ свѣтломъ, лучезарномъ,
Что полвселенной на столпахъ
Ванесенъ, неизбежно поставленъ,
Россія въ славу воссѣдять.
Златый шлемомъ, огнепернатый
Блится на главѣ ея;
Вѣнецъ лавровый сбываетъ
Ея высокое чело;
Лежить на шуйцѣ
Щитъ алмазный;
Разширивши крилъ свои,
У ногъ ея орелъ полночный
Почіеть—громъ его молчить“.

Эти подражательные опыты, которые самъ Жуковский считалъ недостойными перепечатки въ собраніяхъ своихъ стихотвореній, даже значительность числа ихъ показываетъ, что онъ полюбилъ занятія литературою; вскорѣ, въ противоположность всѣмъ своимъ товарищамъ, онъ сталъ считать ихъ главнымъ призваніемъ своей жизни, источникомъ средствъ для существованія. Еще въ пансіонѣ, какъ это было въ ту пору въ обычаѣ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, Жуковский образовалъ изъ товарищей литературное общество и составилъ его уставъ. Кончивъ курсъ въ 1801 году, онъ тогда же поступилъ на службу въ Московскую соляную контору, но службою онъ жертвовалъ литературѣ. Общество, имъ основанное, увеличилось числомъ членовъ, его собранія сдѣлались чаще. Въ немъ, кромѣ Жуковского и Тургеневыхъ, участвовалъ впоследствии столь извѣстный профессоръ словесности московскаго университета Мерзляковъ и др.

Извѣстные писатели, конечно, не бывали въ немъ, но Жуковский посѣщалъ ихъ кружокъ, и Карамзинъ такъ полюбилъ его, что по смерти первой жены своей пригласилъ его къ себѣ и жилъ съ нимъ цѣлое лѣто на дачѣ.

Служба, какъ видно, не давала Жуковскому достаточнаго содержанія; родные тоже присылали ему мало и тогда онъ принялся за переводы для книгопродавцевъ. Первымъ такимъ переводомъ былъ

романъ Коцебу „Мальчикъ у ручья“ ¹⁾, а за нимъ послѣдовали и другіе, изъ которыхъ въ особенности замѣчательнъ по языку переводъ Донъ-Кихота (1802—1804) съ французскаго перевода Флоріана. Въ стихахъ переводилъ онъ тогда не однѣ элегіи, а и басни изъ Лафонтена и Флоріана, писалъ эпиграммы, но ни тѣмъ, ни другимъ недостаетъ главныхъ свойствъ, составляющихъ ихъ принадлежность: легкости разсказа, ироніи, насмѣшливости. Все это было чуждо таланту Жуковскаго и надобно отдать справедливость его художественному такту, что онъ не перепечатывалъ такихъ произведеній. Только для одной пьесы не въ элегическомъ родѣ Жуковскій сдѣлалъ исключеніе. Это была „Пѣснь надъ гробомъ Славянъ-побѣдителей“, написанная въ 1806 году въ пору пробужденія въ нашей литературѣ патріотическаго направленія. Ее Жуковскій считалъ достойною перепечатки, слѣдовательно придавалъ ей цѣну, вѣроятно потому, что она была одинаковаго содержанія съ „Пѣвцомъ въ станѣ“, доставившимъ ему такую славу. Въ „Пѣснѣ барда“ Жуковскій въ первый разъ становился ближе къ дѣйствительности; пьеса написана подъ впечатлѣніями Аустерлица; содержаніе ея говоритъ о мести за пораженіе, но какъ далека эта пьеса отъ настоящей исторической дѣйствительности, которую поэтъ, повидимому, вовсе не понималъ. Сцена дѣйствія, образы, обстановка—все заимствовано у Оссіана. Русскіе солдаты сражаются мечами, умираютъ на щитахъ, на головахъ ихъ шлемы и т. п. Все стихотвореніе отличается высокопарностію и надутостію и Державинъ легко бы могъ подписаться подъ нимъ, но Жуковскій и сюда внесъ свою элегическую струю, которая еще дальше отводитъ отъ дѣйствительности. На могилу война приходитъ „краса славянскихъ дѣвъ“ и въ ея душѣ воскресаютъ воспоминанья

„О благахъ прежнихъ лѣтъ,
О дняхъ очарованья,
О дняхъ любви святой“.

Служба Жуковскаго въ соляной конторѣ, надъ которою онъ потомъ смѣялся, продолжалась недолго. Онъ вышелъ въ отставку въ 1802 году и уѣхалъ на родину, въ село Мишенское, гдѣ жила его мать, гдѣ у него было такъ много родныхъ, куда онъ ѣздилъ изъ Москвы на вакаціи и куда манили его воспоминанія дѣтства. Онъ ѣхалъ въ деревню работать, готовить себя къ литературной дѣятельности, развивать себя, образовывать. Онъ увезъ съ собой много книгъ. Здѣсь и въ Бѣлевѣ, гдѣ онъ выстроилъ домъ для своей ма-

¹⁾ М. 1801 г. 4 части.

тери, онъ прожилъ до 1808 года, здѣсь были написаны его лучшія, молодыя стихотворенія, полныя искренняго чувства и любви къ незамысловатой, но дорогой ему по воспоминаніямъ сельской природѣ. Его привязанность къ деревнѣ отзывается искренностью и сердечностью:

„Ты помнишь ли, какъ подъ горою—

пишетъ онъ въ поэтическомъ посланіи къ одной изъ подругъ своего дѣтства —

Осеребряемый росой,
Свѣтился лугъ вечернею порою
И тишина слетала въ тѣбѣ
Съ небесъ?

Ты помнишь ли нашъ прудъ спокойный,
И тѣбѣ отъ ивъ въ часъ полдня знойный,
И надъ водой отъ стада гулъ нестройный,
И въ лонѣ водѣ, какъ сквозь стекло,
Село?“¹⁾

Образы сельской природы не разъ встрѣчаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго. Первое произведеніе его, написанное въ деревнѣ и встрѣченное общими похвалами тогдашнихъ писателей, былъ переводъ Греевой элегіи „Сельское кладбище“, напечатанный въ послѣднемъ № „Вѣстника Европы“ за 1802 годъ.

Поэтическіе переводы Жуковскаго, которые составляютъ главное его право на славу, замѣчательны тѣмъ, особенно въ первую и лучшую пору его дѣятельности, что каждая пьеса, имъ переведенная, не была чуждою душѣ поэта, а выражала его внутреннее настроеніе, не говоря уже о томъ, что въ каждую изъ переводныхъ его пьесъ, не смотря на удивительную близость перевода къ подлиннику, онъ всегда вносилъ что-то личное, субъективное, исключительно ему принадлежащее. Такъ и знаменитая элегія англійскаго поэта, написанная въ половинѣ прошлаго вѣка и пользовавшаяся извѣстностію въ европейскихъ литературахъ за новое задушевное, полное меланхолическое чувство, соответствовала знакомой уже намъ болѣзненности внутренняго настроенія Жуковскаго. Послѣдніе заключительные стихи „Сельскаго Кладбища“ нѣсколько отступаютъ отъ подлинника и выражаютъ личное чувство Жуковскаго, любимые образы его:

„А ты, почившихъ другъ, пѣвецъ уединенный,
И твой ударить часъ, послѣдній, роковой,
И къ гробу твоему, мечтой сопровождаемый,

¹⁾ Вольное подражаніе романсу Шатобриана: „Combien j'ai douce souvenance“.

Чувствительный придетъ услышать жребій твой.
Быть можетъ, селянинъ съ почтенной сѣдиною,
Такъ будетъ о тебѣ пришельцу говорить:
Онъ часто по утрамъ встрѣчался здѣсь со мною,
Когда спѣшилъ на холмъ зарю предупредить;
Тамъ въ полдень онъ сидѣлъ подѣ дремлющею ивой,
Поднявшей изъ земли косматый корень свой;
Тамъ часто въ горести безпечной, молчаливой
Лежалъ, задумавшись, надъ свѣтлою рѣкой...
Прискорбный, сумрачный, съ главою наклоненной,
Онъ часто уходилъ въ дубраву слезы лить,
Какъ странникъ, родины, друзей, всего лишенный,
Которому ничѣмъ души не усладить“.

Биографъ Жуковскаго говоритъ ¹⁾, что въ подобномъ меланхолическомъ настроеніи души Жуковскаго, кромѣ подражанія господствующему тону тогдашней европейской поэзіи, надобно видѣть и слѣды общественнаго положенія Жуковскаго. Несмотря на то, что средства позволяли молодому человѣку жить въ деревнѣ независимо, безъ службы, свободно пользуясь поэтическимъ вдохновеніемъ и работая собственно для себя, для своего внутренняго развитія, несмотря на общую любовь къ нему семьи, особенно между младшими членами ея, все же Жуковскій чувствовалъ себя пріемышемъ въ этой семьѣ, гдѣ бѣдная, простая мать его должна была стоя принимать отъ господъ приказанія. Скоро это грустное чувство усилилось еще несчастною любовью, которая длилась долго и имѣла рѣшительное вліяніе на судьбу и поэзію Жуковскаго.

Въ исторіи русской поэзіи „Сельское кладбище“ очень замѣчательно. Тутъ не было еще того романтизма, о которомъ привыкли говорить, разбирая поэтическія произведенія Жуковскаго; это было выраженіе той же сентиментальности, которую внесъ въ нашу литературу Карамзинъ и которая составляла большую сторону европейскаго общества въ концѣ XVIII вѣка, неудовлетвореннаго въ своемъ духовномъ развитіи лишеніемъ практической дѣятельности. Но „Сельское кладбище“ важно для насъ въ томъ отношеніи, что теперь всякій читатель получалъ уже право требовать отъ поэта естественности выраженія, простоты чувствъ и простоты обстановки. Весь ненужный и надобѣвший всѣмъ аппаратъ миеологическаго Парнасса долженъ былъ исчезнуть безвозвратно. Помѣщеніе „Сельскаго кладбища“ въ „Вѣстникѣ Европы“ Карамзинимъ еще болѣе сблизило Жуковскаго съ нимъ, и съ этихъ поръ онъ сдѣлался сотрудникомъ Карамзина и еще больше подчинился его вліянію. Въ 1803 году онъ помѣ-

¹⁾ Зейдлицъ, изд. 1883 г. стр. 26—27.

стиль въ „Вѣстникѣ Европы“ прозаическую повѣсть свою „Вадимъ Новгородскій“—подражаніе подобнымъ произведеніямъ французскаго писателя Флоріана или „Марѣй Посадницѣ“. Еще больше подражанія Карамзину сказались въ позднѣйшей его повѣсти „Марьяна Роша“ (1808 г.).

Меланхолическое настроеніе поэзіи Жуковскаго увеличилось еще болѣе отъ смерти друга его Андрея Тургенева, ровесника ему и товарища по пансіону, нежданно умершаго на службѣ въ Петербургѣ. Повидимому, ихъ связывала нѣжная, поэтическая дружба, примѣры которой были нѣрѣдки въ прошломъ вѣкѣ. Впрочемъ, по отзыву всѣхъ знавшихъ его, Андрей Тургеневъ былъ человекъ съ необыкновенными дарованіями и возбуждалъ къ себѣ общее чувство любви. Такъ же сильно, какъ и на Жуковскаго, подѣйствовала смерть Тургенева на Мералякова, человекъ четырьмя годами старше его, друга обоихъ. Съ этихъ поръ воспоминанія о потерянномъ другѣ, скорбь о его утратѣ часто встрѣчаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго. Печаль, разочарованіе, мысль о смерти—любимыя его представленія:

„О, дней моихъ весна, какъ быстро скрылась ты
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!
Гдѣ вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зрѣтъ соединенья?
Ужель нясыкнули всѣхъ радостей струи?
О, вы, погибши наслажденья!...
Мнѣ рокъ судилъ брести невѣдомой стезей,
Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы природы,
Дышать подъ сумракомъ дубравной тишины,
И взоръ склонивъ на пѣны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать...
Такъ, пѣть есть мой удѣлъ... но долго-ль?... Какъ узнать?...
Ахъ! скоро, можетъ быть, съ Минваною увялой,
Придетъ сюда Альпинъ въ часъ вечера мечтать,
Надъ тихой юноши могилой!“¹⁾

Самымъ любопытнымъ произведеніемъ для знакомства съ тою неопредѣленною тоскою, которая наполняла душу Жуковскаго въ это время, является посланіе его „Къ Филалету“ (Тургеневу). Его разочарованіе доходитъ здѣсь до крайняго выраженія и вмѣстѣ съ тѣмъ въ стихахъ слышится искренность и задушевность:

„Придешь ли ты назадъ,
О время прежнее, о время незабвенно?
Пли веселіе навѣки отцвѣло,
И счастье мое съ протекшимъ протекло?..“

¹⁾ „Вечеръ“.

Какъ часто о часахъ минувшихъ я мечтаю!
Но чаще съ сладостью конецъ воображаю;
Конецъ всему—души покой,
Конецъ желаніямъ, конецъ воспоминаваньямъ,
Конецъ боренію и съ жизнью и съ собой“.

Мысль о смерти—любимая мечта Жуковского:

„...кончины сладкій часъ
Моей любимой мечтою становится;
Унылость тихая въ душѣ моей хранится;
Во всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ.
Зоветь меня... зоветь... куда зоветь?... не знаю;
Но я зовущему съ волненіемъ внимаю;
Я сердцемъ сопряженъ съ сей тайною страной,
Куда насъ всѣхъ влечетъ судьба неодолима;
Томящейся душѣ невидимая зрима—
Повсюду вѣстники могилы предо мной“..

Нельзя не видѣть въ стихахъ этихъ замѣчательнаго таланта, красоты выраженія, какой не было ни у одного изъ живущихъ тогда русскихъ поэтовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ искренности чувства. Но откуда это больное, неудовлетворенное жизнію чувство? Какимъ образомъ оно могло зародиться въ душѣ молодого человѣка, почти юности? Такое неестественное направленіе въ Жуковскомъ объясняется между прочимъ господствовавшими въ эту эпоху литературными вкусами, крайнимъ развитіемъ сентиментальнаго направленія, внесеннаго въ нашу литературу предшественникомъ и учителемъ Жуковского—Карамзинимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ большой надорванный сентиментализмъ вытекалъ также изъ воспитанія исключительно литературнаго и лишеннаго всякой реальной основы. Не было и не передавалось никакихъ знаній, кромѣ литературныхъ, и потому у человѣка отнималась всякая возможность жить въ ладу съ дѣйствительностію и имѣть на нее вліяніе. Жуковский любилъ въ своей жизни повторять фразу, казавшуюся ему аксіомою: „жизнь и поэзія — одно“; фраза вѣрна можетъ быть по отношенію къ личному чувству поэта, но между поэзіею Жуковского и русской жизнію, его окружавшею, не было ничего общаго. Последняя, безъ сомнѣнія, не могла удовлетворить ни въ какомъ отношеніи сколько-нибудь развитого человѣка; она не давала ничего для развитія; она не допускала даже возможности дѣйствовать въ ней такъ, чтобъ находить въ дѣйствіи удовлетвореніе, не подрывая въ развитомъ человѣкѣ дорогихъ ему убѣжденій. Оттого люди, подобные Жуковскому, т. е. лучшіе люди тогдашняго общества, жили не въ дѣйствительности, а въ мірѣ любимой мечты, въ мірѣ завѣтномъ и доро-

гомъ для нихъ, но миръ фантастическомъ, который былъ имъ дороже дѣйствительности. Тутъ - то совершалось саморазвитіе, но не для жизни, а для себя; тутъ-то развивалось то „прекраснодушіе“, которымъ эти люди отличались отъ простыхъ людей времени. О поэзіи, какъ выраженіи дѣйствительности, не могло быть и помину тогда. Отсюда такое сильное вліяніе на талантъ господствовавшаго литературнаго вкуса, отъ котораго онъ никакъ не можетъ освободиться; отсюда недовольство жизнью и разочарованіе, толки о пустотѣ и „грязи дѣйствительности“, повторяемые нѣсколькими поколѣніями нашихъ поэтовъ. Жуковскій ничего не ждетъ отъ жизни:

„Мнѣ ужасовъ могила не являетъ;
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,
Чтобъ промисла рука обратно то взяла,
Чѣмъ я безрадостно въ семь мирѣ бременился,
Ту жизньъ, въ которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златить.
Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго—какъ мало!
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не приучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ“... ¹⁾

Время отъ 1802 до 1808 года Жуковскій провелъ большею частью въ деревнѣ, уѣзжая оттуда по временамъ въ Москву, гдѣ у него было много друзей и литературныя связи и предпріятія. Около 1805 года у него явилось еще занятіе, которое было ему особенно дорого. Одна изъ сестеръ его, Екатерина Аванасьевна Протасова, овдовѣла и, имѣя разстроенное состояніе, поселилась въ Бѣлевѣ, гдѣ и Жуковскій выстроилъ домъ для матери. Съ нею были двѣ дочери: Марья Андреевна—12 лѣтъ и Александра—10 лѣтъ. Жуковскій самъ вызвался быть учителемъ этихъ дѣвочекъ; занятія эти продолжались около трехъ лѣтъ. Планъ образованія, составленный Жуковскимъ, былъ очень широкъ и выполнялся имъ усердно. Жуковскій и своимъ занятіямъ, и своимъ ученицамъ отдался всею душою. Старшая, съ годами, стала для Жуковскаго самымъ дорогимъ существомъ; онъ питалъ къ ней глубокую, продолжительную, но несчастную привязанность, которая, какъ мы уже говорили, имѣла большое вліяніе на его жизнь и придавала еще болѣе элегическаго чувства его стихотвореніямъ.

Но покуда литературная дѣятельность побѣдила въ немъ зародившееся чувство. Друзья, въ особенности Мерзляковъ, давно звали его въ Москву на разныя литературныя предпріятія. Вѣроятно, не безъ участія Карамзина, которому былъ дорогъ имъ основанный журналъ, съ 1808 г. Жуковскій сдѣлался редакторомъ

¹⁾ „Къ Филалету“.

„Вѣстника Европы“ и издавалъ его вмѣстѣ съ Каченовскимъ, завѣдывавшимъ политическимъ отдѣломъ въ теченіе трехъ лѣтъ. Это время было временемъ самой усиленной литературной дѣятельности Жуковскаго. Обязанности редактора были тогда гораздо труднѣе, чѣмъ теперь; ему одному приходилось работать за многихъ. Но и въ журналистикѣ, какъ и въ направленіи своей поэзіи, Жуковский шелъ только по слѣдамъ Карамзина и считалъ его программу единственно возможною. Конечно, о современномъ намъ, политическомъ значеніи журналистики Жуковский не имѣлъ тогда понятія. Его задачей было доставить своимъ подписчикамъ запасъ пріятнаго и полезнаго чтенія. Программа Жуковскаго высказывается имъ довольно опредѣлительно въ вступительной статьѣ журнала ¹⁾. „Письмо изъ уѣзда къ издателю“, гдѣ заключено то же, что говорилъ и Карамзинъ при началѣ своего журнала. Значеніе журнала—образовательное для публики. „Существенная польза журнала,—не говоря уже о пріятности минутнаго занятія,—состоитъ въ томъ, что онъ скорѣе всякой другой книги распространяетъ полезныя идеи, образуетъ разборчивость вкуса, и—главное—приманкою новости, разнообразія, легкости, нечувствительно привлекаетъ къ занятіямъ болѣе труднымъ, усиливаетъ охоту читать, и читать съ цѣлью, съ выборомъ, для пользы“. „Обязанность журналиста: подъ маскою занимательнаго и пріятнаго скрывать полезное и наставительное“. Главное содержаніе журнала должно заключаться въ словесныхъ произведеніяхъ, какъ своихъ, такъ и чужихъ. Въ этомъ сказывается и вкусъ тогдашней публики и то исключительное литературное направленіе, которое получилъ Жуковский при своемъ образованіи. Политическій и критическій отдѣлы, самые существенные въ современномъ журналѣ, являлись у Жуковскаго чѣмъ-то почти ненужнымъ. „Политика въ такой землѣ, говоритъ онъ, гдѣ общее мнѣніе покорно дѣятельной власти правительства, не можетъ имѣть особенной привлекательности для умовъ беззаботныхъ и миролюбивыхъ; она питаетъ одно любопытство“. Жуковский хочетъ поэтому сообщать въ журналѣ только о самыхъ важныхъ и о самыхъ новыхъ случаяхъ міра. Какъ политику, такъ и критику Жуковский считаетъ почти бесполезною для своего журнала. „Критика, но, государи мои, какую пользу можетъ принести въ Россіи критика?—спрашиваетъ онъ. Что прикажете критиковать? посредственные переводы посредственныхъ романовъ? Критика и роскошь—дочери богатства; а мы еще не Крезы въ литературѣ! Замѣтно ли у насъ сіе дѣятельное, повсемѣстное усиліе умовъ, желающихъ производить или приобрѣтать, которое бы требовало вѣр-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1808 г. № 1.

наго направленія, которое надлежало бы подчинить законамъ разборчивой критики? Уроки морали ничто безъ опытовъ, и критика самая тонкая—ничто безъ образцовъ“. Критикѣ предоставляется только право „обращать вниманіе читателя на нѣкоторыя новыя, замѣчательныя—и потому самому рѣдкія явленія словесности“. Что касается до произведеній современной русской литературы, то въ этомъ письмѣ высказывается полное сочувствіе къ представителю тогдашняго патріотическаго направленія—Растопчину; монологи старика Силы Андреевича Богатырева письмо желало бы видѣть въ журналѣ.

Узкіе идеалы Карамзина, его взгляды на просвѣщеніе, на значеніе писателя и его отношеніе къ обществу повторяются и Жуковскимъ. Значеніе просвѣщенія и дѣйствіе его онъ видитъ не въ массѣ дѣлаго развивающагося народа, у котораго совершенствуется матеріальная и духовная сторона быта, а въ семействѣ. Когда разольется вездѣ просвѣщеніе, „тогда увидите людей менѣе разсѣянныхъ въ шумномъ, обширномъ кругу свѣта, всему предпочитающихъ мирный и тѣсный кругъ семейства“¹⁾. Семейное счастье, о которомъ часто и много говорилъ Жуковский, было для него выше всякаго другого. Въ статьѣ „Ето истинно добрый и счастливый человѣкъ“²⁾, добрымъ и счастливымъ человѣкомъ рисуется только тотъ, кто способенъ наслаждаться семейственною жизнью. Все счастье только въ семействѣ; оно выше счастья человѣка-гражданина. Въ семьѣ только совершаются самые благородныя, самые безкорыстныя подвиги и просвѣщеніе должно работать для семьи же. Эти мысли, очевидно, развиты воспитаніемъ въ школѣ Карамзина, составили неизмѣняемый кодексъ мнѣнія Жуковскаго, повторялись имъ всегда. Это программа для всей жизни, для каждаго.

Но въ біографическомъ отношеніи любопытно, что мечта о семейномъ счастьи сдѣлалась самою дорогою личною мечтою Жуковскаго; онъ сталъ повторять ее съ этого времени очень часто и въ стихахъ и въ прозѣ: его ученицѣ-племянницѣ Протасовой минуло 15 лѣтъ, и онъ уѣхалъ въ Москву чтобъ составить себѣ прочное литературное положеніе съ мечтою о семейномъ счастьи, именно съ нею. Разсуждая о томъ положеніи, которое имѣетъ въ обществѣ писатель, въ статьѣ подъ этимъ заглавіемъ, говоря, что писатель не можетъ играть дѣятельной роли въ большомъ свѣтѣ, ни по своимъ занятіямъ, ни по ограниченному состоянію своему, и не жалѣя о томъ, Жуковский развиваетъ слѣдующее мнѣніе: „Для писателя, болѣе нежели для кого-нибудь, необходимы семейственныя связи; привязанный къ одному

¹⁾ Письмо изъ уѣзда къ издателю „Вѣстника Европы“.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1808 г. № 12.

мѣсту своими упражненіями, онъ долженъ около себя находить тѣ удовольствія, которыя природа сдѣлала необходимыми для души чело-вѣческой; въ уединенномъ жилищѣ своемъ, послѣ продолжительнаго умственнаго труда, онъ долженъ слышать трогательный голосъ своихъ любезныхъ; онъ долженъ въ кругу ихъ отдыхать, въ кругу ихъ находить новыя силы для новой работы; *не имѣя вдали ничего достойнаго исканія*, онъ долженъ вблизи, около себя, соединить все драгоценнѣйшее для его сердца; вселенная со всеми ея радостями должна быть заключена въ той мирной обители, гдѣ онъ мыслить и гдѣ онъ любить". Такимъ образомъ Жуковскій свои личныя надежды и стремленія возводилъ въ общее правило для всѣхъ писателей.

Какъ журналистъ и издатель, Жуковскій былъ очень дѣятеленъ. Почти вся работа журнала въ первый годъ лежала на немъ одномъ; только на слѣдующій 1809 годъ, онъ пригласилъ къ себѣ въ сотрудники профессора Каченовскаго, имя котораго въ 1810 году стоитъ на заглавномъ листѣ журнала въ качествѣ соредактора и ему же съ 1811 года Жуковскій передалъ уже все изданіе. Статей въ разномъ родѣ, написанныхъ Жуковскимъ, было довольно. Несмотря на то, что въ программѣ журнала, высказанной въ „Письмѣ изъ уѣзда“, критикѣ отдавалось мало мѣста, Жуковскій, подобно Карамзину, писалъ критическія статьи въ томъ же духѣ и направленіи, съ тою же эстетическою осторожностью. О критикѣ онъ имѣлъ тогдашнее современное понятіе. „Критика, говорилъ онъ, есть сужденіе, *основанное на правилахъ образованнаго вкуса*, безпристрастное и свободное“¹⁾. Польза критики „состоитъ въ распространеніи вкуса“. Вкусъ этотъ есть „чувство и знаніе красоты въ произведеніяхъ искусства, имѣющаго цѣлю подражаніе природѣ нравственной и физической“. Распространяя истинныя понятія вкуса, критика „образуетъ въ то же время и самое моральное чувство“. Такая именно критика, называемая эстетическою, была въ ходу тогда. Съ этой точки зрѣнія написаны были Жуковскимъ три статьи критическія: „О баснѣ и басняхъ Крылова“ (1809 г.), „О сатирахъ и сатирахъ Кантемира“ (1809 годъ) и разборъ трагедіи Кребиллона „Радамистъ и Зенобія“, переведенной Висковатовымъ (1810). Что касается до первыхъ двухъ, то онѣ даютъ ясное понятіе о томъ, какъ нужно было писать критику въ то время. Методъ, употребленный Жуковскимъ, господствовалъ очень долго. Онъ начинается съ теоріи, т.-е. сначала излагаетъ тѣ теоретическія требованія, которыя обыкновенно дѣлаютъ извѣстному роду произведеній, затѣмъ показываетъ исторически образцовыя произведенія въ томъ же родѣ и наконецъ

¹⁾ „О критикѣ“.

уже сравниваетъ съ ними разбираемое имъ произведеніе. О томъ, что теперь называется историческою критикою, Жуковскій не имѣлъ понятія, но онъ хорошо былъ знакомъ съ современными эстетическими теоріями. Въ исторіи нашей критики онъ занимаетъ довольно видное мѣсто; онъ первый старался утвердить ее на точныхъ, научныхъ началахъ.

Уже въ то время имя Жуковскаго пользовалось извѣстностью, какъ превосходнаго переводчика чужихъ поэтическихъ произведеній. Оригинальнаго у него очень немного и въ исторіи нашего литературнаго развитія Жуковскій занимаетъ почетное мѣсто именно какъ поэтъ-переводчикъ за то, что онъ познакомилъ насъ со многими великими созданіями всемірной литературы. Поэтому намъ любопытно будетъ познакомиться съ тѣми мнѣніями, которыя Жуковскій высказывалъ въ своихъ критическихъ статьяхъ объ этомъ призваніи своемъ. „Переводчикъ стихотворца, говоритъ онъ, есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный“. Конечно, творецъ стоитъ выше, потому что ему принадлежитъ идея, планъ созданія, но „переводчикъ остается творцемъ выраженія, ибо для выраженія имѣетъ онъ уже собственные матеріалы, которыми пользоваться долженъ самъ, безъ всякаго руководства и безъ всякаго пособія посторонняго“. Выраженія оригинальнаго автора онъ долженъ сотворить. „А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда наполнившись идеаломъ, представляющимся ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразить его такъ сказать въ созданіе собственнаго воображенія: когда, руководствуемый авторомъ оригинальнымъ, повторить съ начала до конца работу его генія“¹⁾, это уже сама по себѣ есть творческая способность. Переводчика въ стихахъ Жуковскій ставитъ гораздо выше переводчика въ прозѣ.

„Не опасаясь никакого возраженія, говоритъ онъ, мы позволяемъ себѣ утверждать рѣшительно, что подражатель-стихотворецъ можетъ быть авторомъ *оригинальнымъ*, хотя бы онъ не написалъ ничего собственнаго. Переводчикъ *въ прозѣ* есть рабъ; переводчикъ *въ стихахъ*—соперникъ... Поэтъ оригинальный воспламеняется идеаломъ, который находитъ у себя *въ воображеніи*; поэтъ-подражатель въ такой же степени воспламеняется образцомъ своимъ, который заступаетъ для него тогда мѣсто идеала собственнаго: слѣдственно переводчикъ, уступая образцу своему пальму первенства, долженъ необходимо имѣть почти одинакое съ нимъ воображеніе, одинакое искусство слога, одинакую силу въ умѣ и чувствахъ... Находитъ у себя въ во-

¹⁾ Разборъ траг. Кребиллона „Радамистъ и Зенобія“, переведенной Висковатовымъ.

ображеніи такіа красоты, которыя бы могли служить *замѣною*, слѣдовательно производить *собственное*, равно и превосходное: не значить ли это быть творцомъ?"¹⁾ Такъ смотрѣлъ въ то время, да вѣроятно и послѣ Жуковский на главное содержаніе своей поэтической дѣятельности. Но это требованіе самостоятельности и нѣкотораго рода творчества отъ переводчика въ стихахъ, чѣмъ Жуковский хотѣлъ какъ бы поднять свое призваніе, по отношенію къ его собственнымъ переводамъ имѣло и свои невыгодныя стороны. Извѣстно, что Жуковский, по крайней мѣрѣ въ пору своей молодой и лучшей дѣятельности, бралъ для перевода изъ европейскихъ литературъ такіа произведенія, которыя отвѣчали всего болѣе его личнымъ вкусамъ, его направленію и сентиментальнымъ наклонностямъ, въ которыхъ онъ воспитался. Отъ этого все переведенное Жуковскимъ носить на себѣ печать его собственныхъ взглядовъ и убѣжденій и скорѣе выражаетъ его самого, его личное чувство, чѣмъ сущность и духъ чужихъ произведеній. Нѣкоторыя изъ нихъ онъ передѣлывалъ по своему до неузнаваемости. Нѣсколько поэтическихъ произведеній, болѣею частію переводныхъ, напечатанныхъ имъ въ „Вѣстникѣ Европы“, отличаются общимъ тономъ элегіи, въ которомъ попрежнему слышится скорбь о минувшемъ, жалобы на утраченное счастье любви и желаніе смерти...

Самымъ любопытнымъ поэтическимъ произведеніемъ Жуковскаго во время редактированія имъ „Вѣстника Европы“ былъ не переводъ, а скорѣе передѣлка баллады Бюргера „Ленора“, которую Жуковский назвалъ „Людмила“—русская баллада²⁾. Этимъ произведеніемъ, которое имѣло чрезвычайный успѣхъ въ тогдашнемъ обществѣ, открывается въ нашей поэзіи новый и неизвѣстный до тѣхъ поръ рядъ явленій, называемыхъ балладами, за которыя самъ Жуковский въ литературныхъ кружкахъ и въ критикѣ получилъ названіе „балладника“. Впечатлѣніе этой знаменитой „Людмилы“ на читающую публику равнялось впечатлѣнію „Вѣдной Лиры“—Караджина. Восторгамъ и подражанію не было конца. Особенное значеніе балладѣ придавало нѣкоторое отношеніе къ современности; она переносила читателя на поля тогдашнихъ сраженій и выражала сердечныя утраты, которыхъ было немало. Съ нею вторгался въ русскую литературу новый незнакомый ей прежде міръ, міръ балладъ, міръ мертвецовъ, видѣній, фантастическихъ чудесъ, міръ соприкосновенія жизни дѣйствительной съ загробною, то, однимъ словомъ, что Жуковский называлъ романтизмомъ. Остановимся на этомъ понятіи.

¹⁾ О баснѣ и басняхъ Крылова.

²⁾ „Вѣстн. Евр.“, 1808 г., № 9.

ЛЕКЦІЯ VI и VII.

Романтизмъ на западѣ и романтизмъ Жуковскаго. — „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“. — Пѣвець въ станѣ русскихъ воиновъ. — Отношенія Жуковскаго къ Протасовой. — „Долбинскія“ стихотворенія. — Посланіе къ имп. Александру.

Съ передѣлкою нѣмецкой Леноры поэта Бюргера въ русскую „Людмилу“, которая такъ понравилась тогдашнему обществу, въ русской литературѣ въ первый разъ появляется то направленіе, которое извѣстно у насъ во всѣхъ учебникахъ подъ названіемъ *романтизма*. Это движеніе, вступивъ въ ожесточенную борьбу съ господствовавшимъ прежде классицизмомъ, вытѣснило его и овладѣло полемъ. Вводителемъ этого новаго направленія у насъ называютъ обыкновенно Жуковскаго и съ него начинается исторія нашего романтизма, представляющаго главнымъ образомъ въ двадцатые и тридцатые годы. Самъ Жуковскій признаетъ это: „я во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ“ — пишетъ онъ къ Стурдзѣ¹⁾). Говорить о романтизмѣ и соединять съ этимъ понятіемъ имя Жуковскаго, мы давно привыкли, особенно со времени критики Бѣлинскаго. Это былъ любимый терминъ его, хотя онъ далъ самое неопредѣленное понятіе о романтизмѣ, слишкомъ узкое съ одной и слишкомъ широкое съ другой стороны.

Нѣтъ ничего неопредѣленнѣе и туманнѣе того понятія о литературномъ движеніи, извѣстномъ у насъ подъ именемъ романтизма, какое вообще мы встрѣчаемъ въ нашихъ курсахъ и критическихъ обзорѣніяхъ литературы. Причина этого заключалась обыкновенно въ томъ, что о романтизмѣ мы привыкли судить по тѣмъ явленіямъ его, какія были въ нашей литературѣ, а въ нее попадали только жалкіе, оборванные лоскутки европейскаго умственнаго движенія. Но и это движеніе, извѣстное подъ именемъ романтизма, захватывающее собою весьма длинный періодъ времени, почти всѣ сферы жизни, начиная политикой и кончая искусствомъ, заключало въ себѣ столько сложнаго, столько разнообразнаго, столько противорѣчиваго, было такъ непохоже само на себя въ теченіе своего развитія, что его невозможно опредѣлить въ немногихъ, точныхъ словахъ. Считать романтизмъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ, однимъ противодѣйствіемъ господствовавшему до него въ литературѣ и искусствѣ классицизму или смотрѣть на него, какъ на особенное поклоненіе идеаламъ и формамъ среднихъ вѣковъ, значитъ имѣть о немъ недостаточное понятіе.

¹⁾ Письмо отъ 10 марта н. ст. 1849 г.

Романтизмъ не былъ только эстетическою теоріею; нѣтъ, онъ обнималъ собою всю жизнь, проникалъ всѣ ея сферы.

Человѣческій духъ, начиная со второй половины XVIII вѣка до конца его, представляетъ намъ такую общую, дѣятельную, глубокую критическую работу мысли, какую едва ли можетъ представить другой историческій періодъ, за исключеніемъ эпохи Возрожденія. Результатомъ этой усиленной, смѣлой и радикальной работы (напр. въ философахъ Франціи и въ Кантѣ), и въ сферѣ государства и практики, и въ религіи, и въ нравственности былъ рѣшительный пересмотръ прошедшаго. Человѣчеству пришлось выбросить за бортъ, какъ ненужный балластъ, массу такого содержанія, которое создавалось вѣками, къ которому люди привыкли длиннымъ путемъ развитія историческаго. Въ этомъ разрѣженномъ критикою воздухѣ, на высотѣ побѣдившей мысли, было ужъ слишкомъ просторно, не за что было держаться руками. За работою мысли, въ послѣдніе годы XVIII и въ первые годы XIX вѣка, произошелъ тотъ могущественный историческій катаклизмъ, волненія котораго не вдругъ могли стихнуть. Падали старыя формы жизни, падали, вызывая въ душѣ то восторженные крики освобожденія, то боль и страданіе. Мѣнялись съ чрезвычайною быстротою границы государствъ и народностей, отстраняя старыя изжившія явленія, выдвигая новыя и непривычныя. Когда успокоивалось волненіе, мысль естественно должна была обращаться назадъ: она видѣла предъ собою развалины и броженіе. Многаго не досчитывалась она, обо многомъ жалѣла, доходила до ненависти къ недавнимъ увлеченіямъ, до неисторическаго, до нелогичнаго, но часто страстнаго желанія возстановить невозвратное прошедшее. Она пугалась добытой борьбою свободы, боялась крайнихъ выводовъ, робко пряталась отъ самой себя. Скорбь и раздвоеніе, раздраженіе и разочарованіе наполняли сердце у романтика, изъ котораго вѣтеръ критики выдулъ вѣковыя иллюзіи. Ему страшно идти впередъ, не оглядываясь, а старая вѣра подорвана. Онъ стоитъ въ тяжеломъ раздумьи на распутии двухъ міровъ: назадъ его манятъ волшебные образы прошедшаго, гдѣ живутъ его воспоминанія, а впереди страшно свободно развертываются — безграничныя дали будущаго, ему незнакомыя. Это-то и была общая болѣзнь вѣка, сказавшаяся въ Европѣ въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ философіи, литературы, искусства, что было совершенно естественно при ея богатой и сложной исторической жизни.

Что-то больное и раздвоенное всегда присутствуетъ въ романтизмѣ. Мы увидимъ потомъ, какъ это общее историческое недовольство Европы преобразилось въ наше внутреннее недовольство, когда правительство Александра пошло по дорогѣ крайней реакціи, не

оправдав надеждъ и стремленій развитого меньшинства. То была лучшая пора нашего романтизма.

Съ романтизмомъ европейскимъ соединяются самыя разнообразныя идеи и порывы духа. Подъ этимъ знаменемъ мы видимъ и свободную мысль и рабское поклоненіе авторитету; отъ романтизма вѣетъ и вольнымъ воздухомъ новаго времени и спертую атмосферу кельи средне-вѣковаго монастыря. Въ „Фаустѣ“ Гёте и въ „Манфредѣ“ Байрона выражено самое глубокое пониманіе романтическихъ стремленій; но сколько въ этихъ величавыхъ фигурахъ раздвоенности, страданія и вѣчной неудовлетворенности! Ихъ скорбь—скорбь цѣлаго вѣка. Эти два типа, созданные двумя величайшими поэтами, какъ выраженіе времени, сдѣлались любимыми типами и находили себѣ подражателей и въ литературѣ, и въ жизни. Поэтъ въ понятіяхъ романтизма не былъ обыкновеннымъ человѣкомъ, онъ былъ не отъ міра сего, стоялъ высоко надъ толпою, отъ ея жизни, отъ ея стремленій былъ отдѣленъ непроходимой бездною. Это была избранная натура, но ея удѣлъ на землѣ были страданіе и гибель. Въ подражаніе поэту и обыкновенные люди снались подняться надъ массою и явиться тоже избранными натурами. Всякій желалъ явить изъ себя героя. Воображеніе господствовало надъ разсудкомъ; реального пониманія жизни почти вовсе не существовало, и въ романтизмѣ возникло множество заблужденій и нелѣпостей, невозможныхъ въ здоровую пору жизни. Въ романтизмѣ, котораго начало надобно искать въ мистическихъ увлеченіяхъ XVIII вѣка, въ недовольствѣ слишкомъ смѣлою и отрицающею мыслию французскихъ философовъ того времени, сильно было развито недовѣріе къ „сухой разсудочности“, по выраженію Гегеля, и отсюда легко объясняется такъ называемая *романтическая тѣра*, полная сердечности, мистики, пѣтизма, а такъ какъ такая вѣра господствовала преимущественно въ католицизмѣ и въ эпоху среднихъ вѣковъ, то идеалы этихъ послѣднихъ и въ религіи, и въ искусствѣ, и въ литературѣ особенно нравились романтикамъ. Старая вѣра въ чудесное, сверхъестественное, въ возможность сообщеній міра земного съ міромъ загробнымъ снова оживала въ романтизмѣ. Если въ вѣрѣ было такое обращеніе къ отжившей старинѣ среднихъ вѣковъ, то подобная же реакція существовала и въ практическихъ вопросахъ жизни и государства.

Но какими образомъ произошло, что духъ человѣческій, передъ которымъ была такая широкая, свободная дорога, послѣ усилій своей крѣпкой мысли въ XVIII вѣкѣ, снова повернулъ съ тоскою къ мечтательнымъ образамъ прошедшаго, казалось навсегда исчезнувшаго? Какъ въ исторической жизни народовъ, такъ и въ царствѣ духа, за революціонными, слишкомъ смѣлыми попытками, является трудъ ре-

авціи и реставраціи, но добытое прежде не гибнетъ; напротивъ, вслѣдствіе противодѣйствія, его значеніе становится глубже и яснѣе.

И друзья, и враги романтизма пытались опредѣлить его значеніе и приходили къ различнымъ результатамъ, потому что не въ состояніи были найти корни этого сложнаго явленія. Романтизмомъ опредѣляли мечтательную любовь къ природѣ и страстное религиозное влеченіе души, и тоскливую привязанность къ нравамъ и формамъ прошедшаго, и сердечное стремленіе въ даль, къ неизвѣстному, къ очарованному *тамъ*. Подъ знаменемъ романтизма дѣйствовали и консервативные и либеральные умы, съ стремленіемъ къ лучшимъ формамъ жизни, и боязливая запуганность передъ движеніемъ, и демократическій энтузіазмъ съ мечтами о народной свободѣ, и озлобленіе и вражда къ настоящему. Романтизмъ похожъ на неуловимый образъ Протея. Но эта неуловимость происходитъ отъ того, что романтизмомъ привыкли называть то или другое явленіе въ области духовной или жизненной, ту или другую партію въ литературѣ или искусствѣ, тогда какъ подъ романтизмомъ надобно разумѣть цѣлую историческую форму духовной жизни европейскихъ народовъ, цѣлую и длинную эпоху. Романтизмъ, какъ эпоха, похожъ на голову древняго Януса съ двойнымъ лицомъ; одна сторона смотритъ назадъ, въ прошедшее, другая—впередъ, въ будущее. Съ одной стороны въ туманной дали голубыя горы съ волшебными замками и съ волшебными садами прошедшаго, съ другой—свободныя, широкія поля будущаго. Человѣка, уже тронутаго духомъ новаго времени, но который вздумалъ бы средствами новаго образованія возстановлять старину и отжившее въ литературѣ или искусствѣ, въ религіи или наукѣ, въ жизни или политикѣ, который захотѣлъ бы на изжившейся жизненной почвѣ новаго времени возстановлять міръ прошедшаго,—мы называемъ обыкновенно романтикомъ. Не первоначальное романтическое міросозерцаніе (въ духѣ среднихъ вѣковъ), когда человеческое сознаніе наполнялось всецѣло міромъ сверхъчужденнаго, который не былъ еще ни подрытъ сомнѣніемъ, ни разогнанъ рефлексіей,—потому что таковой сверхъчужденный міръ, при совершенномъ незнакомствѣ съ законами міра чувственнаго, одинъ только имѣлъ дѣйствительность и значеніе,—не эту давно исчезнувшую ступень развитія называемъ мы романтизмомъ, какъ историческое явленіе, но сознательное, преднамѣренное возстановленіе прошедшаго, посреди вѣка, по внутреннему содержанию своему вполне чуждаго этой давно исчезнувшей формѣ развитія. Міровоззрѣніе среднихъ вѣковъ было романтическое. Но отцы церкви и схоластики среднихъ вѣковъ, мистики и реформаторы, для которыхъ это мировоззрѣніе составляло убѣжденіе сердечное и которые доказывали его научнымъ образомъ, вовсе не были романтиками.

Они были убѣждены въ томъ, во что вѣрили. Начавшееся съ XVI вѣка въ Европѣ, подъ вліяніемъ древней мысли, изученіе природы и развитіе естественныхъ наукъ, затѣмъ свободное движеніе духа въ просвѣтительную эпоху въ XVII и XVIII вѣкахъ разсѣяли это романтическое воззрѣніе, въ оковахъ котораго такъ долго находилось европейское человѣчество, а критическая философія Канта, какъ послѣднее звено свободнаго движенія ума, казалось, ясно опредѣлила границы человѣческаго разума. Духъ освободился отъ чуждаго ему содержанія; міръ сверхчувственный онъ понялъ теперь, какъ свое собственное созданіе. Это уже окончательно разрушало романтическое мировоззрѣніе. Но сердце, которое не умѣло уяснить себѣ свои потребности, и фантазія, вырвавшаяся изъ-подъ власти разсудка, пытались въ новое время возстановить и удержать это исчезнувшее мировоззрѣніе въ сознаніи новаго человѣчества, снова ввести и въ науку и въ различныя сферы духовной жизни этотъ старый балластъ, но въ новой одеждѣ. Это и былъ европейскій романтизмъ новаго времени.

При чрезвычайной сложности процесса историческаго движенія новаго европейскаго романтизма, весьма трудно опредѣлить и начало его и исходъ, поставить въ особенности пограничныя столбы тамъ, гдѣ кончается романтизмъ и начинается реализмъ. Человѣческое развитіе происходитъ не вдругъ; отъ сознающаго меньшинства мысль постепенно переходитъ къ массѣ и что для одного является уже пройденною пережитою ступенью, съ того для другого начинается только развитіе. Вообще приблизительно можно опредѣлить начало романтизма съ первымъ реакціоннымъ движеніемъ въ ходѣ французской революціи XVIII вѣка, но зачатки романтизма можно видѣть и въ мистицизмѣ этого вѣка и въ сочиненіяхъ Руссо съ его идеализмомъ и тоскою по природѣ. Не нужно забывать, что въ каждой европейской странѣ, подъ вліяніемъ обстоятельствъ и историческихъ условій ея, романтизмъ принялъ особую форму, особый оттѣнокъ. Страною, однакожъ, гдѣ романтизмъ больше и полнѣе всего господствовалъ, была Германія, въ особенности въ сферахъ поэзіи и литературы, а потомъ и въ философіи. Фантазія заступила мѣсто здраваго разсудка, сердце вало преобладаніе надъ умомъ. Жизнь среднихъ вѣковъ сдѣлалась любимымъ представленіемъ нѣмецкихъ романтиковъ. Въ ней только одной была свѣжесть, сила и непосредственность. Поэзію Гёте обвиняли въ матеріализмѣ, требовали, чтобъ искусство удалось отъ „пошлой“ дѣйствительности. Старые законы нравственности презирались всеміи; чувство и страсть получили оправданіе, создались новые законы морали. Фантазія явилась разнузданною, и личность, которая сама только ставила себѣ законы, стала презирать дѣйствительность и всѣ ея права.

Печальныя политическія отношенія времени, сначала господство французовъ въ Германіи, а потомъ общая правительственная реакція невольно увлекали мысль и фантазію отъ настоящаго, отъ очень некрасивой дѣйствительности.

Духъ, недовольный настоящимъ, уходилъ въ прошедшее, которое казалось и лучше, и дороже. На это прошедшее смотрѣли безъ всякой критики, въ ложномъ свѣтѣ идеала; оно должно было замѣнить собою пустоту настоящаго. Правда, потомъ и это обольщеніе принесло свою пользу для науки о прошедшемъ и въ этомъ же чувствѣ начались попытки изученія старины и народности у Гриммовъ. Романтизмъ служилъ и наукѣ, и противникамъ ея, какъ служилъ онъ свободѣ и репрессивнымъ мѣрамъ правительствъ.

Таковъ былъ романтизмъ на европейской почвѣ; посмотримъ, какія стороны его перешли къ намъ, въ нашу жизнь.

Съ самой реформы Петра Вел. наша историческая задача заключалась въ усвоеніи европейскихъ началъ цивилизаціи и духовной жизни. Съ каждымъ десятилѣтіемъ нашего развитія задача эта понималась все глубже и шире, тѣмъ болѣе, что и самая жизнь европейская не стояла на одномъ мѣстѣ, а развивалась, а потому одно европейское вліяніе шло послѣдовательно къ намъ за другимъ; мы переживали у себя разныя фазы чужой внутренней жизни, пережили псевдо-классицизмъ, философію Вольфа, скептическую мысль XVIII вѣка и вольнодумство, затѣмъ масонство и какъ противодѣйствіе скептицизму и отрицанію — мечтательность и сентиментальность, съ которыми въ близкомъ отношеніи находится только-что вступившій на нашу почву романтизмъ. Это былъ необходимый и естественный ходъ впередъ нашего русскаго развитія, но на фонѣ европейской жизни. Понемногу къ этому движенію присоединяется наконецъ стремленіе къ самостоятельности. Мы долго жили такимъ образомъ заимствованіемъ и подражаніемъ, но мы развивались, мы воспитывались, мы шли тѣмъ же путемъ внутренняго развитія, какъ и европейскія націи, мы логически и послѣдовательно шли съ ними одинаковымъ путемъ.

Къ сожалѣнію, условія нашей политической и вообще общественной жизни были таковы, что этотъ прямой путь развитія безпрестанно нарушался, переходъ европейскихъ вліяній затруднялся, да и сами они очень часто суживались въ своихъ размѣрахъ, а иногда входили къ намъ просто контрабандою. Европейское вліяніе и наше умственное развитіе были бы гораздо глубже, и конечно прочнѣе, еслибъ пользовались болѣею свободою и болѣшимъ уваженіемъ со стороны власти. Но еще больше препятствій заключалось въ невѣжествѣ общества, для котораго вовсе не дороги были умственные инте-

реш. Что же касается до народа, то онъ оставался внѣ всего этого движенія и развитія. Понятно, что при такихъ невыгодныхъ условіяхъ европейскія вліянія переходили къ намъ клочками, обрывками. Мы воспитывались на европейскихъ идеяхъ, но и эти идеи доходили къ намъ также не въ цѣломъ видѣ, и часто случалось, что мы начинали переживать ту фазу, которая была давно уже пройдена Европою.

Такъ и европейскій романтизмъ, который появился у насъ при Карамзинѣ, подъ именемъ сентиментализма и подъ видомъ мечтательности, а при Жуковскомъ сталъ называться у насъ собственнымъ именемъ, былъ на нашей почвѣ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ въ Европѣ. У насъ, какъ извѣстно, долго понимали подъ словомъ романтизмъ только противоположность классицизму, всѣмъ надобъвшему. Той широкой исторической основы, какая была у европейскаго романтизма, у насъ не существовало. Мы заимствовать могли изъ него только то, что приходилось намъ по плечу (и больше худыхъ его сторонъ, чѣмъ хорошихъ).

Первымъ вводителемъ у насъ элементовъ романтизма былъ, какъ мы сказали уже, Карамзинъ, хотя при немъ не существовало еще самаго названія. Въ сентиментальности его надобно видѣть зародыши романтизма. Несмотря на малое развитіе тогдашняго современнаго общества, несмотря на то, что въ массѣ этого общества было самое ничтожное число не только людей образованныхъ, но и читающихъ вообще, сочиненія Карамзина, въ нравственномъ, но не политическомъ отношеніи, имѣли образовательное или воспитательное значеніе для тогдашняго общества. Какъ моралистъ, какъ проповѣдникъ свободы страстей, какъ распространитель, хотя и въ узкихъ границахъ, идей Руссо, Карамзинъ былъ передовымъ человѣкомъ въ нашемъ обществѣ того времени и Жуковскій въ этомъ отношеніи не пошелъ дальше его и является только продолжателемъ Карамзина. Но Жуковскій былъ болѣе, чѣмъ Карамзинъ, знакомъ съ нѣмецкою романтическою школою, явленіемъ новымъ для Карамзина въ литературѣ, обязаннаго своимъ воспитаніемъ болѣе французамъ. Вліянію этой нѣмецкой романтической школы и подчинился Жуковскій. Переводомъ ея произведеній, усвоеніемъ ихъ намъ, при удивительной художественности своего стиха и изящности выраженія, Жуковскій внеслъ въ нашу литературу новое романтическое содержаніе, дѣлался популяризаторомъ его.

Но цвѣты романтической поэзіи не были, несмотря на всю свою наружную прелесть, произведеніемъ здороваго развитія. Почва, ихъ воспитавшая, была нездоровая почва. Эти цвѣты похожи на тѣ весьма красивые цвѣты-паразиты, которые развиваются на гнію-

шихъ остаткахъ растительнаго царства: подъ ними трупы. И Жуковский вынесъ изъ этого больного міра только то, что подходило къ его личной настроенности: меланхолическое, но весьма неопредѣленное по содержанию своему чувство, вѣчную жалобу о непрочности всего земнаго, вѣчное порываніе куда-то, въ туманную даль, поэтическую вѣру, со всею ея обстановкою, съ сердечнымъ убѣжденіемъ въ существованіе призраковъ, привидѣній и другихъ явленій загробнаго міра, между которыми и землею, казалось, не существовало границъ. Съ привычкою къ этому содержанию, Жуковский, касаясь русской народности, умѣлъ понять въ ней поэтически только одно суевѣріе въ „Свѣтланѣ“. Увлекался сочувствіемъ къ исчезнувшей старинѣ, напр. среднихъ вѣковъ, воспроизводя въ поэзіи ея образы; романтики невольно подчинялись обаянію и исчезнувшихъ понятій, и предразсудковъ, бесплодныхъ вѣрованій и даже монастырскаго аскетизма. Все это, какъ видите, находилось въ глубокомъ разладѣ съ дѣйствительною жизнью, которая какъ бы не существовала для поэта. Напротивъ, онъ шеголялъ равнодушіемъ къ этой жизни, онъ презиралъ ея интересы. Такая поэзія, какою была у Жуковского, конечно ничего здороваго не внесла въ общественную жизнь; она растлѣвала умы, дѣлала человѣка тряпкою, но ея содержаніе удивительно приходилось по сердцу тому больному, разочарованному поколѣнію русскихъ людей, которое, послѣ потрясающихъ событій, послѣ великихъ жертвъ и напряженій, очутилось въ тискахъ реакціи. Только сильные и практическіе умы старались освободиться изъ нихъ и не поддавались дѣйствительности, боролись съ этою одуряющею поэзіею. Среднимъ же людямъ, большинству поколѣнія, оставалась только надежда на „очарованное тамъ“. Таковъ былъ романтизмъ, который ввелъ къ намъ Жуковский; съ другимъ родомъ его, но тоже обязательнымъ началомъ своимъ Европѣ, мы познакомимся въ поэзіи Пушкина.

Передѣлывая „Ленору“ на русскіе нравы, подъ именемъ „Людмила“, Жуковский сгладилъ въ этомъ произведеніи всѣ народныя черты, но и своей „Людмилѣ“ не далъ опредѣленнаго очерка. Самое характеристическое въ этой балладѣ, что, вѣроятно, соответствовало личному настроенію поэта—это выраженіе скорби разлуки. Роспотъ Людмилы на Провидѣніе за смерть своего возлюбленнаго называется тотчасъ же въ русской балладѣ, но этотъ сворный судъ вредитъ ея поэтическому впечатлѣнію. Зато вѣра въ чудесное вполнѣ удовлетворялась и описаніе скачки Людмилы съ мертвецомъ на днелекое кладбище производило въ современникахъ и въ особенности современницахъ трепетъ и замираніе сердца. Успѣхъ „Людмилы“ какъ будто воодушевилъ Жуковского къ поэтическимъ переводамъ и передѣлкамъ. Рядомъ съ незначительными, впрочемъ, собственными

его произведениями стали съ 1809 года одинъ за другимъ являться переводы нѣмецкихъ поэтовъ, изъ которыхъ замѣчательнѣе то, что переводилось изъ Гёте и Шиллера.

Между тѣмъ, несмотря на свои литературные успѣхи и редакторство журнала, который отнималъ много времени, Жуковский по-рывался опять въ деревню къ своимъ роднымъ. По всей вѣроятности, теперь влекло его туда реальное чувство любви къ ученицѣ его—старшей Протасовой. Уже на другой годъ изданія „Вѣстника Европы“ онъ взялъ въ помощники себѣ Каченовскаго; въ концѣ 1810 года мы находимъ уже Жуковского на родинѣ, въ Мишенскомъ, въ усиленныхъ занятіяхъ поэзіей, которую онъ считалъ теперь своимъ призваніемъ, и въ стремленіяхъ приобрести побольше свѣдѣній и тѣмъ восполнить пробѣлы, оставленные школой. Въ письмѣ къ А. Тургеневу Жуковский раскрываетъ всѣ тогдашніе свои планы и намѣренія. Онъ хочетъ много учиться, чтобъ сдѣлаться славнымъ авторомъ, и общается „дѣлать только минутные набѣги на парнасскую область, съ тѣмъ однако, чтобы со временемъ занять въ ней выгодное мѣсто, поближе къ храму славы. Три года будутъ посвящены труду приготовительному, необходимому, тяжелому, но услаждаемому высокою мыслию быть прямо тѣмъ, что должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ, но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя надѣяться достигнуть до перваго“¹⁾. Серьезно смотря на свое призваніе, Жуковский хочетъ серьезно приготовиться къ нему. Въ то время (1810 г.) его особенно занимала исторія. Тургеневу, который любилъ исторію и занимался ею, Жуковский признается, что въ ней онъ совершенный невѣжда. „Но я хочу, пишетъ онъ, получить объ исторіи хорошее понятіе; не быть въ ней ученымъ, ибо я не располагаюсь писать исторію, но приобрести философическій взглядъ на происшествія въ связи“. И онъ совѣтуется съ Тургеневымъ о выборѣ книгъ историческихъ и сообщаетъ, какъ онъ читаетъ Герена и Гаттерера, входитъ въ подробности. На занятія русской исторіей, съ которою онъ вовсе не знакомъ, Жуковский смотритъ иначе. „Тутъ уже нечего думать о классикахъ и надобно добираться самому до источниковъ“.

Въ это время, да и нѣсколько лѣтъ послѣ, Жуковский мечталъ о большой эпической поэмѣ „Владимиръ“, для которой онъ даже хотѣлъ ѣхать въ Кіевъ. „Владимиръ“—говоритъ онъ, будетъ мой фаросомъ (въ мерѣ русской исторіи); но чтобы плыть прямо и безопасно при свѣтѣ этого фароса, надобно научиться искусству море-

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 796.

плаванія. Вотъ что я теперь и дѣлаю“. Жуковский весь въ трудѣ— для собственнаго образованія, а ему уже было 27 лѣтъ. „Я нахожу удовольствіе, пишетъ онъ, даже и въ томъ, чтобы учить наяву примѣры изъ латинскаго синтаксиса, воображая, что со временемъ буду читать Virgilia и Tacita“. Онъ проситъ Тургенева безъ отлагательства прислать ему латинскую и греческую грамматики, проситъ и другихъ книгъ. Часы занятій его распредѣлены „со всею точностью трудолюбиваго нѣнца. Для каждаго есть особенное, непремѣнное занятіе“; даже „восхищенію стихотворному назначенъ часъ особый, свой“. Повидимому, онъ совершенно доволенъ своею обстановкою и началомъ трудолюбивой и дѣятельной жизни. „Я всегда говорю себѣ: настоящая минута труда уже сама по себѣ есть плодъ прекрасный. Такъ, милый другъ, дѣятельность и предметъ ея польза— вотъ что меня теперь одушевляетъ“. Но эта преданность и увлеченіе трудомъ вдругъ нарушается сомнѣніемъ: „Что, если предпринятая мною дѣятельность будетъ бесплодна?“ Жуковский жалѣетъ о томъ, что онъ не умѣлъ воспользоваться временемъ: „Ахъ, братъ и другъ, сколько погубло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна“¹⁾).

Причина недѣятельности, на которую жалуется Жуковский въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу, заключалась въ любви къ Протасовой: „Если романическая любовь, говоритъ онъ, можетъ спасти душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ какъ царь сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время“²⁾). Мы видѣли, какъ онъ желалъ всѣми силами избавиться отъ своей бездѣятельности, какъ онъ хлопоталъ о своемъ самообразованіи, какъ распредѣлялъ планы своихъ занятій и собиралъ со всѣхъ сторонъ матеріалы. Кажется, это было самое бодрое время въ жизни Жуковскаго. Онъ надѣялся на будущее, смотрѣлъ на него съ довѣріемъ. Успѣхъ „Людмилы“ побудилъ его продолжать въ томъ же направленіи. Въ 1810 году была имъ написана первая часть повѣсти „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, подъ особеннымъ названіемъ „Громобой“. Баллада эта, основанная на распространенной у всѣхъ народовъ средневѣковой легендѣ о грѣшникѣ, продавшемъ свою душу сатанѣ за земныя наслажденія, была заимствована Жуковскимъ не прямо изъ народныхъ преданій, а изъ нѣмецкаго современнаго ро-

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 790—799.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 794.

мана Шписа „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, произведенія самаго романтическаго свойства. Жуковский перенесъ, впрочемъ, дѣйствіе въ Россію, на берега Днѣпра, хотя сдѣлано это весьма неопредѣленно.

Съ задушевными миромъ поэта баллада эта была связана главнымъ героемъ ея. „Вадимъ“ (это вторая часть повѣсти, написанная дѣтъ черезъ шесть послѣ первой) — искушитель спящихъ дѣвъ, — идеаль Жуковского:

...Тотъ, кто чистъ душою,
Кто, ихъ не зрѣвши, распаленъ
Одной изъ нихъ красою,
Придетъ, *житейское призреть*,
Въ забвенну ихъ обитель,
Есть обреченный спящихъ дѣвъ
Отъ неба искушитель“.

Въ Вадимѣ заключено все, что нравилось Жуковскому въ то время, что составляло для него призваніе человѣка:

„...скорбь о неизвѣстномъ,
Стремленье вдаль, любви тоска,
Томленіе разлуки“.

Это фигура романтическая; это образъ средневѣковаго рыцаря изъ круга бретонскихъ романовъ о Граалѣ. Этотъ идеаль выражалъ сердечное стремленіе Жуковского, его романтическую любовь, о которой онъ много говорилъ въ неясныхъ стихахъ, хотя у него уже созрѣло желаніе жениться на предметѣ своей любви:

„Есть *одна* во всей вселенной,
Къ *ней* душа, и мысль объ *ней*;
Къ *ней* стремлю, забывшись, руки—
Милый призракъ прочь летить“ ¹⁾

Вотъ то чувство, которое наполняло душу Жуковского, рядомъ съ занятіями наукой и переводами нѣмецкихъ балладъ, преимущественно изъ Шиллера и Гете, — по личному его выбору. Однообразіе таланта Жуковского доказывается и тѣмъ, что, передѣлавъ „Ленору“ въ Людмилу, онъ снова повторилъ ее въ своей „Свѣтланѣ“, прибавивъ только описаніе русскихъ гаданій на святкахъ.

Что касается до матеріальныхъ условій жизни до 1812 года, то Жуковский не могъ пожаловаться на судьбу. Обстановка его была вполне благопріятна. Онъ купилъ себѣ имѣніе недалеко отъ родныхъ; у него было много сосѣдей; жизнь была веселая, довольная,

¹⁾ „Жалоба“.

въ которой удовлетворялись даже эстетическіе вкусы. Всему этому средства давались конечно крѣпостнымъ правомъ. Какъ самодовольна была эта жизнь, видно изъ разсказа біографа Жуковскаго Зейдлица ¹⁾ объ отношеніяхъ поэта къ сосѣду своему и Протасовыхъ—помѣщику Плещееву. Тотъ Плещеевъ, родственникъ и сынъ друга Карамзина, человѣкъ съ значительнымъ состояніемъ, былъ большой любитель искусствъ, въ особенности музыки и театра. Онъ самъ прекрасно игралъ на виолончели и писалъ музыку, не только на романсы Жуковскаго, но и цѣлыя оперы. Кромѣ того, онъ былъ превосходнымъ актеромъ и отлично читалъ по-русски и по-французски, славясь вообще умѣньемъ подражать разнымъ лицамъ и разнымъ голосамъ. Это умѣнье доставило ему впоследствии мѣсто чтеца при императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. У Плещеева была своя труппа актеровъ, свои крѣпостные музыканты, — такъ что эстетическія наслажденія стоили недорого. Къ нему, какъ человѣку богатому, веселому и гостеприимному, съѣзжалось множество сосѣдей и Жуковскій часто бывалъ въ ихъ числѣ. Съ Плещеевымъ велъ онъ дружескую переписку въ стихахъ; Жуковскій писалъ по-русски, а другъ его по-французски. Стихи Жуковскаго, согласно воспоминаніямъ князя Вяземскаго ²⁾ и судя по образцамъ нѣсколько позднѣйшаго времени, не заключали въ себѣ ничего меланхолическаго; напротивъ, они отличались полнымъ, свободнымъ юморомъ, конечно не широкаго свойства, юморомъ, выросшимъ въ домашней обстановкѣ. На домашнемъ театрѣ Плещеева ставились и забавныя драматическія произведенія Жуковскаго, которыя, впрочемъ, не дошли до насъ. Эта веселая жизнь такъ занимала тогда все общество помѣщиковъ, собиравшееся у Плещеевыхъ, что еще 3 Августа 1812 года, въ то время, когда войско Наполеона шло по большой московской дорогѣ слѣдомъ за отступавшею русскою арміею, у Плещеева, въ Орловской губерніи, гдѣ праздновался день рожденія хозяина, собрались веселые сосѣди на концертъ и театральное представленіе на домашней сценѣ. Такъ мало было въ этихъ людяхъ сознательнаго чувства, такъ полна была по своему ихъ жизнь, что буря не была имъ страшною, что она шумѣла, казалось, далеко. Здѣсь, на этомъ праздникѣ, Жуковскій пѣлъ свое стихотвореніе „Пловецъ“, положенное на музыку другомъ его Плещеевымъ. Въ этомъ романсѣ выражалась скорбь—личное чувство поэта, вѣроятно, понятное и извѣстное въ кругу знакомыхъ и родныхъ. Не задолго до того времени его ученицѣ исполнилось 19 лѣтъ и Жуковскій рѣшился просить у ея матери согласія на бракъ, но получилъ рѣшительный и

¹⁾ Зейдлицъ, изд. 1883 г., стр. 44.

²⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 875—876.

суровый отказъ. Причина отказа, со стороны Протасовой, составлялась та, что Жуковский приходится роднымъ дядею ея дочерямъ.

Въ томъ же августѣ 1812 года Жуковский, вѣроятно подѣ влияніемъ полученнаго отказа, а не патриотическаго чувства, какъ привыкли говорить его біографы, вступилъ въ московское ополченіе. Онъ присутствовалъ при Бородинѣ и Тарутинѣ, но издала и не принималъ никакого участія въ сраженіяхъ. Черезъ товарища своего по пансіону—Кайсарова, директора типографіи при главной квартирѣ Кутузова, Жуковский попалъ въ штатъ фельдмаршала и работалъ въ его канцеляріи; помогалъ ли онъ писать реляціи Скобелеву (?)¹⁾ или нѣтъ — неизвѣстно. Еще до Тарутинскаго сраженія Жуковский успѣлъ побывать на нѣсколько дней въ Муратовѣ у Претасовой и снова вернуться въ армію. Подѣ Тарутинымъ, подѣ влияніемъ тогдашняго настроенія войска и общественнаго мнѣнія, былъ задуманъ имъ планъ „Пѣвца въ станѣ“ и тогда же вѣроятно написаны первыя строфы. Жуковский пошелъ вмѣстѣ съ арміей за отступающими французами, но въ Вильнѣ захворалъ горячкою, пролежалъ тамъ въ госпиталѣ и только въ январѣ 1813 года вернулся на родину, къ роднымъ и друзьямъ. Этимъ кончилась его военная карьера, продолжавшаяся такимъ образомъ менѣе полугода.

„Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, написанный, по словамъ Жуковскаго, въ лагерѣ подѣ Тарутинымъ, выражаетъ собою то патриотическое настроеніе, ту ненависть къ врагу, жажду мщенія и надежду на побѣду, которыя послѣ отчаянія были теперь въ сердцахъ у большинства. Одушевленіе и вѣра въ побѣду проникаетъ все это довольно длинное стихотвореніе, которое и появилось въ печати въ концѣ 12-го года; встрѣченное общимъ восторгомъ, оно было выучено наизусть тогдашнимъ поколѣніемъ.

„Сокровищъ нѣтъ у насъ въ домахъ;
Тамъ стрѣлы и кольчуги;
Мы села въ пепель; грады въ прахъ;
Въ мечи—серпы и плуги“.

Это были чувства всѣхъ въ то время. Впереди уже видѣлись избавленіе и побѣда:

Веди-жь своихъ царей-рабовъ,

обращается поэтъ къ Наполеону,

Съ ихъ стаей въ область хлада;
Пробей тропу среди снѣговъ
Во срѣтеніе глада....

¹⁾ Русск. Арх. 1863 г., стр. 857; 1866 г., стр. 1348.

Зима, союзникъ нашъ, гряди!
Имъ запертъ путь возвратный;
Пустыни въ пещлѣ позади;
Предъ ними сонмы ратны.
Отвѣдай, хищникъ, что сильнѣй:
Духъ алчности, иль мщенья?
Пришлецъ, мы въ родинѣ своей;
За правыхъ Провидѣнье“.

Пѣвецъ въ станѣ, окруженный товарищами, подымая кубокъ, возглашаетъ одинъ за другимъ разные тосты: въ честь историческихъ воспоминаній, за родину, за царя, за побѣдителей-героевъ, за падшихъ въ сраженіи, перечисляя ихъ по именамъ и указывая на главные ихъ подвиги; затѣмъ слѣдуютъ тосты: мщенью, братству, любви, музамъ, пѣвцамъ и, наконецъ—прощанью передъ сраженіемъ. Современники были не строги въ своихъ требованіяхъ и въ общемъ восторгѣ отъ событій, къ которымъ относились звучные стихи, не замѣтили разныхъ недостатковъ ихъ. Какъ въ прежней патристической пьесѣ своей, такъ и здѣсь, Жуковскій вставилъ дѣйствительность въ чуждыя рамки, которыя требовались поэтической теоріей времени. Снова передъ нами щиты, копья, кольчуги, стрѣлы и т. п. вмѣсто современной военной обстановки. Воспоминанія Оссіана попрежнему не покидаютъ поэта: „по миеологіи сѣверныхъ народовъ, говоритъ онъ въ примѣчаніи, витязи, сраженные во браняхъ, переселялись въ Валгаллу, къ отцу своему Одну. Стихотворецъ замѣнилъ здѣсь баснословнаго Одена безсмертнымъ Суворовымъ..... Герой Италійскій съ отеческою нѣжностію приемлетъ въ жилища небесныя вождей, запечатлѣвшихъ кровію своею одержанныя побѣды“... Говорить ли о томъ, что Жуковскій ни разу не вспомнилъ о русскомъ народѣ, какъ будто война эта была не народная, какъ будто не народъ этотъ вынесъ на плечахъ своихъ всѣ ея бѣдствія? Но вспоминалъ ли тогда кто-нибудь о народѣ? Самое понятіе объ отечествѣ, родинѣ не отличается широкимъ чувствомъ, а служено до личныхъ воспоминаній:

„Отчизнѣ кубокъ сей, друзья!
Страна, гдѣ мы впервые
Веусили сладость бытія,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки,
Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки,
Что вашу прелесть замѣнить?
О, родина святая,
Какое сердце не дрожить,
Тебя благословляя?“

Это была дань сентиментальному направленію. Какъ-то плохо выжутся съ торжественнымъ тономъ „Пѣвца“ и представленія романтической любви, любопытныя для біографіи Жуковскаго:

„Кому здѣсь жребій удѣленъ
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцемъ сердцу обрученъ:
Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летить;
Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего ни совершитъ
Для сладостной награды....
Ахъ! мысль о той, кто все для насъ,
Намъ спутникъ неизмѣнный,
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ,
Зримъ образъ незабвенный;
Она на бранныхъ знаменахъ;
Она въ пылу сраженья;
И въ шумѣ стана, и въ мечтахъ
Веселыхъ свидѣнья.
Отвѣдай, врагъ, исторгнуть щить,
Рукою данный милой;
Святой обѣтъ на немъ горить:
Твоя и за могилой!....
О, сладость тайныя мечты!
Тамъ, тамъ за синей далью
Твой ангелъ, двѣ красоты,
Одна съ своей печалью,
Грустить; о другъ слезы леть;
Душа ея въ молитвѣ,
Боишься вѣсти, вѣсти ждешь;
„Увы! не палъ ли въ битвѣ?“
И мыслить: „Скоро ль дружній гласъ,
Твой мнѣ слышать звуки?
Лети, лети, свиданья часъ,
Смѣнить тоску разлуки“.

Это было рыцарское чувство, возрожденное тогдашнимъ романтическимъ направленіемъ, но въ немъ заключалось и личное настроеніе Жуковскаго. „Пѣвецъ въ станѣ“, появившійся въ печати въ концѣ 1812 или январѣ 1813 года, былъ причиною и первой извѣстности Жуковскаго при дворѣ, что въ ту пору имѣло большое значеніе. Императрица Марія Ѳеодоровна расхвалила Дмитріеву эту пьесу и поручила ему достать отъ Жуковскаго экземпляръ его рукописи, съ тѣмъ чтобъ сдѣлать на свой счетъ великолѣпное изданіе; кромѣ того она подарила ему драгоценный перстень, но отказала въ позволеніи напечатать при второмъ изданіи особое ей посвященіе Жуковскаго. Поэтъ, какъ мы увидимъ, любилъ покровительство.

Между тѣмъ, по возвращеніи на родину изъ похода, Жуковский исключительно и тревожно былъ занятъ своими сердечными дѣлами, которыя не подвигались впередъ, хотя предметъ его страсти Марья Андреевна и узнала о чувствахъ его. Она подчинялась совершенно волѣ матери, но это еще болѣе затруднительными сдѣлало взаимныя отношенія. Чтобъ подѣйствовать на мать, Жуковский прибѣгалъ къ такимъ авторитетамъ, какъ И. В. Лопухинъ и Филаретъ, впоследствии митрополитъ московскій; но все было напрасно. Жизнь Жуковского въ этомъ семействѣ сдѣлалась чрезвычайно затруднительною, особенно когда въ немъ появилось новое лицо въ качествѣ жениха младшей Протасовой — Александры. Это былъ товарищ Жуковского по пансіону Алекс. Фед. Воейковъ, впоследствии профессоръ русской словесности въ Дерптскомъ университетѣ, переводчикъ Делила и Виргилія, издатель разныхъ журналовъ и остроумный сатирикъ. Тогда онъ ничѣмъ еще не былъ извѣстенъ въ литературѣ, кромѣ изданія хрестоматіи прозаической изъ русскихъ писателей,¹⁾ которая появилась около того же времени, когда Жуковский, въ тѣхъ же размѣрахъ, издалъ хрестоматію поэтическую²⁾. Воейковъ случайно заѣхалъ къ Жуковскому на пути съ Кавказа; тотъ познакомилъ его съ родными и сосѣдами, открылъ ему свою сердечную печаль, но Воейковъ, сдѣлавшись вскорѣ женихомъ меньшей Протасовой, сталъ на сторону матери и измѣнилъ дружбѣ. По собственнымъ признаніямъ Жуковского, то было для него самое тяжелое время, полное даже оскорбленій со стороны близкихъ родныхъ. „Одно холодное *жестокосердіе* въ монашеской рясѣ, говоритъ онъ, съ кровавою надписью на лбу: *должность* (выправленною весьма неискусно изъ словъ *суетыріе*), сидѣло противъ меня и страшно сверкало на меня глазами“...³⁾ Оскорбленія дошли до того, что Жуковский долженъ былъ уѣхать изъ сосѣдства Протасовыхъ въ Калужскую губернію, но его привязанность къ роднымъ была такъ сильна, что когда свадьба Воейкова замедлилась по недостатку приданого у неvěсты, онъ продалъ свою деревню въ сосѣдствѣ Протасовыхъ и всѣ полученные деньги 11 т. отдалъ на приданое. Теперь у него не было ничего и нужно было работать и писать.

Жуковский уѣхалъ въ концѣ 1814 года къ родственникамъ своимъ Юшковымъ, которыя покровительствовали его сердечной привязанности. Одна изъ нихъ Авдотья Петровна, тогда уже овдовѣвшая,

¹⁾ Собраніе образцовыхъ сочиненій въ прозѣ 5 ч. М. 1811.

²⁾ Собраніе русск. стихотвореній, изд. В. Жуковскимъ въ 5 част. М. 1810—1811. Дополненіе къ собр. (6-ой томъ) вышло въ Москвѣ въ 1815 г.

³⁾ Зейдлицъ, стр. 61—62.

была замужем за Кирѣевскимъ, отцемъ писателя, и въ имѣніи ея Долбинѣ, Калужской губерніи, Лихвинскаго уѣзда, Жуковскій прожилъ два года.

Долбино было недалеко однакожь отъ Бѣлева и Муратова, имѣнія Протасовыхъ, и Жуковскій ѣздилъ туда. Существуетъ цѣлый рядъ такъ называемыхъ *Долбинскихъ* стихотвореній его, въ которыхъ вполне раскрывается веселая сторона характера поэта, его радостное отношеніе къ жизни. Здѣсь онъ какъ будто совсѣмъ забылъ свою тоску и страданія; жизнь улыбается ему; онъ доволенъ собою и всѣмъ окружающимъ и такъ добродушно смотритъ на всѣхъ.

Долбинскія стихотворенія носятъ интимный характеръ; поэтъ не печаталъ ихъ при жизни и они дороги были преимущественно по воспоминаніямъ его роднымъ и друзьямъ. Даже къ Воейкову, который, по разсказу Зейдлица ¹⁾, надѣялся ему незадолго до того столько неприятностей, Жуковскій пишетъ самыя веселыя и добродушныя посланія, наполняя ихъ насмѣшками надъ литературными друзьями Шишкова—членами „Бесѣды“. Уединеніе и дружба какъ-будто возстановили упавшія нравственныя силы Жуковскаго и онъ благословлялъ „Долбинскій уголокъ“ за то спокойное вдохновеніе, которое онъ испыталъ въ немъ.

„Мои уединенны дни—

пишетъ онъ въ стихахъ къ Плещееву,

Довольно сладко протекають!
Меня и музы посѣщаютъ
И Аполлонъ доволенъ мной!
И подъ перстомъ моимъ наложъ
Трепещитъ,—и планъ и мысли есть,
И мнѣ осталось лишь присѣсть,
Да и писать къ царю посланье!
Жди славнаго, мой милый другъ,
И не обманетъ ожиданье!
Присыпало все къ сердцу вдругъ!
И напередъ я, въ восхищеніи,
Предчувствую то наслажденье,
Съ какимъ безъ лести, въ простотѣ,
Я буду говорить стихами
О той небесной красотѣ,
Которая въ вѣнцѣхъ предъ нами“...

Эти послѣднія строки въ дружеской перепискѣ, никогда не предназначавшейся въ печать, доказываютъ, съ какимъ искреннимъ чув-

¹⁾ Гибем., стр. 62.

ствомъ Жуковскій писалъ свое знаменитое „Посланіе къ императору Александру“. Мы уже говорили, почему современники были полны восторга и почему имя царя произносилось тогда всѣми съ энтузіазмомъ.

Посланіе это, которое онъ писалъ довольно долго, Жуковскій послалъ въ рукописи на просмотръ къ своимъ друзьямъ въ Петербургъ. Батюшковъ и кн. Виземскій сдѣлали нѣсколько критическихъ замѣчаній; Жуковскій написалъ по этому поводу большую стихотворную пьесу „Ареопагу“, въ которой одни изъ замѣчаній опровергали шуточно, другія же принималъ. Въ письмѣ къ Тургеневу Жуковскій говорить, что это „Посланіе“ было „написано съ искреннимъ, безкорыстнымъ чувствомъ, безъ всякой другой побудительной причины, кромѣ удовольствія писать“¹⁾.

„Сохрани Богъ, продолжаетъ онъ, мою чистую, посвященную благороднымъ друзьямъ моимъ лиру отъ всякой заразы корысти!“ Намъ надобно вѣрить этимъ словамъ Жуковскаго, тѣмъ болѣе, что „Посланіе“ выражало собою общія тогдашнія чувства Европы и Россіи, восторгъ при имени Александра, о которомъ мы уже говорили. Поэтъ соединилъ свой голосъ съ общимъ голосомъ и въ первый и въ послѣдній разъ выражалъ дѣйствительность:

Когда летящіе отвсюду шумны клики,
Въ одинъ сливался гласъ, Тебя зовутъ: Великій!
Что скажетъ лирою незнаемый пѣвецъ?
Дерзнетъ ли свой листокъ онъ въ тотъ вилести вѣнецъ,
Который для тебя вселенная сплетаетъ?..

Все „Посланіе“ старается выразить величіе исторической роли, которая выпала на долю Александра, смотритъ на него, какъ на орудіе Промысла:

„Съ благоговѣніемъ смотрю на высоту,
Которой ты достигъ по тернамъ испытанья...
Намъ обреченный вождь ко счастью и славы“...

Когда въ страшный годъ погибъ на поляхъ Россіи Наполеонъ, и Александръ впереди своего войска двинулся на освобожденіе Европы,—тогда

„Какъ къ возвѣстителю небесной благодати
Во срѣтенье тебѣ народы потекли,
И вайями твой путь *смиранный* облекли“...

Среди рукоплесканій народныхъ онъ былъ

„... не гордый побѣдитель,
Но воли Промысла смиренный совершитель“...

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 802.

Жуковский представляет его молящимся Богу такою молитвою,—
за Россію и свой народъ:

„Творецъ, всѣ блага имъ!
Не за величіе, не за вѣнецъ ужасный—
За власть благотворить, удѣлъ царей прекрасный,
Склоняю, царь земли, колѣна предъ тобой,
Безстрашный подъ твоей невидимой рукой,
Твоихъ намѣреній надъ ними совершитель!..“

„Послание“ Жуковского есть торжественный гимнъ самодержавію; никогда потомъ въ русской поэзіи не говорилось о царѣ съ такимъ неподдѣльнымъ увлеченіемъ и съ такою красотою выраженія. Самое время удивительно способствовало этому увлеченію, никогда Россія не стояла на такой высотѣ, какъ въ ту пору, и никогда любимый ею царь не могъ такъ много сдѣлать для ея счастья, какъ въ то время. Жуковский былъ вполне увѣренъ, что онъ говоритъ правду, а не обычную лесть царю:

„О, дивный вѣкъ, когда пѣвецъ царя—не льстецъ,
Когда хвала—восторгъ, гласъ лиры—гласъ народа,
Когда все сладкое для сердца: честь, свобода,
Великость, слава, миръ, отечество, алтарь,
Все, все слилось въ одно святое слово: царь!..“

Но это поклоненіе царю есть уваженъе, свободная дань сердца:

„Не власти, не вѣнцу, но человѣку дань“.

Это было общее чувство минуты, общій голосъ:

„Въ чертогѣ, въ хижиноѣ, ведаѣ одинъ языкъ:
На праздникахъ семей, украшенный твой ликъ,—
Ликующихъ родныхъ родной благотворитель—
Стоитъ на пиршескомъ столѣ веселья зритель,
И чаша первая, и первый гимнъ тебѣ“..“

Разказавъ въ очень звучныхъ стихахъ и въ образахъ, которые были почти повторены многозначительнымъ манифестомъ 1816 года, нами упомянутымъ—новое доказательство, что „Послание“ нашло отголосокъ въ современныхъ умахъ—начало революціи, возвышеніе Наполеона, его завоеванія и самовластительство, исполненное глубокаго презрѣнія къ народамъ,—Жуковский изображаетъ общее состояніе Европы въ лучшую пору владычества Наполеона:

„Погибло все,—окрестъ одинъ лишь стукъ оковъ
Смушаль угрюмое молчаніе гробовъ
Да ратей изрѣдка шумѣли переходы
Спѣшущихъ истребить еще пріютъ свободы;
Унылость на сердца народовъ налегла“..“

Но вот настала 12-й годъ и съ нимъ всемірное владычество Наполеона пало.

Орудіемъ Промысла явился русскій народъ и Жуковскій впервые заговорилъ о немъ, хотя и съ своей точки зрѣнія:

„За сей могилою народовъ цвѣлъ народъ—
О царь нашъ, твой народъ—могущій и смиренный,
Не крѣпостью твердынь громовыхъ огражденный,
Но вѣрностью къ царю и въ славѣ тишиной“...
„Тогда явилось все величіе народа,
Спасающаго тронъ и святость алтарей
И тихій гробъ отцевъ и колыбель дѣтей“...

Александръ въ этомъ „Посланіи“ является благовѣстникомъ свободы міра.

Понятно, что „Посланіе“, въ которомъ такими прекрасными стихами былъ возвеличенъ Александръ и его историческое призваніе въ то время, должно было имѣть чрезвычайный успѣхъ при дворѣ въ ту пору общихъ восторговъ.

Самъ императоръ былъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, но друзья Жуковского поднесли экземпляръ этого стихотворенія императрицѣ Маріи Теодоровнѣ. А Тургеневъ, въ письмѣ своемъ къ поэту, передаетъ подробно о томъ, какъ происходило чтеніе „Посланія“ при дворѣ ¹⁾. Восторгъ царской семьи былъ полный. Императрица пожаловала Жуковскому перстень, сама вызвалась послать къ сыну это стихотвореніе, приказала сдѣлать великолѣпное изданіе „Посланія“ все въ пользу Жуковского и назначила его своимъ лекторомъ, требуя непременно пріѣзда его въ Петербургъ.

Этимъ собственно началась придворная служба Жуковского. Самъ онъ конечно былъ чрезвычайно доволенъ своимъ успѣхомъ и сообщая о немъ своимъ роднымъ, переписалъ все письмо Тургенева.

Въ томъ же настроеніи духа онъ написалъ тогда же столь извѣстное „Воже Царя храни!“ и началъ большую лирическую пьесу „Пѣвецъ въ Кремлѣ“, которую впрочемъ онъ кончилъ нескоро. Въ ней онъ хотѣлъ представить пѣвца, поющаго славу и торжество Россіи послѣ минувшихъ испытаній, но у него не достало вдохновенія и пьеса, по его собственному признанію, вышла слабою ²⁾. Это было вялое повтореніе прежняго. Воспѣвая славу Россіи, онъ говоритъ и о ея будущемъ, но чрезвычайно сентиментально:

„Да на святыхъ ея поляхъ
Сіяетъ миръ веселый;

¹⁾ Русск. Арх. 1864 г., стр. 884—888.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 801.

Да правовъ *древнихъ* чистотой
Союзъ семей хранится;
Да въ нихъ съ *невинной простотой*
Свѣтъ знаній водворится“

Русскому народу онъ рекомендуетъ „умѣренность, покорность“ ...

„Ты, мудрость смертныхъ, усмирись
Предъ мудростію Бога“ ...

Это собственно значило соединеніе знаній съ невинною простотою. Съ этихъ поръ Жуковскій чаще и чаще развиваетъ въ стихахъ программу и желанія „Записки“ Карамзина.

Императрица и друзья требовали непременно, чтобъ Жуковскій ѣхалъ въ Петербургъ. Основываясь на своихъ успѣхахъ, онъ еще разъ попытался уговорить Протасову-мать дать согласіе и опять не имѣлъ успѣха. Воейковы, а съ ними и Протасова съ дочерью поѣхали въ Дерптъ и Жуковскій насилу выпросилъ у нея позволеніе проводить ихъ, но Протасова поспѣшила выпроводить его изъ Дерпта въ Петербургъ и съ этихъ поръ прежняя, спокойная и свободная жизнь Жуковского кончилась. О деревнѣ не было уже и рѣчи. Въ маѣ 1815 года онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и Уваровъ тотчасъ же представилъ его Маріи Θεодоровнѣ, нетерпѣливо желавшей его видѣть. Это представленіе въ первый разъ ко двору Жуковскій описалъ въ письмѣ къ роднымъ ¹⁾.

ЛЕКЦІЯ VIII.

Жуковскій въ Петербургѣ и Дерптѣ.—Придворная жизнь.

Представившись ко двору въ маѣ 1815 года, Жуковскій тотчасъ же воротился въ Дерптъ, гдѣ жили Протасовы въ домѣ Воейкова, уже профессора. Петербургскіе друзья его, особенно Уваровъ и Тургеневъ, привыкшіе къ придворной жизни и искавшіе всего въ ней, были недовольны Жуковскимъ за его пренебреженіе къ земнымъ благамъ, звали его воротиться въ Петербургъ и хлопотали очень усердно, чтобы пристроить его при дворѣ.

„Лови день“—пишетъ ему тогда очень ловкій придворный Уваровъ, переводя Горациево правило, а Тургеневъ прибавляетъ: „лови день тамъ, гдѣ твое солнце. Здѣсь, въ потемкахъ мы за тебя ловить будемъ. Мы привыкли играть въ жмурки. Будь увѣренъ, что я и за

¹⁾ Русск. Арх. 1865 г., стр. 1297 сл. Письмо отъ 11 іюня 1815 г.

тебя и для тебя ловить буду; этотъ разъ постараюсь быть проворнѣе¹⁾“. Но Жуковский въ то время, сдаваясь на милостивое предложеніе императрицы Маріи Ѳеодоровны, которая велѣла ему сообщить, что у нея въ головѣ *des grands projets* на счетъ Жуковскаго, колебался, опасаясь придворной жизни и боялся за свою независимость. „Боюсь я этихъ *grands projets*,—пишетъ онъ къ А. Тургеневу. Могутъ составить себѣ за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и убьютъ все“...²⁾ Свои тогдашнія желанія, онъ формулируетъ определенно, разумѣется, не отказываясь отъ помощи двора, но даже разсчитывая на нее:

„Тебѣ кажется не нужно имѣть отъ меня комментарія на то, что мнѣ надобно. Независимость да и только. Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Что и гдѣ и когда писать—мнѣ на волю. Я не буду жильцемъ петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непременно... Если писать сдѣлается для меня обязанностью непременно, то сказываю напередъ, что написано ничего не будетъ“...³⁾ Мысли его по прежнему заняты будущею поэмою—„Владимиръ“; онъ думаетъ о ней много.

„Мнѣ бы хотѣлось въ половинѣ будущаго года сдѣлать путешествіе въ Кіевъ и Крымъ. Это нужно для Владиміра. Первые полгода я употребилъ бы на приготовленіе, а послѣдніе на путешествіе; но еще уговоръ, чтобы не давать чувствовать, что я пишу Владиміра, ишу покровительства для Владиміра“⁴⁾.

Тѣмъ не менѣе осенью того же 1815 года Жуковский сдался на убѣжденія друзей своихъ, снова пріѣхалъ въ Петербургъ и явился при дворѣ, но столица и жизнь въ ней сильно были не по сердцу ему, сколько можно судить по интимному письму его къ роднымъ (Юшковымъ) въ Бѣлевѣ. „Неужели намъ никогда на томъ мѣстѣ не будетъ хорошо, на которомъ мы находимся! Неужели вѣчно намъ бѣжать за этимъ недостижимымъ *тамъ*, которое никогда „здесь не будетъ!..“ „Мое *теперь* хуже прежняго. Здѣшняя жизнь мнѣ тяжела и я не знаю, когда отсюда вырвусь... Работать безъ всякаго разсѣянія въ кругу *своихъ*, отдѣляясь отъ прошедшаго и будущаго (слѣдовательно и отъ жизни и дѣйствительности)—вотъ чего мнѣ хочется“... Родные просили Жуковскаго писать къ нимъ о его петербургскихъ впечатлѣніяхъ, увѣряя, что все его окружающее интересно...

Жуковский опровергаетъ эти взгляды на прелести и интересы

¹⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 165—166.

²⁾ Русск. Арх. 1864 г., стр. 891.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Ibidem, стр. 891—892.

Петербурга: „Или *все*, меня окружающее ничтожно; или я самъ ничто, потому что у меня ни къ чему не лежитъ сердце, и рука не подымается взяться за перо, чтобы описывать то, что мнѣ какъ чужое. И воображеніе поблѣднѣло—такъ пишетъ ко мнѣ и Батюшковъ. Поэзія отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянетъ. Думаю, что она бродитъ теперь или около Васьковой горы, или у Гремячаго, или въ какой нибудь Долбинской рощѣ, несмотря на снѣгъ и холодъ! Когда-то я начну ее тамъ отыскивать! А здѣсь она отделивается рѣдко, да и то осиплымъ голосомъ“¹⁾...

Онъ жалуется на разсѣянность, которой у него много, несмотря на уединенную жизнь, на неспособность заниматься, которая его „давить“ и отъ которой онъ не можетъ отдѣлаться. „О рожи, о друзья, когда увижу васъ!“ Всѣ желанія и всѣ исванія Жуковского заключались въ томъ, чтобъ добиться независимаго положенія въ жизни, для того, чтобъ имѣть средства писать. Положеніе писателя въ обществѣ было въ ту пору незавидно, хотя оно немногимъ возвысилось и въ наше время; жить доходами съ стихотвореній нельзя было и думать (тогда писали больше для славы и для высочайшихъ подарковъ; служить—службою, чуждою убѣжденіямъ ума и сердца развитому человѣку не слишкомъ хотѣлось: вотъ источникъ заботъ и огорченій Жуковского въ то время: „Что же, если не удастся сгородить себѣ кадаго нибудь состояніи? Если надобно будетъ рѣшиться здѣсь оставаться и служить для того, чтобы чѣмъ нибудь жить, тогда прощай поэзія и все! Авось!“²⁾). Такая жизнь въ высшей степени тяжела для Жуковского: „О, Петербургъ, проклятый Петербургъ съ своими мелкими, убійственными разсѣянностями! Здѣсь право нельзя имѣть души! Здѣшняя жизнь давитъ меня и душитъ! Радъ бы все бросить и убѣжать къ вамъ, чтобы приняться за *доброе будущее*, котораго у меня здѣсь нѣтъ и быть не можетъ... Здѣсь у меня нѣтъ настоящаго, но возвратись къ вамъ, я буду имѣть его“³⁾)... Только очень рѣдко слетаетъ на него вдохновеніе.

Противодѣйствіемъ пустой и разсѣянной петербургской жизни, на которую такъ жаловался Жуковский, была для него жизнь въ Дерптѣ, гдѣ онъ паходился вблизи къ предмету любви своей и въ хорошей умственной атмосферѣ небольшого, чисто нѣмецкаго университетскаго города. Этотъ уголокъ въ то время характеромъ жизни, нравами лицъ, принадлежавшихъ къ университету, умственными, литературными и художественными интересами, совершенно напоминалъ собою Гер-

¹⁾ Ibid., стр. 893—894.

²⁾ Ibid., стр. 896.

³⁾ Ibid., стр. 899—900.

манію, и Жуковскій, хорошо знакомый съ нѣмецкимъ языкомъ и литературою, какъ человекъ образованный и умный, совершенно освоился съ этими интересами и всею душою вошелъ въ новый, вполне удовлетворявшій его кругъ общества. Скоро стало у него много знакомыхъ между нѣмецкими дворянами, профессорами, студентами. Вліяніе нѣмецкой науки и поэзіи стало сказываться на него еще сильнѣе; знакомство съ ними сдѣлалось еще глубже. Это общество и эти духовные интересы тѣмъ болѣе удовлетворяли Жуковского, что въ нихъ въ ту пору не было ничего политическаго; всѣ стремленія носили вполне идеальный характеръ. Жуковскій поэтому искренно радовался, „вступая въ кругъ счастливыхъ молодыхъ“, т.-е. студентовъ и смотрѣлъ съ глубокимъ уваженіемъ на 80-лѣтнаго профессора богословія Эверса, который на студенческомъ праздникѣ, пилъ съ нимъ на ты. Жуковскій написалъ ему поэтическое привѣтствіе ¹⁾. Онъ явился даже защитникомъ университета, когда въ Петербургѣ, въ министерствѣ народнаго просвѣщенія разсердились на весь университетъ за неправильности, допущенныя при выдачѣ дипломовъ въ юридическомъ факультетѣ: „Если можно спасти честныхъ людей отъ тяжкаго незаслуженнаго поношенія, не нарушая справедливости, то ты это сдѣлать долженъ—пишетъ онъ къ А. Тургеневу. Обвиняй профессоровъ (виноватыхъ), называя ихъ какъ хочешь, но чтобы эта анаеема не падала на всѣхъ безъ изытія и на весь университетъ. Здѣсь есть прекрасные люди (онъ называетъ Паррота, Эверса историка, Мойера и др.)... Самъ университетъ долженъ быть для васъ святымъ: за что разрушать его?“ ²⁾.

Подъ вліяніемъ нѣмецкой науки и зародившагося тогда въ ней стремленія къ старинѣ и народности, Жуковскій въ Дерптѣ узналъ, что такое народная поэзія и ея значеніе. Съ этою цѣлью онъ предлагалъ Долбинскимъ роднымъ своимъ собирать народныя русскія сказки и русскія преданія. Дѣло это и самому ему казалось слишкомъ новымъ. „Не смѣйтесь—пишетъ онъ. Это—національная поэзія, которая у насъ пропадаетъ, потому что никто не обращаетъ на нее вниманія: въ сказкахъ заключаются народныя мѣткія; суевѣрные преданія даютъ понятіе о нравахъ ихъ и степени просвѣщенія и о старинѣ“ ³⁾. Можно полагать, что это предложеніе Жуковского дало первый толчокъ Кирѣевскому.

Два года прожилъ Жуковскій въ Дерптѣ, уѣзжая на короткое время въ Петербургъ. Конечно не одни только занятія нѣмецкой

¹⁾ „Старцу Эверсу“.

²⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 809—810.

³⁾ Русск. Арх., 1864 г., стр. 902.

наукой и литературой и не одно общество профессоровъ были причиною жизни Жуковскаго въ Дерптѣ. Его влекла сюда и привязанность, попрежнему безнадежная. Протасова мать не была однако довольна близостью Жуковскаго къ дочери, она не довѣряла обоимъ; Воейковъ, за котораго Жуковскій всегда являлся ходатаемъ и прежде и послѣ, поддерживалъ подозрѣнія Протасовой. Напрасно увѣрялъ Жуковскій въ своихъ братскихъ чувствахъ; ему не вѣрили; отношенія были натянуты; жизнь казалась въ высшей степени невыносимою. Жуковскій приходилъ въ полное отчаяніе.

„О себѣ ничего не пишу, сообщаетъ онъ изъ этого времени. Старое все миновалось, а новое никуда не годится. Съ тѣхъ поръ какъ мы расстались (съ Тургеневымъ), я не оживалъ. Душа какъ будто деревянная! Что изъ меня будетъ, не знаю! А часто, часто хотѣлось бы и совсѣмъ не быть. Поэзія молчитъ! Для нея еще нѣтъ у меня души. Прежняя вси истрепалась, а новой я еще не нажилъ. Мыкаюсь, какъ кегля“¹⁾.

Это душевное состояніе Жуковскаго отразилось и на его произведеніяхъ изъ этого времени. „Пѣвецъ въ Кремлѣ“ вышелъ очень слабъ. Другія поэтическія произведенія его, переводы, сдѣланные большею частію въ эти три года, не велики числомъ и объемомъ и незначительны по содержанію. Жуковскій, уѣзжая изъ Дерпта въ Петербургъ, твердо рѣшился не возвращаться туда болѣе, но это было выше нравственныхъ его силъ. „Тамъ быть невозможно“. Но судьба его, послѣ непрерывно возрождающейся надежды и отчаянія, слѣдующаго за нею, рѣшилась наконецъ. Съ Протасовыми сблизился недавній дерптскій знакомецъ Жуковскаго—профессоръ Мойеръ, ихъ домашній врачъ, которому Жуковскій поручилъ это семейство и откровенно разсказалъ всѣ свои отношенія. Этотъ Мойеръ, человѣкъ съ рѣшительнымъ характеромъ и большими научными свѣдѣніями въ своей специальности—хирургіи, очень скоро посватался за Протасову; мать дала полное согласіе, но молодая невѣста рѣшила еще посоветоваться съ Жуковскимъ и написала ему письмо въ Петербургъ о сватовствѣ Мойера и о своемъ намѣреніи выйти за него замужъ, находя въ этомъ замужествѣ единственный и спокойный исходъ изъ того неопредѣленнаго и тяжелаго положенія, въ которомъ оба они находились. Она рассчитывала теперь только на одно спокойствіе и тихую дружбу съ Жуковскимъ. Получивъ письмо, Жуковскій не вѣрилъ искренности словъ молодой Протасовой, думалъ, что на нее дѣйствовали принудительно, старался разувѣрить ее, молилъ объ

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 813.

отсрочкѣ на годъ и пр. Между ними по этому поводу завязалась дѣятельная переписка, которой біографъ ¹⁾ приписываетъ высокое художественное значеніе. Только воротившись въ Дерптъ, Жуковскій убѣдился, что намѣреніе невѣсты вполне обдуманно и неизмѣнно, что свадьба необходима для счастья ихъ обоихъ. Онъ вполне и даже радостно примирился съ этою необходимостью. „У меня теперь прекрасная дѣль въ жизни, пишетъ онъ къ невѣстѣ. У меня руки развязаны дѣлать все, что отъ меня зависитъ, для Машина счастья. Маша, смотри же, не обмани меня! Чтобы намъ непремѣнно вѣстѣ состряпать твое счастье, тогда и все прекрасно“ ²⁾. Съ матерью Протасовой Жуковскій совершенно и искренно помирился; на Мойера смотрѣлъ, какъ на друга и товарища. Всякое личное желаніе онъ, казалось, побѣдилъ въ себѣ, хотя конечно не безъ горечи. „Тяжелыя минуты были и будутъ, говорить онъ, но славное чувство пропасть не можетъ“ ³⁾. Глубокое примиреніе онъ находилъ въ просвѣтленномъ, спокойномъ взглядѣ на жизнь, въ томъ греческомъ міросозерпаніи, которое онъ выразилъ въ слѣдующихъ стихахъ изъ баллады Шиллера:

Все въ жизни къ великому средство!
И горестъ, и радость—все къ цѣли одной!
Хвала живодавцу Зевесу!“ ⁴⁾

а также и въ поэзіи. „Поэзія—славный громовой отводъ, говорить онъ. Теперь мнѣ будетъ легче бесѣдовать съ моею музою. Даже и все, что есть печальнаго въ моей судьбѣ, теперь не убійственно и близко моею породю къ бессмертной музѣ. Поэзія, идущая рядомъ съ жизнью, — товарищъ несравненный! Вотъ мое расположеніе!“ ⁵⁾.. Когда наконецъ прошелъ и срокъ свадьбы, Жуковскій долженъ былъ успокоиться: „Вокругъ меня все устроено,—пишетъ онъ къ А. Тургеневу.—Свадьба кончена (14 января 1817 г.) и душа совсѣмъ утихла. Думаю только объ одной работѣ. Благослови Господи!“ ⁶⁾.

Такъ кончилась эта долголѣтняя романтическая привязанность, которой самъ Жуковскій приписывалъ большое вліяніе на свою жизнь и которая находится въ непосредственной связи, какъ съ направлениемъ его поэзіи, такъ и съ ея содержаніемъ. Она, по своей неудовлетворенности, еще болѣе способствовала развитію въ немъ сентиментальнаго чувства, еще больше удаляла его отъ дѣйствительности.

¹⁾ Зейдлицъ, стр. 98.

²⁾ Ibidem, стр. 99.

³⁾ Ibidem, стр. 102.

⁴⁾ „Теонъ и Эсхинъ“.

⁵⁾ Зейдлицъ, стр. 103.

⁶⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 816.

Между тѣмъ его матеріальное положеніе значительно улучшилось: съ помощію своихъ дѣятельныхъ и преданныхъ друзей, Жуковскій, пристроившись къ двору, добился того, чего желалъ — и средствъ, и независимости. Въ 1815 г. онъ сблизился съ царскимъ семействомъ. Пробывъ три дня въ Павловскѣ, у императрицы Маріи Теодоровны, Жуковскій вернулся оттуда „съ сердечною къ ней привязанностію“. Онъ повѣрилъ на слово придворной любезности и былъ въ восторгѣ отъ вниманія и высочайшихъ ласкъ. Надобно замѣтить, что Марія Теодоровна любила русскую литературу или, по крайней мѣрѣ, покровительствовала писателямъ и собирала вокругъ себя въ Павловскѣ тѣхъ изъ нихъ, конечно, которые, сверхъ литературнаго имени, имѣли положеніе въ свѣтѣ и отличались благонамѣренностію.

Ея главнымъ приближеннымъ лицомъ и чтецомъ былъ Мелединскій-Мелецкій, извѣстный своими пѣнами и чувствительными романами въ концѣ прошлаго вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ и статсъ-секретарь. Она приглашала къ себѣ Дмитріева—министра, Карамзина—официальнаго историографа, Крылова, Гнѣдича. Разумѣется, въ этотъ кругъ не допускались люди, жившіе журнальною критикою, на которую въ аристократическомъ кругу смотрѣли съ презрѣніемъ и разные нечесанные поэты, какихъ тогда было довольно между мелкими чиновниками.

Жуковскій, попавъ въ придворный кругъ, скоро получилъ официальное положеніе: онъ былъ назначенъ чтецомъ при императрицѣ. Мы видѣли однако, что онъ жаловался роднымъ на свою петербургскую жизнь и тосковалъ по деревенскимъ роцамъ: причина этихъ жалобъ вѣроятно заключалась въ послѣдней борьбѣ за независимость поэта и въ томъ, что, несмотря на полученіе званія лектора, положеніе его не было упрочено. Вскорѣ однако и этотъ вопросъ былъ рѣшенъ. По совѣту своихъ вліятельныхъ друзей Жуковскій издалъ въ двухъ томахъ (Сиб. 1815) лучшія свои произведенія, до того имъ написанныя.

Это изданіе сопровождалось письмомъ Жуковского къ императору Александру, въ которомъ заключался очень тонкій намекъ о необходимости одобренія, означеніи для писателя высочайшаго покровительства:

„Смѣю думать, всемилостивѣйшій государь, что писатель, уважающій свое званіе, есть такъ же полезный слуга своего отечества, какъ и воинъ, его защищающій, какъ и судья, блюститель закона. Одобреніе государя освящаетъ трудъ его: быть достойнымъ сей награды есть добродѣтель писателя; стремиться къ сей прекрасной цѣли есть обязанность. Въ священномъ одобреніи государя заключено одобреніе отечества: оно даетъ право на уваженіе современниковъ и потомства“¹⁾.

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 801.

Слова любопытныя для насъ и въ высшей степени замѣчательныя. Они даютъ понятіе о положеніи писателя въ тогдашнемъ обществѣ, объ отношеніи его къ правительству и къ обществу и къ народу и вмѣстѣ съ тѣмъ знакомятъ насъ съ тѣмъ взглядомъ, какой имѣлъ самъ Жуковскій на свое поэтическое призваніе.

Это первое собраніе стихотвореній Жуковскаго было поднесено, при настойчивомъ ходатайствѣ друга его А. Тургенева, чрезъ министра народнаго просвѣщенія князя Голицина — императору Александру. Въ концѣ 1816 г. Жуковскому назначена пенсія по смерти въ 4.000 рублей, что давало ему возможность не служить и писать стихи, когда ему вздумается. Еще не задолго до полученія этой милости, онъ жаловался на свое положеніе, на то, что его „странническая жизньъ еще не кончилась“; теперь онъ совершенно доволенъ своимъ положеніемъ и сознательно смотритъ на свое призваніе. „Вниманіе государя есть святое дѣло“ — пишетъ онъ въ дружескомъ письмѣ къ Тургеневу. „Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часъ отъ часу становится для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія! Этимъ она можетъ быть только для петербургскаго свѣта. Но она должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе, если поэтъ обратитъ свой даръ къ этой цѣли. Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію. И дай Богъ въ теченіе жизни сдѣлать хоть шагъ къ этой прекрасной цѣли. Имѣть ее позволено, а стремиться къ ней, значить заслуживать одобреніе государя. Это стремленіе всегда будетъ въ душѣ моей. Работать съ такою цѣлью — есть счастье, а друзья будутъ знать, что я имѣю эту цѣль — вотъ награда!“¹⁾

Таково было понятіе Жуковскаго о своемъ призваніи. Что такое поэзія, какъ народное воспитаніе и къ какой цѣли ведетъ это воспитаніе? Жуковскій высказывается неясно, но для насъ очевидно, что онъ стоитъ на нравственной точкѣ зрѣнія; для него поэзія, по его собственному выраженію, есть добродѣтель. Въ этихъ словахъ высказывается вліяніе сентиментальной, отвлеченной морали Карамзина. Жуковскій никогда не выходилъ изъ круга идей послѣдняго; для него Карамзинъ былъ предметомъ сердечнаго поклоненія. Въ это время, въ 1816 году, историкъ государства россійскаго пріѣхалъ въ Петербургъ съ 8-ю томами исторіи — хлопотать о ихъ напечатаніи. Неблагопріятное впечатлѣніе, произведенное на умъ Александра нѣсколько лѣтъ тому назадъ его „Запискою“, теперь изгладилось. Императоръ Александръ

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 803—804.

смотрѣлъ теперь на русскую жизнь, на свое призваніе и на свой народъ—его глазами.

Карамзинъ былъ обласканъ дворомъ, между нимъ и государемъ начиналась сердечная дружба, основанная на одинаковости убѣжденій. И для Жуковского вліяніе Карамзина какъ будто обновилось; о немъ онъ не можетъ говорить безъ особеннаго чувства любви и pietas.

„Карамзинъ тебя любить—мудрено ли?—пишетъ онъ въ Тургеневу. Но любовь его есть счастье. И для меня она также нужна, какъ счастье. Скажи ему при первомъ случаѣ, что я, сколько могъ, сдержалъ свое обѣщаніе, что мнѣ будетъ можно спокойно показаться на его глаза и пожать отъ всей души ему руку. Время, которое мы провели разнo съ послѣдняго нашего разставанія, не оставило на мнѣ пятна. Я бывалъ недоволенъ собою; но поступки и побудительныя ихъ причины были чисты. Теперь все устроилось. Дай Богъ *чистаго* будущаго! Кажется, что оно теперь для меня вѣрнѣе. Писать какъ можно лучше, съ доброю цѣлью, и жить какъ пишешь—вотъ и все!“ ¹⁾

„Мнѣ весело необыкновенно объ немъ (Карамзинѣ) говорить и думать—сообщаетъ Жуковский въ то же время И. И. Дмитріеву.—Я благодаренъ ему за счастье особеннаго рода: за счастье знать и (что еще болѣе) чувствовать настоящую ему цѣну. Это болѣе, нежели что нибудь, дружить меня съ самимъ собою. И можно сказать, что у меня въ душѣ есть особенное хорошее свойство, которое называется *Карамзинымъ*: тутъ соединено все, что есть во мнѣ добраго и лучшаго ²⁾. Я желаю быть ему подобнымъ въ стремленіи къ хорошему. Во мнѣ живо желаніе произвести что-нибудь такое, что бы осталось памятникомъ доброй жизни. По сію пору ни дѣятельность, ни обстоятельства не соотвѣтствовали желанію; но оно не умирало, а только иногда засыпало“ ³⁾.

Къ работѣ, по его словамъ, обязываетъ его и полученный имъ пенсіонъ.

„Я принялся за работу и шутить не хочу... Я чувствую новую необходимость дѣятельности, а это побужденіе святое: благодарность къ государю, который далъ мнѣ лучшее благо — независимость и имѣетъ на меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно! Я теперь въ службѣ и долженъ служить по совѣсти!“ ⁴⁾.

Но поэтическіе планы и намѣренія Жуковского не должны были

¹⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 806—807.

²⁾ Русск. Арх., 1866 г., стр. 1630.

³⁾ Ibidem, стр. 1631.

⁴⁾ Русск. Арх., 1867 г., стр. 815—816.

осуществиться: онъ не писалъ ничего болѣе самостоятельнаго, ничего имѣвшаго отношеніе къ дѣйствительности, ничего такого, что бы, по его собственнымъ словамъ, имѣло воспитательное вліяніе на народъ. Общество восхищалось его „Вадимомъ“, т.е. второю частью „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ“, который написанъ былъ имъ въ 1817 году. Это было высшее выраженіе той туманной романтической поэзіи, которую перенесъ къ намъ Жуковскій, и за которую онъ едва ли заслуживалъ имя воспитателя народа. Съ другой стороны онъ начиналъ въ это время рядъ художественныхъ переводовъ, въ которыхъ для общества тоже ничего, кромѣ художественности, не давалось. Таковъ былъ знаменитый „Овсяный кисель“, которымъ самъ Жуковскій былъ чрезвычайно доволенъ:

„Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ не извѣстнаго поэта,— пишеть онъ Тургеневу,—ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и для поселянъ. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвѣстный родъ“¹⁾.

Но скоро и эти художественные переводы должны были прекратиться; Жуковскій надолго забылъ поэзію, возвращаясь къ ней только въ дни семейной радости или семейнаго горя двора и до 1840 года, когда онъ освободился отъ своихъ обязанностей, выпуская весьма немногіе и то незначительные стихотворные переводы. Въ концѣ 1817 г. онъ сдѣланъ былъ учителемъ русскаго языка при великой княгинѣ Александрѣ Феодоровнѣ, сначала невѣстѣ, а потомъ супругѣ Николая Павловича. Своимъ новымъ обязанностямъ онъ отдался съ полнымъ увлеченіемъ; имъ посвящаетъ онъ свое время, не жалѣя даже о своей независимости и свободѣ.

„Должность, мнѣ теперь порученная, есть счастливая должность,— пишеть онъ къ И. И. Дмитріеву,—счастливая не по тѣмъ выгодамъ, которыя могутъ быть соединены съ нею, но по той необыкновенно пріятной дѣятельности, которой она меня подчиняетъ. Для поэта это главное. Имѣю передъ собою цѣль прекрасную, къ которой буду идти безъ всякихъ постороннихъ безпокойныхъ видовъ, могу быть обезпеченъ насчетъ всего, кромѣ моего долга, а этотъ долгъ привлекательный“²⁾.

Мечты о уединенной жизни въ деревнѣ, — навсегда покинули его. Жуковскій дѣлается членомъ царской семьи и вездѣ сопровождаетъ ее. Только изрѣдка въ стихахъ его попрежнему слы-

¹⁾ Ibidem, стр. 805.

²⁾ Русск. Арх., 1870 г., стр. 1704.

шится скорбь о минувшемъ; воспоминанія о друзьяхъ, ихъ образы воскресаютъ въ его сердцахъ и какъ живые стоятъ передъ нимъ:

И всѣхъ друзей душа моя узнала...
Но гдѣ-жъ они? На мигъ съ путей земныхъ
На сѣверъ мой мечта васъ привлекала
Сопутниковъ младенчества родныхъ...
Васъ жадная рука не удержала
И голосъ вашъ, плѣнникъ меня, затихъ.
О, будь же вамъ замѣною свиданья
Мой сѣверный цвѣтокъ воспоминанья ¹⁾.

Это были минутныя воспоминанія; они не надолго нарушали довольство настоящимъ у Жуковского. Настоящее казалось ему теперь тѣмъ „очарованнымъ тамъ“, о которомъ онъ мечталъ въ годы своей молодости:

„Изъ сѣверной, любовію избранный,
И промысломъ указанной страны,
Бъ вамъ нынѣ шлю мой даръ обѣтованный;
Да скажетъ онъ друзьямъ моей весны,
Что выпалъ мнѣ на часть удѣлъ желанный;
Что младости мечты совершены;
Что не вотще довѣренность къ надеждѣ,
И что *теперь* плѣнительно какъ *прежде*“ ²⁾.

Стихи эти, которые Жуковский влагаетъ въ уста своей высокой ученицы, могутъ быть отнесены къ нему. Жуковский сталъ писать теперь „для немногихъ“, какъ назывались книжки его стихотворныхъ переводовъ, печатаемыя въ немногихъ экземплярахъ для царской семьи и высокыхъ придворныхъ лицъ. Самый выборъ прежнихъ переводныхъ пьесъ не имѣетъ уже прежняго близкаго отношенія къ внутреннему міру поэта, хотя онъ и выражаетъ характеръ его. Зато переводъ дѣлается точнѣе и художественнѣе, и Жуковский не позволяетъ уже себѣ въ чужую пьесу вводить стихи съ чисто личнымъ свойствомъ, личные намеки.

Вышняя сторона его стиха достигаетъ удивительнаго совершенства; въ этомъ онъ оказываетъ сильное вліяніе на русскую поэзію того времени и въ особенности на молодого Пушкина, который смотритъ на него съ глубокимъ уваженіемъ и часто называетъ его, за участіе въ бурной судьбѣ своей, своимъ гениемъ-хранителемъ. Но для сохранения русской поэзіи Жуковский уже ничего болѣе не сдѣлалъ;

¹⁾ „Цвѣтъ завѣта“.

²⁾ Ibidem.

его историческая роль, виѣсть съ началомъ придворной жизни, кончилась. Поэзія стала являться Жуковскому въ видѣ „Лалла Рукъ“, т.-е. великой княгини Александры Ѳеодоровны, которая изображала лицо этой героини поэмы Т. Мура въ берлинскомъ придворномъ маскарадѣ. Онъ сталъ писать стихи вродѣ „Посланія о Лунѣ“ къ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, гдѣ перечисляетъ, когда и въ какомъ видѣ является луна въ его произведеніяхъ или, подчиняясь господствующему тогда мистицизму, переводить такіа пьесы, какъ „Смерть Іисуса“ — Раулера, въ которой уже виденъ мрачный пѣтизмъ послѣднихъ дней его жизни.

ЛЕКЦІЯ IX.

Отношеніе къ Жуковскому его друзей. — Батюшковъ. — Его дѣтскіе и юношескіе годы.

Какъ ни слабо было развито въ тогдашнихъ нашихъ писателяхъ чувство самостоятельности и независимости, какъ ни неопредѣленно смотрѣли они на свое литературное призваніе, на отношеніе его къ власти, къ обществу, къ народу, причеиъ каждый изъ нихъ конечно съ охотою промѣнялъ бы свое жалкое бумагомарательство, не дававшее ни извѣстности, ни денегъ, на блестящее придворное положеніе Жуковского—все же, хотя главнымъ образомъ въ кругу друзей его, этотъ переходъ къ придворной жизни и къ званію учителя казался измѣною поэзіи. Дѣло ограничивалось, впрочемъ, одною шуткою. Жуковского называютъ „эксъ-балладникомъ“, смѣются надъ тѣмъ, что онъ учитъ грамотѣ принцессу, а самъ учится придворному искусству ¹⁾).

Дмитріевъ жалуется, что Жуковскій, пріѣхавъ въ Москву съ дворомъ, въ началѣ 1818 года, рѣдко посѣщаетъ его. „Ревность друзей его почти достигла своей цѣли—пишетъ онъ: кажется, поэтъ мало по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его. Увидимъ, въ чемъ найдетъ болѣе выгоды“ ²⁾). Все время первоначальныхъ занятій его съ великою княгинею посвящено было грамматикѣ и составленію „грамматическихъ таблицъ“ для облегченія ея изученія; ихъ Жуковскій ставилъ очень высоко. Онъ даже написалъ для этой цѣли по-французски русскую грамматику, которая была напечатана только въ десяти экземплярахъ. „Трудно повѣрить, чтобъ въ грамматиче-

¹⁾ Русск. Арх. 1866 г., стр. 1653, 1657.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1092.

скихъ его таблицахъ было много поэзи¹⁾ — съ ироніей говорить Дашковъ²⁾. Даже Карамзинъ насмѣшливо отзывался о новомъ положеніи Жуковскаго: „Жуковский не можетъ нахвалиться своею Августѣйшею ученицею — сообщаетъ онъ Дмитріеву; но между тѣмъ пишетъ однѣ грамматическія таблицы“³⁾ или „Жуковский пишетъ стихи къ фрейлинамъ“⁴⁾. Самое опредѣленное выраженіе этого недовольства придворною жизнью Жуковскаго, забытаго поэзію, находится въ эпиграммѣ А. Вестужева, приписанной Пушкину, который только въ дружескихъ письмахъ называлъ его „покойникомъ“. Вестужевъ принадлежалъ къ либеральному кружку, который мало видѣлъ значенія въ произведеніяхъ Жуковскаго:

„Изъ савана одѣлся онъ въ ливрею,
На ленту промѣнялъ лавровый свой вѣнецъ,
Не подражая больше Грею,
Съ указкой втерся во дворець —
И что же вышло наконецъ?
Предъ знатными сгибая шею,
Онъ руку жметъ камеръ-лакею,
Вѣдный пѣвецъ“.

Но Жуковский, впрочемъ, и не подавалъ либеральныхъ надеждъ; не имъ измѣнилъ онъ, а поэзіи. Другіе люди, чуждые литературы, искренно жалѣли его. „Какъ живо я чувствую всѣ неудобства его положенія, пишетъ Сперанскій къ своей дочери, когда та сообщила отцу о свиданіи съ Жуковскимъ, всю страдательность его жизни. Я слишкомъ близко видѣлъ сей родъ неволи, чтобъ не сострадать, и что всего хуже, нѣтъ почти средства пособить ему“⁴⁾. Но всѣ эти сожалѣнія и друзей и людей постороннихъ относились больше къ тому обстоятельству, что Жуковский, сдѣлавшись придворнымъ и взявъ на себя обязанности, которыя отвлекали его отъ поэзіи, долженъ былъ забыть послѣднюю, составлявшую его истинное призваніе. О самомъ содержаніи и направленіи его поэтическихъ произведеній, о томъ, что давалъ онъ ими современности и русскому обществу и много ли потери въ томъ, что онъ сталъ менѣ писать — объ этомъ не говорили; о немъ сожалѣли, какъ о поэтѣ, поэзіей котораго наслаждались. „Его стиховъ плѣнительная сладость пройдетъ вѣковъ завистливую даль“ повторяли всѣ съ увлеченіемъ слова Пушкина⁵⁾. Отъ поэзіи тогда и не тре-

¹⁾ Русск. Арх. 1868 г., стр. 593.

²⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву. Спб. 1866 г., стр. 253.

³⁾ Ibidem, стр. 269.

⁴⁾ „Русск. Арх.“, 1868 г., стр. 1699—1700.

⁵⁾ „Къ портрету Жуковскаго“.

бовали ничего другого, кромѣ художественности выраженія, а ея было довольно у Жуковскаго. Какъ писатель, обязанный по своему таланту, внести новую мысль въ общественное развитіе своей страны, Жуковский ничего не сдѣлалъ въ этомъ отношеніи. Онъ не пошелъ дальше Карамзина, пожалуй сдѣлалъ нѣсколько шаговъ назадъ. Его міросозерцаніе было слишкомъ узко, слишкомъ несвободно; его мораль не выходила изъ догматическихъ рамокъ. Этого не могли разглядѣть современники и друзья его. Только въ лагерѣ такъ называемыхъ „либералистовъ“ того времени составилось уже тогда правильное понятіе о значеніи поэзіи Жуковскаго. „Не совсѣмъ правъ ты и во мнѣніи о Жуковскомъ—пишеть къ Пушкину Рылѣевъ.—Неоспоримо, что Жуковский принесъ важныя пользы языку нашему; онъ имѣлъ рѣшительное вліяніе на стихотворный слогъ нашъ—и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не за „вліяніе его на духъ нашей словесности“, какъ пишешь ты. Къ несчастію, вліяніе это было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая-то туманность, которыя въ немъ иногда даже прелестны, растлили многихъ и много зла надѣлали. Зачѣмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ. Это болѣе можетъ упрочить славу его“¹⁾).

Въ то самое время, какъ Жуковский уходилъ постепенно отъ дѣйствительности въ придворную жизнь, которая мало-помалу сдѣлала его глухимъ къ требованіямъ русской жизни и общества, совершенно скрыла отъ него ихъ стремленія и желанія,—другой поэтъ, его современникъ, человѣкъ съ замѣчательнымъ талантомъ вѣшняго выраженія, съ болѣе обработанною формою по точности и опредѣленности, чѣмъ даже у Жуковскаго, уходилъ тоже отъ дѣйствительности и погибалъ для русской жизни, но не добровольно, какъ Жуковский, а вслѣдствіе душевнаго недуга, который былъ удѣломъ его жалкаго существованія болѣе тридцати лѣтъ. Мы говоримъ о Батюшковѣ, человѣкѣ того же поколѣнія, что и Жуковский, даже нѣсколько моложе его. Его трагическая печальная судьба, эта темная долгая ночь сумасшествія, которая постигла его въ цвѣтъ лѣтъ и развитія,—неволью приковываютъ къ нему вниманіе. Но и въ исторіи русской поэзіи Батюшковъ занимаетъ видное мѣсто; для современниковъ, для ближайшихъ поэтическихъ потомковъ онъ былъ классическимъ писателемъ; ему подражали; его стихъ имѣлъ вліяніе; безъ него не могъ бы сформироваться легкій и чрезвычайно опредѣ-

¹⁾ Соч. К. Рылѣева, стр. 234.

ленный стихъ молодого Пушкина, который еще на лицейской скамейкѣ подражалъ ему. Батюшкова въ нашихъ курсахъ исторіи литературы обыкновенно выставляютъ по способу и формѣ выраженія, какъ противоположность Жуковскому. Если послѣдняго называютъ романтикомъ, то Батюшковъ является классикомъ, представителемъ яснаго, спокойнаго и умѣющаго наслаждаться жизнью міросозерцанія древнихъ. Ему приписываютъ возрожденіе древне-греческой поэзи въ нашей литературѣ „во всей ея художественной простотѣ, съ ея пластическимъ представленіемъ жизни и природы“, ему приписываютъ самостоятельное творчество въ духѣ древней греческой поэзи. Пушкинъ, въ своемъ лицейскомъ посланіи къ нему (1814 г.) считаетъ необходимою употреблять имена классическихъ боговъ и древнихъ поэтовъ, хотя и называетъ его „Парни Россійскій“. „Муза Батюшкова была сродни древней музѣ“, говоритъ о поэзи Батюшкова Бѣлинскій. Жаль только, что духъ времени и французская эстетика лишили этого поэта свободнаго и самобытнаго развитія. До Пушкина не было у насъ ни одного поэта съ такимъ классическимъ тактомъ, съ такою пластичною образностью въ выраженіи, съ такою скульптурною музыкальностью, если можно такъ выразиться, какъ Батюшковъ „... Съ своею искреннею, даже слишкомъ горячею любовью къ русской литературѣ, Бѣлинскій, особенно въ позднѣйшихъ статьяхъ своихъ, напр., въ обширномъ введеніи къ разбору Пушкина, приписывалъ Батюшкову слишкомъ большое художественное значеніе, забывая вполне, что при всемъ реализмѣ, при всей естественности и простотѣ чувства, выражаемаго въ его поэзи, эта послѣдняя была совершенно чужда жизни и дѣйствительности и что Батюшковъ, несмотря на классическіе образы и предметы, на имена мифологическихъ боговъ, богинь, нимфъ и геніевъ и пластичность выраженія, не былъ однако знакомъ съ классическимъ міромъ непосредственно, а черезъ французскихъ поэтовъ, которые давно уже подражали древнему міру, и это подражаніе въ концѣ XVIII вѣка и началѣ XIX еще болѣе усилилось, вслѣдствіе того, что французская революція пародировала внѣшнія формы древнихъ республикъ. Но Батюшковъ, несмотря на то, что онъ ничего не подарилъ русской жизни, все-таки крупная личность въ нашей литературѣ. На ней и его произведеніяхъ стоитъ остановиться, чтобъ познакомиться съ тѣмъ, какимъ образомъ могъ развиваться такой классическій поэтъ посреди русской дѣйствительности.

Батюшковъ происходилъ изъ довольно стариннаго дворянскаго рода, который жилъ въ Новгородской и Вологодской губерніи. Отецъ его былъ образованный по тогдашнему времени человекъ, т. е. воспитанный на французскихъ классикахъ прошлаго вѣка и знакомый, ко-

нечно поверхностно, съ свободною мыслию энциклопедистовъ и другихъ философовъ того времени. Но на нравственное и духовное развитие своего сына онъ не имѣлъ никакого вліянія. Мать писателя умерла, когда ему было только десять лѣтъ, но сынъ еще раньше былъ лишенъ ея: она умерла въ сумашествіи. Надобно замѣтить, что, вѣроятно, психическая болѣзнь была наследственною въ семьѣ: кромѣ матери и самого писателя, одна изъ сестеръ его, наиболѣе любимая имъ—Александра—умерла въ дѣвцахъ, тоже въ помѣшательствѣ. Поэтому очень можетъ быть, что сумасшествіе самого Батюшкова, представляемое чрезвычайно таинственно въ нашихъ литературныхъ воспоминаніяхъ и объясняемое самыми разнообразными причинами, такъ что нѣкоторые сравнивали судьбу его даже съ судьбою любимаго имъ поэта — Тасса, — объясняется очень просто и естественно.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился въ Вологдѣ 18 мая 1787 года, слѣдовательно онъ былъ четырьмя или пятью годами моложе Жуковскаго, но онъ не воспитывался и не росъ подобно ему въ домашней обстановкѣ. Отецъ его, вслѣдствіе упомѣшательства жены, еще до ея смерти, отвезъ четырехъ дочерей и единственнаго сына въ петербургскіе пансіоны, а самъ по смерти жены, женился въ другой разъ, что еще болѣе сдѣлало его чуждымъ дѣтямъ отъ перваго брака. Сынъ попалъ въ пансіонъ француза Жакино, у котораго воспитывались дѣти богатыхъ и знатныхъ семействъ; содержаніе и обстановка соответствовали ихъ положенію въ обществѣ, такъ что Батюшкова можно назвать въ этомъ отношеніи баловнемъ; школа жизни у него была вовсе не трудная. Воспитаніе, конечно, было во французскомъ духѣ; ученіе тоже происходило на языкѣ французскомъ, такъ что даже первый печатный литературный опытъ Батюшкова, изданный во время пребыванія его въ пансіонѣ Жакино, когда ему было только четырнадцать лѣтъ, былъ французскій переводъ извѣстной рѣчи митрополита Платона на коронацію императора Александра ¹⁾).

Въ пансіонѣ Жакино, кромѣ французскаго языка, какъ видно изъ письма его къ отцу, онъ занимался также итальянскимъ языкомъ или по крайней мѣрѣ училъ его грамматику. Ученіе, разумѣется, носило общій характеръ и приготавлило богатаго мальчика только къ свѣтской жизни и ничего не давало серьезнаго. То же самое повторилось и въ другомъ пансіонѣ учителя морского училища Триполи, куда Батюшковъ перешелъ, будучи уже четырнадцати лѣтъ,—не извѣстно, по какой причинѣ. Онъ занимался и геометрией, и рисованіемъ, и игрою на гитарѣ; сталъ знакомиться и съ нѣмецкимъ языкомъ; но

) Слб. 1801.

въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ не подчинился нисколько влиянію нѣмецкой романтической поэзіи, какъ Жуковскій. Въ качествѣ коренного русскаго, Батюшковъ высказывалъ какую-то слѣпую даже ненависть къ нѣмцамъ: „Хозяинъ мой нѣмецъ, не поколотитъ ли его?“—пишетъ онъ въ дружескомъ письмѣ къ Гнѣдичу съ похода изъ Риги. Или въ другомъ мѣстѣ: „Я теперь въ Ригѣ, царствѣ табака и чудаковъ,—нѣмцевъ иначе называть и не можно... Я нѣмцевъ болѣе еще возненавидѣлъ: ни души, ни ума у этихъ тварей нѣтъ“¹⁾.

Говорятъ, что въ пансіонѣ у Триполи онъ узналъ и латинскій языкъ, но едва ли познанія его въ этомъ языкѣ были значительны; переводы Тибулловыхъ элегій ничего не доказываютъ; они могли быть сдѣланы и съ французскаго языка, а какъ мало онъ былъ знакомъ съ латынью, доказываетъ трижды повторенный имъ Гнѣдичу уже въ 1809 году въ письмѣ вопросъ: „Что значить *ex fulgore*?“²⁾.

Стихотворные русскіе опыты свои Батюшковъ началъ очень рано, еще будучи въ пансіонѣ. Стремленіе къ писательству было возбуждено въ немъ безъ всякаго сомнѣнія родственною близостію и частымъ посѣщеніемъ имъ дома и семейства двоюроднаго брата его отца, извѣстнаго писателя и преподавателя русскаго языка великому князю Александру Павловичу—Михаила Никитича Муравьева, человѣка весьма замѣчательнаго по своему уму, образованію, доброму сердцу и авторскому таланту, напоминающему собою чрезвычайно манеру и талантъ Карамзина. Батюшковъ въ письмѣ къ другому родственнику своему И. М. Муравьеву-Апостолу, извѣстному въ нашей литературѣ своимъ дѣйствительнымъ знакомствомъ съ классическимъ міромъ и своими переводами съ греческаго, говоря о сочиненіяхъ своего двоюроднаго дяди, самъ сознается, какъ онъ много обязанъ ему и что память этого человѣка будетъ ему драгоценна „до позднихъ дней жизни и украсить ихъ горестнымъ и вмѣстѣ сладкимъ воспоминаніемъ протекшаго!“³⁾

Батюшковъ выражается о немъ съ глубокимъ уваженіемъ: „Кто зналъ сего мужа въ гражданской и семейственной его жизни, тотъ могъ легко угадывать самыя тайныя помышленія его души. Они клонились къ пользѣ общественной, къ любви изящнаго во всѣхъ родахъ, и особенно къ успѣхамъ отечественной словесности. Онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ; онъ любилъ добродѣтель, какъ пламенный ея любовникъ, и всегда, во всѣхъ случаяхъ жизни, оставался вѣренъ своей благородной страсти“⁴⁾.

1) „Русск. Стар.“, 1870 г., I, стр. 549—550.

2) „Русск. Стар.“ 1871 г., III, стр. 219—220.

3) Письмо къ И. М. М.-А. о сочиненіяхъ Г. Муравьева, стр. 123.

4) Ibidem, стр. 104—105.

Муравьевъ является такимъ образомъ воспитателемъ Батюшкова въ литературѣ; отъ него, говорятъ, перешла къ нему любовь къ произведеніямъ классической и итальянской поэзіи. Отъ Муравьева Батюшковъ заимствовалъ, по словамъ Бартенева, лучшіе свои гражданскіе и литературные идеалы ¹⁾.

Въ домѣ Муравьева сначала, пока онъ не переѣхалъ въ Москву, развились литературные вкусы Батюшкова и въ немъ же онъ познакомился съ литературными представителями того времени. Жена Муравьева любила Батюшкова какъ сына и въ ихъ семействѣ онъ забывалъ свое сиротское положеніе.

Семнадцати лѣтъ Батюшковъ кончилъ курсъ своего пансіонскаго ученія. Онъ вынесъ изъ него немного свѣдѣній, кое-какія знанія въ языкахъ и въ особенности французскомъ, которымъ владѣлъ въ одинаковой степени съ русскимъ, и любовь къ литературнымъ занятіямъ, развиваемую всѣми тогдашними учебными заведеніями. Кончивъ ученіе, Батюшковъ началъ служить, но въ противность господствующему обычаю, не въ военной, а гражданской службѣ. Служба эта была, однако, только номинальная, она не требовала отъ Батюшкова труда и оставляла ему полную свободу и много времени для литературныхъ занятій и для собственнаго дальнѣйшаго образованія. Батюшковъ, по протекціи дяди своего Муравьева, поступилъ на службу въ канцелярію тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, графа Завадовскаго, а отсюда уже прямо къ дядѣ—письмоводителемъ. Тотчасъ же по поступленіи на службу, Батюшковъ сталъ печатать въ 1805 г. свои первые поэтическіе опыты. Не безъ вліяній на развитіе классическихъ вкусовъ Батюшкова остался И. И. Мартыновъ, извѣстный впослѣдствіи переводчикъ греческихъ классиковъ, а тогда директоръ канцеляріи министра народнаго просвѣщенія, гдѣ служилъ Батюшковъ, и издатель журнала „Сѣверный Вѣстникъ“, гдѣ сталъ печатать свои стихи молодой поэтъ. Самостоятельнаго въ нихъ было мало. Первымъ французскимъ поэтомъ, въ особенности любимымъ Батюшковымъ, изъ котораго онъ много переводилъ и любовь къ которому онъ передалъ молодому Пушкину, былъ Парни (1753 — 1814). Это былъ поэтъ переходнаго времени, съ замѣчательнымъ талантомъ и красотой стиха. Въ немъ уже слышатся звуки новаго времени; элегическое настроеніе дѣлало его любимцемъ людей молодого поколѣнія—онъ ближе подходилъ къ нимъ; Парни можно бы, пожалуй, назвать и романтикомъ, еслибъ въ его поэзіи было побольше мечтательныхъ элементовъ и, еслибъ свойственная французамъ любовь къ опредѣленной формѣ и чувственность не удерживали его на землѣ. Въ

¹⁾ „Русск. Арх.“, 1867 г., стр. 1350.

Парни осталось много слѣдовъ скептицизма прошлаго вѣка; это былъ прямой наслѣдникъ Вольтера и его насмѣшки надъ мифологіями всѣхъ странъ, а также надъ христіанствомъ, въ духѣ своего учителя, отличаются рѣзкою насмѣшливостью и весьма нескромными выраженіями, хотя и заключенными въ изящный стихъ. Въ особенности Парни былъ большой мастеръ на сладострастныя картины изъ жизни боговъ и богинь классическаго міра. Картины эти сильно нравились нашимъ поэтамъ и переводились ими, хотя и съ большими пропусками, сдѣланной русскою цензурою. Первая переводная пьеса, сдѣланная Батюшковымъ изъ Парни въ 1805 году, была элегія. Въ ней выражается полное разочарованіе жизни, говорится о ея утратахъ и пр. Но Батюшковъ не поддавался этому направленію, подобно Жуковскому. Рядомъ съ элегическимъ настроеніемъ, въ немъ сказалось и сатирическое. Въ „Посланіи къ моимъ сочиненіямъ“ онъ смѣется надъ множествомъ расплодившихся у насъ поэтовъ, надъ ихъ одами, посланіями, пѣснями, драмами и т. п., надъ всею этою стихотворною страпнею, въ которой не было вовсе дѣйствительнаго содержанія. Не безъ вліянія на эту сатиру былъ „Чужой толкъ“ — Дмитріева. Кромѣ „Сѣвернаго Вѣстника“ первые стихотворные опыты Батюшкова помѣщались и въ другомъ журналѣ его начальника Мартынова „Лицей“ въ 1806 году. Связи Батюшкова ограничивались тогда петербургскими литераторами. Онъ былъ знакомъ, напр., съ Пнинымъ, рано умершимъ, и напечаталъ по поводу его смерти стихи, въ которыхъ отзывается о немъ съ большимъ уваженіемъ, какъ и другіе звавшіе его люди.

Въ 1807 году и начавшаяся служба Батюшкова и его поэтичскіе опыты были вдругъ прерваны по собственному его желанію. Когда въ ноябрѣ 1806 года манифестомъ была объявлена милиція, дворянское сердце Батюшкова не выдержало, и онъ поступилъ въ стрѣлковый батальонъ петербургскаго ополченія, а въ началѣ 1807 года выступилъ въ походъ въ западный край. Батюшковъ отдался тревогамъ военной жизни со всею пылостью молодости; ему было только двадцать лѣтъ; онъ былъ полонъ силъ и здоровья. Его письма, которыя онъ писалъ съ этого похода къ другу своему и сослуживцу Гнѣдичу, оказавшему значительное вліяніе на классическое образованіе Батюшкова, и къ нѣкоторымъ другимъ лицамъ, письма, исполненные веселости, юмора и молодого задора, свидѣтельствуютъ, что молодой Батюшковъ былъ въ эту пору вполне доволенъ собой и своимъ положеніемъ. „Мнѣ очень нравится военное ремесло—писать онъ Гнѣдичу. Что будетъ впередъ, Богъ вѣсть. Брани меня, а я штатскую службу ненавижу, чернила надобли, а стихи все люблю, хотя они меня не любятъ“¹⁾... Ему хочется соединить ремесло воина

¹⁾ Русск. Стар. 1870 г. т. I, стр. 550.

съ ремесломъ поэта; въ эту пору онъ только что познакомился съ поэмою Торквато Тассо, которая вообще была любимымъ его произведеніемъ. Отрывки изъ нея, и прозой и стихами, онъ печаталъ часто и хотѣлъ издать полный переводъ. Поэма Тасса была съ нимъ въ походѣ. „Вообрази себѣ меня ѣдущаго на рыжакѣ—сообщаешь онъ Гнѣдичу, по чистымъ полямъ, и я счастливѣе всѣхъ, всѣхъ королей; ибо дорогою читаю Тасса или что подобное. Случалось, что раскричишься и съ словомъ „о доблесть дивная, о подвиги геройски“! прямо на бокъ и съ лошади долой. Но это не бѣда! лучше упасть съ буцефала, нежели падать, подобно Боброву—съ пегаса“¹⁾. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „вздѣлъ кафтанъ Ареевъ“ невзначай. Главные интересы его въ письмахъ сосредоточены почти исключительно на литературѣ и въ особенности на современныхъ ея явленіяхъ въ Россіи. На походѣ онъ непремѣнно хочетъ знать, что дѣлается въ этомъ мірѣ въ Петербургѣ. Онъ спрашиваетъ объ Озеровѣ, о врагахъ его, о представленіи Донского, о Капнистѣ, о переводѣ Гнѣдичемъ Гомера, проситъ о присылкѣ новыхъ русскихъ книгъ, посылаетъ поклонны, кромѣ упомянутыхъ лицъ, Крылову, Шаховскому и др. Видно, что у него были уже значительныя литературныя связи. Но съ другой стороны, въ этихъ же письмахъ, совершенно откровенныхъ и дружескихъ, высказывается Батюшковымъ полный восторгъ при впечатлѣніяхъ военной и бивачной жизни; поэтическіе отрывки, сообщаемые въ этихъ письмахъ, говорятъ только о ней. Напрасно стали бы искать въ этихъ письмахъ Батюшкова какихъ-нибудь политическихъ чувствъ, болѣе глубокихъ наблюденій надъ положеніемъ тогдашнихъ дѣлъ, свѣдѣній о краѣ, которымъ онъ шелъ походомъ, и т. п. Ничего подобнаго не найдемъ мы здѣсь. Батюшковъ былъ слишкомъ молодъ и съ самозабвеніемъ отдавался тревогамъ войны; она вполне удовлетворяла его. Только мимоходомъ можно найти у него свѣдѣнія о незавидномъ положеніи нашей арміи, о томъ, какъ нерасположены къ намъ поляки въ своемъ краю и пр. Письма пересыпаны поэтическими отрывками, въ которыхъ иногда случайно проскользнетъ картина дѣйствительности, напр. это изображеніе несчастнаго финна около Нарвы:

„Тамъ финна бѣднаго сума
Съ усталыхъ плечъ валится;
Несчастный къ уголку садится
И, слезы утеревъ раздраннымъ рукавомъ,
Догадываетъ хлѣбъ мякиной и голодной...
Несчастный сынъ страны холодной!
Онъ съ голодомъ, войной и русскими знакомъ“²⁾.

¹⁾ Ibidem, стр. 551.

²⁾ Ibidem.

Скоро однакожь къ пріятностямъ переходовъ и бивачной жизни, радовавшей Батюшкова, присоединились и трудности и невыгодныя стороны войны. Въ сраженіи подъ Гейльсбергомъ, въ Сѣверо-Восточной Пруссіи, въ маѣ 1807 года, Батюшковъ былъ тяжело раненъ пулею на вылетъ въ ногу. Надобно вспомнить тогдашнее устройство медицины въ нашей арміи, чтобъ представить себѣ какія страданія долженъ былъ вынести Батюшковъ вслѣдствіе этой раны. Его привезли въ Ригу. „Что могъ вытерпѣть дорогою, лежа на телѣгѣ, того и понать не могу“¹⁾. Голодь, боль и ни гроша денегъ въ карманѣ—должны были разочаровать Батюшкова въ прелестяхъ военной жизни, но онъ былъ молодъ и здоровъ, а потому легко переносилъ невзгоды. Что онъ вытерпѣлъ, легко составить себѣ представленіе по его собственному разсказу о другѣ его Петинѣ, которому посвящено имъ нѣсколько лучшихъ стихотвореній и цѣлая статья воспоминаній, свидѣтельствующая о томъ нѣжномъ чувствѣ, которое соединяло обоихъ, не смотря на всю противоположность ихъ наклонностей и вкусовъ. Петинъ учился въ Московскомъ благородномъ пансіонѣ при университетѣ, а потомъ въ Пажескомъ корпусѣ. Его занятія направлены были къ изученію наукъ математическихъ, и Батюшковъ говоритъ, что въ нихъ онъ показывалъ рѣдкую гибкость ума. Онъ служилъ въ гвардейскомъ егерскомъ полку и вмѣстѣ съ Батюшковымъ выступилъ въ походъ. Въ одно почти время оба они были ранены. „Въ тѣсной лачугѣ, на берегахъ Нѣмана, безъ денегъ, безъ помощи, безъ хлѣба (это не вымыселъ), въ жестокихъ мученіяхъ, я лежалъ на соломѣ и глядѣлъ на Петина, которому перевязывали рану... Кругомъ хижины толпились раненые солдаты, пришедшіе съ полей несчастнаго Фридланда, и съ ними множество илѣнныхъ... Весь берегъ покрытъ ранеными; множество русскихъ валяется на сыромъ песку, на дождѣ, многіе товарищи умираютъ безъ помощи, ибо всѣ дома наполнены“²⁾. Батюшковъ скоро поправился отъ своей раны при хорошемъ уходѣ, который онъ нашелъ въ Ригѣ. „Меня принимаютъ въ прекрасныхъ покояхъ, кормятъ, поятъ изъ прекрасныхъ рукъ, я на розахъ!.. Я пью изъ чаши радостей и наслаждаюсь“—пишетъ онъ Гнѣдичу³⁾. При такой обстановкѣ легко было вылѣчиться скоро молодому и крѣпкому Батюшкову. Совершенно автобиографическимъ интересомъ проникнуто стихотвореніе „Воспоминаніе“, написанное въ 1807 году, въ которомъ, разсказавъ о Гейльсбергскомъ сраженіи, о ранѣ, о восторгѣ, съ какимъ онъ переплылъ на родную границу

¹⁾ Ibidem, стр. 552.

²⁾ Воспоминанія мѣсть, сраженій и путешествій, Москвитанинъ 1851 г. № 5 стр. 13—14.

³⁾ Русск. Стар. 1870 г., т. I, стр. 553.

через Нѣманъ, Батюшковъ воспоминаеть тотъ мирный и гостепріимный кровъ, который пріютилъ его въ Ригѣ:

Семейство мирное! ужель тебя забуду,
И дружбѣ и любви неблагодаренъ буду?...
Ахъ, мнѣ ли позабыть гостепріимный кровъ,
Въ сѣни домашнихъ гдѣ боговъ
Усердный Эскулапъ божественной наукой
Исторгъ изъ-подъ косы и дивно исцѣлилъ
Меня, борющагося уже съ смертельной мукой“...

Въ этомъ гостепріимномъ пріютѣ ждала его и молодая любовь, которая оставила довольно продолжительное впечатлѣніе на его сердце:

„Ужели я тебя, красавица, забуду,
Тебя, которую я зрѣлъ передъ собою
У ложа горькихъ мукъ, отчаянья и слезъ,
Какъ утѣшителя, какъ вѣстника небесъ,
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосудъ мнѣ подала: пей здравье и любовь“!

И въ послѣдующіе годы Батюшкову были дороги эти воспоминанія:

„Воспоминанія!
Лишь вами окрыленный,
Къ ней мыслію лечу
И въ часъ полуночи туманной
Мечтой очарованной,
Я слышу въ вѣтеркѣ, принесшемъ на крылахъ
Цвѣтовъ благоуханье—
Эмилин дыханье“... и пр.

Впрочемъ любовь эта, повидимому, недолго задержала Батюшкова въ Ригѣ; еще въ 1807 году онъ воротился въ Петербургъ; не всѣмъ оправившись отъ раны, онъ долженъ былъ снова лѣчиться. Муравьевы въ это время были въ Москвѣ, но Батюшковъ нашелъ другой совершенно родной пріютъ въ семьѣ Олениныхъ.

ЛЕКЦІЯ X.

Батюшковъ въ Финляндіи. — Отставка и жизнь въ деревнѣ. — Умеченіе Торквато Тассо. — Отношеніе къ спору о слогахъ и патриотическому направленію въ литературѣ. — Видѣніе на берегахъ Леты. — Перевѣздъ въ Москву. — Сближеніе съ литературными кружками.

По возвращеніи въ Петербургъ изъ похода 1807 года, Батюшковъ не оставлялъ военной службы; напротивъ, онъ сдѣлался настоящимъ гвардейскимъ офицеромъ, будучи переведенъ въ тотъ полкъ, гдѣ служилъ другъ его Петинъ и получивъ награды за свою рану. Недолго, однако, онъ жилъ въ Петербургѣ на покоѣ; началась финляндская

война, и Батюшковъ снова долженъ былъ выступить въ походъ. Это было весной 1808 года, и въ Финляндіи Батюшковъ оставался до лѣта слѣдующаго года. Въ войнѣ этой онъ не отличился ничѣмъ и кажется, насколько можно судить по его дружескимъ письмамъ къ Гнѣдичу, война эта порядочно надоѣла ему, и съ самаго ея начала онъ сталъ думать объ отставкѣ. „Мнѣ такъ грустно, такъ я собой недоволенъ и окружающими меня,—пишетъ онъ,—что не знаю, куда дѣваться. Повѣришь ли? Дни такъ единообразны, такъ длинны, что самая вѣчность едва ли скучнѣе. А вы, баловни, жалуетесь на свое состояніе“¹⁾. Повидимому, онъ былъ боленъ и физически и нравственно и скоро подалъ въ отставку. „Такъ нездоровъ,—жалуется онъ,— что къ службѣ вовсе не гошусь, хотя и желалъ бы продолжать“... Съ другой стороны и „люди мнѣ такъ надоѣли и все такъ наскучило, а сердце такъ пусто, надежды такъ мало, что я желалъ бы уничтожиться, уменьшиться, сдѣлаться атомомъ“²⁾... Онъ мечталъ и стремился въ эти минуты грусти и тоски поскорѣе въ деревню; тогда же онъ просилъ сестеръ спить ему „щеголеватный халатъ на ватѣ“. Даже вопросы его о явленіяхъ петербургской литературы и просьбы къ Гнѣдичу о присылкѣ новыхъ книгъ встрѣчаются гораздо рѣже и лишены прежней энергіи.

Природа Финляндіи, довольно грандіозная, но бѣдная, не произвела повидимому никакого впечатлѣнія на Батюшкова. „Ужасное единообразіе!—пишетъ онъ къ Оленину:—Скука стелется по снѣгу, и безъ затѣй сказать, такъ грустно въ сей дикой, бесплодной пустынѣ, безъ книгъ, безъ общества и часто безъ вина, что мы середи съ воскресеньемъ различить не умѣемъ“³⁾. Какъ объяснить послѣ этого его восторженное описаніе природы Финляндіи, которое онъ назвалъ отрывкомъ изъ писемъ русскаго офицера. Оказывается, что отрывокъ этотъ, напечатанный Батюшковымъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1810 года, есть не что иное, какъ переводъ изъ описанія „общей физіогноміи Скандинавскаго Сѣвера“, сдѣланнаго французскимъ естествоиспытателемъ Ласепедомъ въ его „Ages de la Nature“. Батюшковъ все, что говорится здѣсь о Скандинавіи, о характерѣ природы и ея жителей, о поэзіи скальдовъ и міеологіи Одина—отнесъ къ Финляндіи. Невзыскательные современники не замѣтили этого наивнаго подлога и твердили наизусть знаменитое описаніе Финляндіи: „Я видѣлъ страну, близкую къ полюсу, сосѣдную Гиперборейскому морю, гдѣ природа бѣдна и угрюма“,—вошедшее потомъ во всѣ риторики.

¹⁾ „Русск. Стар.“, 1871 г., т. III. стр. 211.

²⁾ *Иб.*, стр. 212—213..

³⁾ „Русск. Арх.“ 1867 г., стр. 1444.

Отъ себя Батюшковъ прибавилъ только нѣсколько строкъ, какъ общее воспоминаніе о трудностяхъ финляндской войны, о рядахъ русскихъ могилъ, обозначенныхъ крестами, которые тянутся вдоль дороги или вдоль песчаного морского берега. Самая война потеряла для Батюшкова всѣ свои пріятности; въ его стихотвореніяхъ почти нѣтъ о ней воспоминаній:

„Помнишь ли, питомецъ славы,
Индесальми страшну ночь?
Не люблю такой забавы,
Молвилъ я, и съ музой прочь!
Между тѣмъ, какъ ты штыками
Шведовъ за гѣсъ провожалъ,
Я геройскими руками...
Ужинъ вамъ приготовлялъ“¹⁾...

Но и здѣсь, въ этой негостепріимной Финляндіи, которая ему такъ не нравится,

„Средь дѣбрей каменныхъ, средь ужасовъ природы,
Гдѣ плещуть о скалы ботническія воды,
Въ краяхъ изгнанниковъ“²⁾...

Батюшковъ вспоминаетъ, что онъ былъ вполне счастливъ мечтой, т.-е. поэзіей. Тассо и Петрарка сопровождали его.

Вышедши въ отставку, изъ Финляндіи Батюшковъ уѣхалъ въ вологодскую деревню къ отцу. Здѣсь пробылъ онъ мѣсяцевъ пять, весь конецъ 1809 года, въ большомъ уединеніи, радуясь только письмамъ, которыя получалъ по временамъ. Сначала, повидимому, онъ былъ доволенъ своею жизнію

„Въ странѣ безвѣстной,
Въ тѣни лѣсовъ густыхъ“³⁾,

доволенъ „безвѣстностью въ сабинскомъ домикѣ своемъ, посреди глиняныхъ пенаговъ“⁴⁾; онъ приглашалъ сюда пріятеля своего Гнѣдича:

„Тебя и нимфы ждуть, объятія простирая,
И фавны дикіе, кроталами играя,
Придешь—и всѣ къ тебѣ навстрѣчу прибѣгутъ
Изъ дровъ гамадριάды,
Изъ рѣвъ обмытыя наяды,
И даже сельскій попь, сатиръ и пьяный плутъ“⁵⁾.

¹⁾ „Къ П. А. Петину“.

²⁾ „Мечта“.

³⁾ „Мои пенавы. Посланіе къ М. и В.“.

⁴⁾ Отвѣтъ Н. И. Гнѣдичу“.

⁵⁾ Русск. Стар. 1877, т. III, стр. 214.

Но мало-по-малу деревенская жизнь одолевала его скукой и однообразием своимъ, а онъ не могъ изъ нея вырваться, ожидая, какъ кажется, оброка съ крестьянъ. Онъ проситъ о присылкѣ ему книги о псовой охотѣ. Онъ жалуется на то, что не знаетъ чѣмъ наполнить свое время въ деревнѣ: „Если бъ зналъ, что здѣсь время за вещь? Что крылья его—свинцовыя? Что убить нечѣмъ? Ужъ я принужденъ читать *млямки* Долгорукова, за неизвѣннѣмъ лучшаго“ ¹⁾. Въ деревнѣ онъ перечитываетъ старыхъ писателей: „Я читалъ все это время Бяжнина сочиненія. Сколько хорошаго, сколько ума и соли!—и какое холодное, мерзлое дарованіе!“ ²⁾. Чтеніе иныхъ произведеній приводитъ Батюшкова иногда въ полное довольство: „Я иногда веселъ, веселъ, какъ царь... Недавно читалъ Державина „Описаніе Потемкинскаго праздника“. Тишина, безмолвіе ночи, сильное устремленіе мыслей, пораженное воображеніе, все это произвело чудесное дѣйствіе. Я вдругъ увидѣлъ передъ собой людей, толпу людей, свѣчки, апельсины, брильянты, царицу, Потемкина, рыбу, и Богъ знаетъ чего не увидѣлъ, такъ былъ пораженъ мною прочитаннымъ. Виѣ себя побѣждалъ въ сестрѣ... Что съ тобой?.. Оно! Они! Перекрестись голубчикъ! Тутъ-то я насилу опомнился. Но это описаніе сильно врѣзалось въ мою память. Какіе стихи! Прочитай, прочитай, Бога ради, со вниманіемъ. Ничѣмъ никогда я такъ пораженъ не былъ..“ ³⁾. Не смотря на бездѣйствіе и скуку, на которыя жалуется Батюшковъ въ деревнѣ, съ этого именно времени начинается болѣе плодотворная дѣятельность его и въ стихахъ и въ прозѣ. Изъ деревни посылаетъ онъ свои произведенія для помѣщенія въ два журнала: „Двѣтнникъ“ и „Вѣстникъ Европы“. Торквато Тассъ, — попрежнему любимый поэтъ Батюшкова. Онъ помѣщаетъ въ журналахъ отрывки въ прозѣ и стихахъ своего перевода его поэмы. Несчастія и слава Тасса преслѣдуютъ его воображеніе. Въ своемъ Посланіи „Къ Тассу“ онъ рассказываетъ эту судьбу:

„Торквато! Кто испилъ всѣ горькія отравы
Печалей и любви, и въ храмъ безсмертной славы,
Ведомый музами, въ дни юности проникъ,
Тотъ преждевременно несчастливъ и великъ“.

Повидимому онъ доволенъ, этою дѣятельностью: „Я весь итальянецъ, т.-е. перевожу Тасса въ прозу,—пишетъ онъ къ Гнѣдичу (хотя онъ переводилъ отрывки и стихами).—Хочу учиться и дѣлаю испанскіе успѣхи. Стихи свои переправилъ такъ, что самому любо.

¹⁾ Ib., стр. 218.

²⁾ Ib., стр. 219.

³⁾ Ib., стр. 225.

Право, лучший судья, послѣ двухъ или трехъ лѣтъ, самъ сочинитель, если онъ не зараженъ величайшимъ порокомъ и величайшею добродѣтелью—самолюбіемъ“¹⁾). Но было и въ эту пору какое-то раздвоеніе въ натурѣ Батюшкова, не позволявшее ему надолго оставаться довольнымъ и собою и своими трудами. Такъ было и съ переводомъ Тасса. Болѣе скромный въ своихъ желаніяхъ, болѣе ограниченный въ жизненныхъ требованіяхъ, пріятель его Гнѣдичъ нѣсколько лѣтъ сидѣлъ надъ переводомъ Илиады, продолжая сначала трудъ Кострова александрійскими стихами, а потомъ уже перевода самостоятельно — гекзаметрами и былъ вполне доволенъ своей работой. Не такъъ былъ Батюшковъ; самолюбіе его, повидимому, было всегда развито въ высшей степени. Онъ скоро разочаровался въ достоинствѣ и значеніи своего перевода и отзывался о немъ уже саркастически. „Ты мнѣ твердишь объ Тассѣ или Тазѣ, — пишетъ онъ къ Гнѣдичу, — какъ-будто я сотворенъ по образу и подобию Вожьему за тѣмъ, чтобъ переводить Тасса. Какая слава, какая польза отъ этого? Никакой. Только время потерянное, золотое время для сна и лѣни“²⁾)... Чѣмъ былъ недоволенъ Батюшковъ—мы не знаемъ: такъ неопредѣленны его жалобы, хотя въ основѣ ихъ, вѣроятно, заключено сильно развитое самолюбіе. Но чѣмъ было задѣто оно—тоже не извѣстно. „И я могъ думать, что у насъ дарованіе безъ интригъ, безъ позаванья, безъ какой-то разсчетливости, можетъ быть полезно! И я могъ еще дѣлать на воздухѣ замки и ловить дымъ“³⁾!. „А ты мнѣ советуешь переводить Тасса въ этомъ состояніи! Я не знаю, но и этотъ Тассъ меня огорчаетъ... Знаю и то, что мой Тассъ или Тазъ не такъ хорошъ, какъ ты думаешь... Но, если онъ и хорошъ, то какая мнѣ отъ него польза? Лучше ли пойдутъ мои дѣла (о которыхъ мнѣ не только говорить, но и слышать гадко), болѣе или менѣе я буду счастливъ“?..³⁾). Впослѣдствіи Батюшковъ однако снова обратился къ прежнему любимцу своему Тассу и въ своей знаменитой элегіи „Умиравшій Тассъ“ (1817 г.), написанной превосходными стихами, изобразилъ блестящую, глубоко прочувствованную его апотеозу.

Принадлежа къ молодому поколѣнію, Батюшковъ конечно не могъ остаться вдали отъ того литературнаго спора, который именно въ это время съ болѣею ожесточенностью происходилъ между представителями древняго и новаго слога. Между Карамзинистами были у него пріятели, хотя самъ онъ въ то время вовсе не былъ такимъ набожнымъ повлонникомъ Карамзина, какъ Жуковский, и въ друже-

¹⁾ Пб., стр. 219.

²⁾ Пб., стр. 230.

³⁾ Пб., стр. 231.

сихъ писъмахъ зло смѣялся надъ его манеромъ. Впрочемъ не видно, чтобъ онъ уважалъ и высоко ставилъ современную русскую словесность — и справедливо. Батюшковъ очень хорошо понималъ всю ея мелочность, всю ея ничтожность, и извѣстность, приобретенная въ этой области, вовсе не казалась ему завидною. Но особенно не расположенъ онъ былъ вонечно къ представителямъ стараго слога, которые въ то время не собирались еще въ „Бесѣду“, а были только членами Россійской Академіи. „У меня есть сосѣдъ, который пишетъ, читаетъ церковную подъ титлами и гражданскую печать, не примутъ ли его въ академію? Знаешь ли какія этимъ членамъ надобны кресла? Стульчаки. О варвары, о Крашенинниковы, о Тредіаковскіе!.. Эта академія не всегда была запакощена, въ ней были, сіяли люди, истинно съ дарованіями“ ¹⁾. Съ какою заботою Батюшковъ старается удалить Гнѣдича отъ этихъ людей, литературные вкусы которыхъ должны, по его мнѣнію, вредно повліять на переводъ Иліады: „Разстанься, удались (отъ писателей. Повѣрь мнѣ, это нужно. Я знаю этихъ людей; они вблизи гораздо болѣе завидуютъ. Хорошо съ ними водиться тому, кто ищетъ одной извѣстности, а не славы... Я думаю, что вечеръ проведенный у Самариной, или съ умными людьми, наставитъ болѣе въ искусство писать, нежели чтеніе нашихъ варваровъ... Я не знаю, поймешь ли меня, но мнѣ кажется, что лучше прочесть страницу стихотворной прозы изъ Марѣи Посадницы, нежели Шишкова холодныя творенія ²⁾... Я слогъ ихъ сравниваю съ рѣжкой, въ которую нельзя погрузиться, не омочивъ себя... Мнѣ кажется, что гораздо полезнѣе чтеніе Библии, нежели всѣхъ нашихъ академическихъ сочиненій, ибо въ первой есть поэзія“ ³⁾... Въ эту пору господствовало въ литературѣ патріотическое направленіе. РаSTOPчинъ печаталъ свои „Мысли на Красномъ Крыльцѣ“; С. Глинца шумѣлъ съ своимъ журналомъ. Батюшковъ очень хорошо разглядѣлъ всю фальшь этого направленія. Вотъ что онъ пишетъ Гнѣдичу: „Любить отечество должно. Кто не любитъ его, тотъ извергъ. Но можно ли любить невѣжество? Можно ли любить нравы, обычаи, отъ которыхъ мы отдалены вѣками, и что еще болѣе — цѣлымъ вѣкомъ просвѣщенія? Зачѣмъ же эти усердные маратели выхваляютъ все старое? Я умѣю разрѣшить эту задачу, знаю, что и ты умѣешь, и такъ, ни слова. Но повѣрь мнѣ, что эти патріоты, жаркіе декламаторы — не любятъ, или не умѣютъ любить русской земли. Имѣю право сказать это, и всякій пусть скажетъ, кто добровольно хотѣлъ принести

¹⁾ Ib., стр. 220.

²⁾ Ib., стр. 221.

³⁾ Ibidem.

жизнь на жертву отечеству... Да дѣло не о томъ: Глинка называетъ Вѣстникъ свой „Русскимъ“, какъ будто пишетъ въ Китаѣ, для миссіонеровъ или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ тысячи, жужжать, нашептываютъ: русское, русское, русское... а я потерялъ вовсе терпѣніе“¹⁾... Естественно, что при такомъ разладѣ съ господствовавшимъ въ тогдашней литературѣ патріотическимъ направленіемъ, Батюшковъ и на всю русскую исторію смотрѣлъ не ихъ глазами. Она начиналась для него только съ вѣка нашего просвѣщенія. „Невозможно читать русской исторіи хладнокровно, т.-е. съ разсужденіемъ,— говоритъ онъ.— Я сто разъ принимался; все напрасно. Она дѣлается интересной только со временъ Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роятся въ этой пыли. Читай римскую, читай греческую исторію, и сердце чувствуетъ, и разумъ находитъ пищу. Читай исторію среднихъ вѣковъ; читай басни, ложь, невѣжество нашихъ праотцевъ, читай набѣги половцевъ, татаръ, литвы и пр. и если книга не выпадетъ изъ рукъ твоихъ, то я скажу: или ты великій, или мелкій человекъ. Нѣтъ середины. *Великій*, ибо видишь, чувствуешь то, чего я не вижу, *мелкій*, ибо занимаешься пустяками“²⁾... Батюшковъ смѣется надъ такими любителями исторіи, какъ тогдашній литераторъ Писаревъ, издатель сборника „Калужскіе Вечера“, который „пишетъ себѣ, что такой-то царь, такой-то князь игралъ на *скомоньтѣ*, былъ лицомъ бѣлымъ, съѣлъ рынду батогами и пр.“³⁾.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Батюшковъ имѣлъ свои опредѣленныя политическія убѣжденія, былъ вообще человекъ очень развитой и относился ко многому вовсе не равнодушно, не предпочитая всему свой стихотворный талантъ; напротивъ, онъ много разъ высказывалъ, какъ онъ мало цѣнитъ этотъ талантъ свой. Что же мѣшало Батюшкову, человеку съ умомъ и литературнымъ талантомъ, какъ мы видѣли, излагать свои мнѣнія и убѣжденія тамъ, гдѣ они могли сдѣлаться достояніемъ цѣлаго общества, а не беречь ихъ про себя или для интимной бесѣды вдвоемъ? Въ литературѣ онъ являлся только какъ поэтъ-проповѣдникъ эпикурейскаго наслажденія жизнью или въ прозѣ высказывалъ незначительныя общія мѣста и разсуждалъ о вопросахъ, не имѣющихъ вовсе прямого отношенія къ русской жизни; ее онъ почти игнорировалъ. Причина такого обстоятельства заключалась конечно во-первыхъ, въ томъ, что литература наша не привыкла сколько-нибудь съ участіемъ обращаться къ дѣйствитель-

¹⁾ Ib., стр. 228—229.

²⁾ Ibidem, стр. 227.

³⁾ Ibidem.

ности и къ вопросам общественной жизни, что она преимущественно занята была формальною стороною, что она только тогда обращалась къ дѣйствительности и къ общественнымъ вопросамъ, когда на нихъ указывала власть, а при молчаніи власти литературѣ не было никакого дѣла до жизни. Съ другой стороны, это происходило и отъ того постоянного стѣсненія русской мысли, которое она испытывала отъ цензуры. Подъ ея парализующимъ вліяніемъ мысль въ печати являлась совершенно безучастною къ жизни, приличною, но безсодержательною; ея энергія и сила сохранялись только для интимной бесѣды съ друзьями и здѣсь надобно искать происхождение и необходимость существованія тѣхъ кружковъ, которые поддерживали свободныя преданія мысли нашей и не дозволяли ей совсѣмъ заглухнуть. Такъ и Батюшковъ жилъ въ кружкѣ лучшихъ умственныхъ представителей того поколѣнія, къ которому принадлежалъ онъ. Конечно не одна формальная сторона литературы, не отдѣлка стиха соединяла въ одинъ кружокъ съ Батюшковымъ и Жуковскимъ такихъ людей, какъ Блудовъ, Дашковъ, Вяземскій и др., которые слѣдили за духовнымъ развитіемъ Европы и были въ ней, какъ дома. Если бъ они оставались при однихъ вопросахъ литературы, то нѣкоторые изъ нихъ не могли бы сдѣлаться такими замѣчательными государственными людьми, какими они были. Къ сожалѣнію, въ печати отъ этой умственной жизни кружка остался ничтожный слѣдъ.

Батюшковъ поэтому цѣнилъ свободную мысль, которой впрочемъ не давали хода. Однимъ изъ издателей журнала „Цвѣтникъ“, въ которомъ онъ помѣстидъ нѣсколько эпиграммъ, въ то время былъ Беницкій, молодой человекъ съ большимъ дарованіемъ, умершій въ 1809 г. отъ чахотки. Получивъ извѣстіе о его смерти, Батюшковъ искренно пожалѣлъ его: „Больно жаль Беницкаго!—пишетъ онъ Гнѣдичу. Жильбертъ въ немъ воскресъ и умеръ. Большія дарованія, рѣдкій, свѣтлый умъ; жаль, что залилось желчью; а его болѣзнь, я думаю, превратилась въ нервическую; я на себѣ испыталъ это ужасное положеніе: чувствовать все гораздо сильнѣе, но съ меньшими тѣлесными силами!“¹⁾ „Я читалъ нынѣ „умнаго и дурака“ въ „Талии“. Онъ какъ предвидѣлъ конецъ свой. Все, что ни написано, сильно, даже ужасно, слишкомъ сильно, написано желчью.“²⁾ „Талия“, о которой говоритъ Батюшковъ, была сборникъ² въ стихахъ и прозѣ, котораго первую часть Беницкій издалъ въ 1807 году; вторая часть была отпечатана, незадолго до смерти издателя, въ 1809 году, но задержана цензурой.

¹⁾ *Ив.*, стр. 210.

²⁾ *Ив.*, стр. 222.

Естественно, что при такомъ взглядѣ на литературу, Батюшковъ смѣялся надъ современными ея представителями, особенно надъ тѣми, которые принадлежали къ отживающему поколѣнію, къ партіи Шишкова. Кромѣ эпиграммъ на нихъ, Батюшковъ написалъ тогда въ деревнѣ довольно большое стихотвореніе „Видѣніе на берегахъ Леты“, которое не было тогда напечатано, вѣроятно, по цензурнымъ условіямъ и сдѣлалось извѣстно въ полномъ видѣ только въ 1861 году. ¹⁾ Батюшковъ переслалъ его къ Гнѣдичу изъ деревни и тотъ распространилъ его въ петербургскомъ кружкѣ литераторовъ. Авторъ рассказываетъ свой фантастическій сонъ, который тяжело спустился на него вслѣдствіе утомленія отъ чтенія поэмъ Боброва. Ему мерещится, что внезапная смерть постигла нашихъ писателей, вѣсть объ этой смерти Меркурій приноситъ въ Элизиумъ, гдѣ находятся тѣни нашихъ писателей прошлаго вѣка и говоритъ, что всѣ они сейчасъ вридутъ на берега тихой Леты и будутъ погружать въ ея волнахъ свои сочиненія:

„Они въ рѣкѣ сей погружатъ
Себя и вмѣстѣ юныхъ чады.
Здѣсь опытъ будетъ правосуденъ:
Стихи и проза безразсудны
Потонутъ въ мигъ“...

Всѣ они собираются на встрѣчу своихъ новыхъ со товарищей:

„Вотъ они

говоритъ Батюшковъ, пародируя рассказъ о тѣняхъ изъ VI пѣсни Энеиды:

„Подобно, какъ въ осенніи дни,
Поблещи листія древесны
Что буря въ долахъ разнесла,
Такъ тѣнямъ симъ не вѣсть числа!
Идутъ толпой въ ущелья тѣсны
Къ рѣкѣ забвенія стиховъ;
Идутъ подъ бременемъ трудовъ,
Безгласны, блѣдны приступаютъ,
Любезныхъ дѣтищей купаютъ
И богѣ не зрятъ въ волнахъ...“

Изъ массы этихъ тѣней выдѣляются: Мерзляковъ, какъ переводчикъ Виргилія („Эклоги“ 1807 г.), Захаровъ, Князь Шаликовъ и Макаровъ, какъ представители карамзинской сентиментальности:

„Какія странныя обновы!
Отъ самыхъ ногъ до головы

¹⁾ Библиографическія Записки 1861 г., стр. 638—643.

Обшиты павты ихъ листами.
Гдѣ провой дѣтской и стихами
Иной кладбище, мавзолей,
Другой журналъ души своей,
Другой Меланию, Зюльмису,
Глафиру, Хлою, Милитрису,
Луну, Веспера, голубковъ,
Барановъ, кошекъ и котовъ
Воспѣлъ въ стихахъ своихъ уявленныхъ
На всякій ладъ, для женщинъ *милыхъ*“.

Затѣмъ выступаетъ С. Глинка съ своимъ хвастливымъ патриотизмомъ, потомъ три женщины-писательницы, изъ которыхъ одна Бунина, потомъ Бобровъ „виноносный геній“. За нимъ

„Привракъ чудесный и великій
Въ обширномъ дѣдовскомъ возкѣ
Тимонько тянется къ рѣкѣ.
На мѣсто клячей запряжены
Тамъ люди, въ хомуты вложенны,
И тянуть кое-какъ гужомъ“

На вопросъ адскаго судьи: кто они—

„Мы академи поэты росски“—

отвѣчаетъ главная тѣнь, а несчастные, превращенные въ клячей

„Сочлены юные мои (т.-е. Шишкова):
Любовью къ славѣ воспаленны,
Они Пезарскаго поють
И топать старца Гермогена.
Ихъ мысль на небеса вперенна,
Слова жъ изъ Библии берутъ.
Стихи ихъ хоть немного жестки,
Но истинно варяго-росски“.

Самъ Шишковъ говоритъ о себѣ:

„Я также членъ;
Кургановымъ писать ученъ,
Извѣстенъ сталъ не пустяками,
Терпѣнъ емъ, потомъ и трудами.
Я емь вѣло Славенофиль!
Сказалъ я книгу растворилъ“...

Изъ всѣхъ сочиненій не утонули въ рѣкѣ забвенія только сочиненія Крылова, личность котораго выставилъ Батюшковъ очень забавно, зная его хорошо и часто встрѣчая его у Олениныхъ:

„Туть тѣнь къ Миносу подошла
Неряхой и въ нарядѣ странномъ:

Въ шировомъ шафорѣ издранномъ,
 Въ пуху, съ нечесаной главой,
 Съ салфеткой, съ книгой подъ рукой;
 „Меня врасплохъ, она сказала,
 Въ обѣдѣ нарочно смерть застала;
 Но съ вами я опять готовъ
 Еще хоть съизнова отвѣдать
 Вина и адскихъ пироговъ;
 Теперь же часть, друзья, обѣдать,
 Я вамъ знакомый, я Крыловъ!“

Васнописецъ прямо пошелъ обѣдать въ рай. На это шуточное произведение, которое должно было рассердить многихъ, Батюшковъ и смотрѣлъ какъ на шутку. „Этакіе стихи слишкомъ легко писать и чести большой не приносятъ“—говорилъ онъ ¹⁾. Но онъ интересовался тѣмъ впечатлѣніемъ, которое должно было произвести „Видѣніе“ между петербургскими литераторами и спрашивалъ о томъ Гнѣдича. „Замѣть, кто всѣхъ глупѣе, тотъ болѣе и прогнѣвается“ ²⁾. Онъ собирался помѣстить въ „Видѣніи“ Висковатого, Станевича, Захарова, Шаховскаго и др., „но Карамзина, писалъ онъ, я топить не смѣю, ибо его почитаю...“ ³⁾ Я бы могъ написать все гораздо злѣе..., но убоился, ибо тогда не было бы смѣшно“ ³⁾.

Естественно, что Батюшковъ не могъ высоко ставить свое литературное призваніе, именно потому, что оно было безцвѣтно и не могло приносить пользы обществу, которому вовсе не нужны были стихи въ классическомъ вкусѣ: „Я гривны не дамъ за то, чтобы быть славнымъ писателемъ, ниже Расиномъ, а хочу быть счастливымъ“ ⁴⁾. Оттого, что литературная дѣятельность не имѣла у Батюшкова опредѣленной цѣли, на него находить сомнѣніе и тоска: „Я теперь-то чувствую, что дарованію нужно побужденіе и одобреніе; бѣда, если самолюбіе заснетъ, а у меня вздремало. Я ставлюсь въ тягость себѣ и ни къ чему не способенъ. Не знаю, въ прокъ ли то раннія несчастія и опытность? Бѣда, когда разсудка не прибавятъ, а сердце высушатъ. Я пилъ горести, пью и буду пить. Если бъ ты зналъ, какъ мнѣ скучно“ ⁵⁾. Въ выборѣ дѣятельности онъ не знаетъ на чемъ остановиться, а ему только 22 года. Служить онъ считаетъ необходимою, ибо безъ службы у него вѣтъ средствъ для жизни; но гдѣ и какъ? Просить и хлопотать о себѣ препятствуетъ гордость. То ему хочется въ иностранную миссію, въ Италію, то просто путе-

¹⁾ Ib., стр. 227.

²⁾ Ibidem, стр. 230.

³⁾ Ibidem, стр. 230.

⁴⁾ Ib., стр. 234.

⁵⁾ Ib., стр. 220.

шествовать, то снова свѣтается онъ надъ своими планами и намѣреніями. „Съ моею *дѣятельностію* и лѣнью, говоритъ Батюшковъ, я буду совершенно несчастливъ въ деревнѣ, и въ Москвѣ и вездѣ“... ¹⁾ Онъ жалуется, что предъ этимъ служилъ онъ несчастливо, служилъ изъ за креста и того не получилъ. „Если я проживу еще десять лѣтъ, то сойду съ ума. Право жизнь скучна, ничего не утѣшаетъ. Время летитъ то скоро, то тихо, зла болѣе, нежели добра; глупости болѣе, нежели ума; да что и въ умѣ?.. Въ домѣ у меня такъ тихо, собака дремлетъ у ногъ моихъ, глядя на огонь въ печь; сестра въ другихъ комнатахъ пересчитываетъ, я думаю, старыя письма... Я сто разъ бралъ книгу и книга падала изъ рукъ. Мнѣ не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что дѣлать?..“ ²⁾ Холодомъ грусти и безотраднымъ отчаяніемъ вѣетъ отъ этой небольшой картинки въ русскомъ вкусѣ, гдѣ изображается тоска души, неудовлетворяемой дѣйствительностію. А еще говорятъ, что Батюшковъ былъ поэтомъ изящнаго довольства и наслажденія жизнью. Сворѣе передъ нами крупный образчикъ представителя тоскующихъ поколѣній, какихъ немало выработывала русская жизнь. Это полная неудовлетворенность: ни дѣятельности, ни цѣли, ни намѣреній. Батюшковъ, отъ скуки, начинаетъ читать метафизику. Онъ собирается въ Москву, затѣмъ на Кавказскія минеральныя воды. „Путешествіе слѣдилось потребностію души моею,“—пишетъ онъ къ Гвѣдичу ³⁾. Это убѣжище отъ скуки.

Получивъ, какъ кажется, деревенскій оброкъ, что давало ему средства и освобождало отъ необходимости жить въ глуши, Батюшковъ въ декабрѣ 1809 года поѣхалъ въ Москву, гдѣ жило родственное ему семейство Муравьевыхъ: вдова его дяди съ дѣтьми. Муравьева давно вызывала его изъ деревенскаго бездѣйствія; дѣти ея были еще малы и Батюшковъ, въ качествѣ родственника былъ необходимъ въ семьѣ, къ которой привязывала его благодарность за заботы о дѣтствѣ его. На К. Θ. Муравьеву онъ смотрѣлъ, какъ любящій сынъ, а письма его къ ней изъ послѣдующаго времени свидѣтельствуютъ о той глубокой привязанности, какую питалъ онъ къ ней и ея дѣтямъ. Священнымъ долгомъ считалъ онъ изданіе сочиненій своего дяди, которое и выполнилъ потомъ. Кромѣ Муравьевой, Батюшковъ нашелъ въ Москвѣ въ эту пору Жуковского, Вяземскаго, которые потомъ познакомили его съ Дашковымъ, Блудовымъ, ввели къ Карамзину и Дмитріеву.

¹⁾ Ibidem. стр. 223.

²⁾ Ib., стр. 227.

³⁾ Ib., стр. 234.

ЛЕКЦІЯ XI.

Батюшковъ въ Москвѣ. — Поступленіе въ военную службу. — Посланіе къ Дашкову. — Походъ въ Европу.

Съ годъ прожилъ Батюшковъ въ Москвѣ и это время считалъ счастливѣйшимъ въ своей жизни, всегда вспоминая его и сожалѣя о немъ: „Какъ мы переѣхались съ онаго счастливаго времени, пишетъ онъ въ 1814 году къ Жуковскому, когда у Дѣвичьяго монастыря ты жилъ съ музами въ сладкой бесѣдѣ! Не узнаю, былъ ли ты тогда счастливъ, но я думаю, что это время моей жизни было счастливѣйшее: ни заботъ, ни попеченій, ни предвидѣній! Всегда съ удовольствіемъ живѣйшимъ вспоминаю и тебя, и Вяземскаго, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два вѣка мы прожили съ того благополучнаго времени“...¹⁾ Въ самомъ дѣлѣ, послѣ однообразія и скуки деревенской жизни, съ достаточными средствами въ карманѣ, Батюшковъ, очутившись въ тогдашней веселой Москвѣ, а ему было только 23 года! Его ждали здѣсь новыя литературныя связи и дружба. Въ домѣ Муравьевой онъ познакомился съ Карамзиннымъ, который смотрѣлъ на эту замѣчательную женщину, мать трехъ братьевъ декабристовъ, съ чувствомъ глубокаго уваженія, какъ на жену своего благодѣтеля. Карамзинъ познакомилъ его съ Дмитриевымъ, Жуковскій и Вяземскій — съ Блудовымъ и Дашковымъ. Составился такимъ образомъ близкій и тѣсный кружокъ писателей-друзей, вдали однако отъ другихъ представителей литературы, кружокъ съ болѣе возвышенными стремленіями людей единомысленныхъ. Этотъ кружокъ людей мыслящихъ и преданныхъ литературѣ былъ дороже всѣхъ удовольствій Москвы для Батюшкова,

„Который посреди разсѣяній столицы
Тихонько замѣчалъ характеры и лица
Забавныхъ москвичей,
Который съ годъ зѣвалъ на балахъ богачей.
Зѣвалъ въ концертѣ и въ собраньѣ,
Зѣвалъ на скачкѣ, на гуляньѣ,
Вездѣ равно зѣвалъ,
Но дружбы и тебя нигдѣ не забывалъ“²⁾.

И съ прежнимъ петербургскимъ другомъ своимъ и товарищемъ походовъ — Петинимъ, который дѣчился отъ ранъ, встрѣтился Батюшковъ въ Москвѣ³⁾. Плодомъ этого пребыванія Батюшкова въ Москвѣ,

¹⁾ Рус. Арх. 1867 г. стр. 1468.

²⁾ „Прогулка по Москвѣ“.

³⁾ Москвитянинъ 1851 г., № 5, стр. 14.

может служить небольшое произведение, не вошедшее въ собраніе его сочиненій и найденное впоследствии въ бумагахъ, оставшихся послѣ Оленина. „Прогулка по Москвѣ“¹⁾ По всей вѣроятности это было письмо къ Гнѣдичу, который и передалъ его Оленину.

Ужь и наблюдательность, съ замѣчательнымъ искусствомъ представившіе контрасты Москвы и ея общества, которыми она всегда отличалась, сквозятъ здѣсь въ каждой строчкѣ, не смотря на то, что Батюшковъ вовсе не думалъ объ описаніи Москвы, и сообщилъ другу въ письмѣ нѣсколько отрывочныхъ наблюденій. Онъ оправдывается тѣмъ, что не имѣетъ никакихъ свѣдѣній для подробнаго описанія Москвы и притомъ странно лѣнивъ для этого дѣла: „И такъ, мимоходомъ, страствую изъ дома въ домъ, съ гулянья на гулянье, съ ужина на ужинъ, я напишу нѣсколько замѣчаній о городѣ и о нравахъ жителей, не соблюдая ни связи, ни порядку“... Но сколько въ этихъ наброскахъ ума и таланта! Въ такихъ-то именно сочиненіяхъ и въ письмахъ въ особенности надобно искать Батюшкова настоящаго; а не въ стихотворныхъ наліяніяхъ классическаго эпикуреизма, въ которыхъ не было ничего общаго съ окружавшею его русскою жизнью.

Москва, какъ всегда, представляла и въ то время для Батюшкова, странное смѣшеніе противоположностей. Мѣстное наблюденіе ихъ составляетъ всю сущность характеристики. „Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и богатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и великолѣпія, невѣжества и просвѣщенія, людскости и варварства. Не удивляйся, мой другъ. Москва есть вывѣска или живая картина нашего отечества... Петръ Великій много сдѣлалъ и ничего не кончилъ“. Съ удивительною наблюдательностію, Батюшковъ подмѣтилъ ту общую подражательность Европѣ, которою страдало тогдашнее русское общество и выставилъ нѣсколько типовъ этихъ подражателей англичанамъ нѣмцамъ, французамъ... „Отчего же они всѣ хотятъ прослыть иностранцами, спрашиваетъ онъ, картавятъ и кривляются? — отчего? Я на это буду отвѣчать послѣ“... Къ сожалѣнію этого отвѣта нѣтъ въ сочиненіяхъ Батюшкова, а очевидно, что онъ могъ бы дать его. „Вотъ большая карета, которую насилу тянетъ четверня: въ ней чудотворный образъ, передъ нимъ монахъ съ большою свѣчей. Вотъ старинная Москва и остатокъ древняго обряда прародителей... Посторонись! Этотъ ландо насъ задавить: въ немъ сидитъ щеголь и красавица; лошади, лакей, кучера — все въ послѣднемъ вкусѣ.

¹⁾ Рус. Арх. 1869 г. стр. 1191—1208.

Вотъ и новая Москва, новѣйшіе обычаи“!.. Москва до пожара 12 года представляла много оригинальныхъ типовъ, теперь давно исчезнувшихъ. Сюда прїѣзжали на отдыхъ послѣ честолюбивой карьеры въ Петербургѣ, которая вдругъ почему либо прекратилась; сюда прїѣзжали наслаждаться жизнію послѣ широкаго и безнаказаннаго грабительства въ провинціи. „Здѣсь мы видимъ тѣни великихъ людей, говоритъ Батюшковъ, которые, отыгравъ важныя роли въ свѣтѣ, запросто прогуливаются въ Москвѣ. Многие изъ нихъ пережили свою славу. Eheu fugaces“!.. Вотъ изображеніе одного изъ этихъ великихъ людей, проживающаго громадное состояніе: „Здѣсь предъ нами огромныя палаты, съ высокими, мраморными столбами, съ большимъ подъѣздомъ. Этотъ домъ открытъ для всякаго... Хозяинъ цѣлый день звѣкаетъ у камина, между тѣмъ, какъ вокругъ его все въ движеніи, роговая музыка гремитъ на хорахъ, вся челядь въ галунахъ, и роскошь опрокинула на столъ полный рогъ изобилія. Въ этомъ человѣкѣ всѣ страсти исчезли, его сердце, его умъ и душа износились и обветшали“... Или вотъ еще картина изъ жизни старинныхъ москвичей: „Большой дворъ, заваленный соромъ и дровами, позади огородъ съ простыми овощами, а подъ домомъ большой подъѣздъ съ перилами, какъ водилось у нашихъ дѣдовъ. Войдя въ домъ, мы могли бы увидать въ прихожей слугъ оборванныхъ, грубыхъ и пьяныхъ, которые отъ утра до ночи играютъ въ карты. Комнаты безъ обоевъ, стулья безъ подушекъ, на одной стѣнѣ большіе портреты въ ростъ царей русскихъ, а напротивъ Юдифь, держащая окровавленную голову Олоферна надъ большимъ серебрянымъ блюдомъ, и обнаженная Клеопатра съ большой змѣей—чудесныя произведенія кисти домашняго маляра. Сквозь окна мы можемъ видѣть столъ, на которомъ стоятъ щи, каша въ горшкахъ, грибы и бутылки съ квасомъ. Хозяинъ въ тулупѣ, хозяйка въ салоупѣ, по правую сторону приходской попъ, приходской учитель и шутъ, а по лѣвую толпа дѣтей, старука колдунья, мадамъ и гувернеръ изъ нѣмцевъ. О! Это домъ стараго москвича, богомольнаго князя, который помнитъ страхъ Божій и воеводство“... Или вотъ еще старинный московскій типъ: „Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу кумъ-болтунѣ—спорщицѣ, пожилой бригадиршѣ, жарко наруманенной, набѣленной и закутанной въ черную мантилью. Посторонитесь, вы господа, и вы, молодые дѣвушки! Она вашъ Аргусъ неусыпный, ваша совѣсть, все знаетъ, все замѣчаетъ и завтра же поѣдетъ рассказывать по монастырямъ“... Еще нѣсколько подобныхъ типовъ замѣчаетъ Батюшковъ; ихъ было конечно множество: „Самый Лондонъ бѣдѣе Москвы по части нравственныхъ каррикатуръ—замѣчаетъ онъ. Здѣсь всякій можетъ дурачиться, какъ хочетъ, жить и умереть чудачкомъ“... Москва

въ ту пору была рудникомъ для комедіи нравовъ и Батюшковъ не пропустилъ замѣтить это: „Какое обширное поле для комическихъ авторовъ, говоритъ онъ и какъ они мало чувствуютъ цѣну собственной неистощимой руды!“ Къ сожалѣнію, русская литература была далека тогда отъ жизни и не понимала ея; только лѣтъ тринадцать спустя комедія Грибоѣдова овладѣла нѣкоторыми московскими типами. Въ ту пору господствовало сентиментальное направленіе, которое витало въ заоблачныхъ сферахъ и презрительно относилось къ жизни. Батюшковъ очень умно смѣется надъ тогдашними „модными писателями, которые, по словамъ его, проводятъ цѣлыя ночи на гробахъ и бѣдное человѣчество пугаютъ привидѣніями, духами, страшнымъ судомъ, а болѣе всего своимъ слогомъ... и предаются мрачнымъ разсужденіямъ о бренности вещей, которыя позволено дѣлать всякому въ *нынѣшнемъ стѣкѣ меланхолиі*“... О книжной торговлѣ въ Москвѣ Батюшковъ говоритъ, что въ этомъ городѣ есть „фабрика переводовъ, фабрика журналовъ и фабрика романовъ“, и что онъ боится заглянуть въ книжную лавку, „ибо стѣ стыду нашему думаю, что ни у одного народа нѣтъ и никогда не бывало столь безобразной словесности“... Признаніе весьма печальное для писателя, но вмѣстѣ съ тѣмъ справедливое. Какъ же послѣ этого Батюшковъ смотрѣлъ на собственное свое призваніе и могъ ли онъ сколько-нибудь цѣнить его?

Москва для Батюшкова была самымъ своеобразнымъ городомъ; она не похожа ни на какой другой въ мірѣ. Это городъ крайностей и контрастовъ. „Здѣсь роскошь и нищета, изобиліе и крайняя бѣдность, набожность и невѣріе, постоянство дѣдовскихъ временъ и вѣтренность неимовѣрная, какъ враждебныя стихіи въ вѣчномъ несогласіи и составляютъ сіе чудное, безобразное, исполненное цѣлое, которое мы знаемъ подъ общимъ именемъ: *Москва*“...

Но эта безобразная масса страннаго города и общества жила только фиветивною, а не настоящею жизнію; послѣдняя только дается болѣе свободными государственными учрежденіями и участіемъ въ общихъ дѣлахъ. Избытокъ жизни уходилъ въ безобразія разнаго рода и кутежи, которыми славилась старинная Москва, о которыхъ оставили воспоминанія современники. Подъ этою фиветивною жизнію, подъ этими кутежами, какъ справедливо замѣтилъ и Батюшковъ, скрывались два фактора нашей жизни, издавна ее сопровождающіе: праздность и скука. „Праздность есть нѣчто общее, исключительно принадлежащее сему городу, говоритъ онъ; она болѣе всего примѣтна въ какомъ-то безпокойномъ любопытствѣ жителей, которые безпрестанно ищутъ новаго разсвѣнія. Въ Москвѣ отдыхаютъ; въ другихъ городахъ трудятся менѣе или болѣе, и потому-то въ Москвѣ знаютъ скуку, со всѣми ея мученіями... Однимъ словомъ, здѣсь скуку можно

назвать великою пружиною: она поясняет много странных обстоятельств". Батюшковъ говоритъ, что недавно прїѣзжавшая въ Москву знаменитая трагическая актриса, госпожа Жоржъ, очень скоро накутила большому московскому свѣту. „Сію холодность къ дарованію издатель Русскаго Вѣстника готовъ приписать къ патриотизму; онъ весьма грубо ошибается“...

Надобно согласиться, что эти очерки Москвы, сдѣланные Батюшковымъ, даютъ намъ довольно ясное представленіе о его талантѣ и показываютъ, какъ могъ бы онъ обращаться съ дѣйствительностію и изображать ее, если бъ не мѣшали тому условія тогдашней литературы. Но не смотря на недовольство Москвою, не смотря на томившую его скуку, Батюшковъ былъ доволенъ своимъ пребываніемъ въ Москвѣ. Большая часть его прозаическихъ и стихотворныхъ переводовъ были напечатаны въ московскомъ журналѣ „Вѣстникъ Европы“ 1810 года. Но, вѣроятно, онъ не могъ найти въ Москвѣ приличной для себя дѣятельности и съ намѣреніемъ служить перѣехалъ въ Петербургъ въ январѣ 1812 года. По старой связи своей съ Оленинымъ, который былъ директоромъ Публичной библиотеки, Батюшковъ скоро получилъ въ ней мѣсто бібліотекаря и сдѣлался товарищемъ по службѣ друга своего Гнѣдича и Крылова. Служба эта конечно была номинальная, что было легко при покровительствѣ Оленина. Нельзя же предположить, что Батюшковъ усердно занимался составленіемъ каталоговъ и разстановкою книгъ по полкамъ. Въ домѣ Олениныхъ, гдѣ собиралась та часть высшаго петербургскаго общества, которая интересовалась словесностію и искусствами, Батюшковъ сблизился, особенно при посредствѣ московскихъ друзей своихъ, съ Блудовымъ, Тургеневыми и Уваровымъ. Въ этомъ же домѣ онъ встрѣтилъ небогатую дѣвицу Фурманъ, которая скоро сдѣлалась предметомъ его сердечнаго влеченія. Последнее осталось неудовлетвореннымъ, намъ не извѣстно по какой причинѣ, и эта неудовлетворенность въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ имѣла свое невыгодное вліяніе на душу Батюшкова и бесполезно только раздражала его. Не былъ доволенъ Батюшковъ также и своею службою. Повидимому, она не удовлетворяла его дѣятельности и недостаточно обезпечивала его, такъ какъ его отецъ, управляя материнскими имѣніемъ, немного вообще давалъ дѣтямъ отъ перваго брака.

Долго ли онъ служилъ въ бібліотекѣ и когда вышелъ въ отставку—мы не знаемъ; извѣстно только, что въ августѣ 1812 года, незадолго до занятія Москвы французами, Батюшковъ былъ въ этомъ городѣ, вѣроятно для того, чтобы быть при Муравьевой и оказать ей и ея семейству помощь, столь необходимую въ то трудное время, которое переживала Россія. Его друзей ужъ не было въ

Москвѣ. Батюшкову, что совершенно понятно, очень хотѣлось ска-
зать въ ту горячую пору въ армію, но ему нельзя было бросить на
произволь судьбы Муравьеву, какъ онъ писалъ вскорѣ послѣ Боро-
дина въ князю Вяземскому, который въ это время уѣхалъ съ своею
семьею отъ французовъ въ Вологду ¹⁾). Батюшкову пришлось прово-
жать Муравьеву изъ Москвы до Нижняго. Въ этомъ городѣ онъ про-
жилъ недолго, порываясь въ армію, гдѣ онъ, по словамъ его „хо-
тѣлъ жить физически“, гдѣ онъ надѣялся „забыть на время соб-
ственныя горести и горести друзей“ ²⁾).

Паденіе Москвы сильно отозвалось въ его сердцѣ. Подъ вліяніемъ
этого впечатлѣнія, онъ становился даже несправедливымъ: „Москвы
нѣтъ. Потери невозвратны! Гибель друзей, святыни, мирное убѣ-
жище наукъ, все осквернено шайкою варваровъ. Вотъ плоды просвѣ-
щенія или, лучше сказать, разврата остроумнѣйшаго народа, кото-
рый гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда бу-
детъ ему конецъ? На чемъ основать надежды? Чѣмъ насла-
ждаться“? ³⁾). Оставивъ и устроивъ Муравьеву и семейство ея въ Ниж-
немъ, Батюшковъ поѣхалъ въ Вологду, вѣроятно для свиданія съ
отцемъ и сестрами и для полученія денегъ, съ которыми надобно
было ѣхать въ армію. Ему довольно долго пришлось тогда по воз-
вратѣ прожить въ Нижнемъ, гдѣ собрались московскіе эмигранты.
Скука мучила его; его бездѣйствіе объясняется тѣмъ, что, поступивъ
снова въ военную службу, Батюшковъ назначенъ былъ адъютантомъ
къ генералу Бахметеву и долженъ былъ ждать, пока онъ вылѣчится
отъ ранъ, полученныхъ имъ въ Бородинскомъ сраженіи. Въ это время
написано было Батюшковымъ знаменитое посланіе къ Дашкову, въ
которомъ яркими красками выражается дѣйствительность и глубокое
чувство любви къ родинѣ, жившее въ груди поэта и стоявшее для
него тогда выше наслажденія и поэзіи:

„Мой другъ! Я видѣлъ море зла
И неба мстительнаго кары;
Враговъ неистовыхъ дѣла,
Войну и гибельныя пожары;
Я видѣлъ сонмы богачей,
Бѣгущихъ въ рубищахъ вздранныхъ;
Я видѣлъ блѣдныхъ матерей,
Изъ милой родины изгнанныхъ!
Я на распутьи видѣлъ ихъ,

¹⁾ Русс. Арх. 1866 г., стр. 222.

²⁾ *Ib.*, стр. 223.

³⁾ *Ibidem.*

Какъ, къ персямъ чады прижавъ грудныхъ,
Онъ въ отчаяннѣ рыдалъ,
И съ новымъ трепетомъ взирали
На небо рдяное кругомъ“...

Разсказавъ свои ужасныя московскія впечатлѣннѣ, когда онъ уви-
дѣлъ Москву, опустошенную, разоренную, обгорѣлую, и тамъ, гдѣ
прежде было величѣе, роскошь и торжествующая святыня —

„Лишь угли, прахъ и кампей горы,
Лишь груди тѣль кругомъ рѣки,
Лишь нищихъ блѣдныя полки
Вездѣ мои встрѣчали взоры!“...

Батюшковъ обращается съ упрекомъ къ своему другу за то, что
онъ велитъ ему

...„пѣть любовь и радость,
Безпечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость;
Среди военныхъ непогодъ,
При страшномъ заревѣ столицы
На голосъ мирныя цѣвницы
Сзывать пастушекъ хороводъ“...

Подобный совѣтъ, если онъ дѣйствительно былъ данъ поэту Даш-
ковымъ въ ту тяжелую пору, вовсе не рекомендуетъ послѣдняго и
его развитіе. Дашковъ не понималъ Батюшкова, и поэтъ имѣлъ пол-
ное право презрительно отнестись къ его совѣту:

„Мнѣ пѣть коварныя забавы —
говорить овъ съ глубокимъ чувствомъ —

Ариадъ и вѣтреныхъ цирцей
Среди могилъ моихъ друзей,
Утраченныхъ на полѣ славы!..
Нѣтъ, нѣтъ! талантъ погибни мой
И лира, дружбѣ драгоцѣнна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нѣтъ, нѣтъ! пока на полѣ чести
За древній градъ моихъ отцовъ
Не понесу я въ жертву мести
И жизнь и къ родинѣ любовь;
Пока съ израненнымъ героемъ,
Кому извѣстенъ къ славѣ путь,
Три раза не поставлю грудь
Передъ враговъ сомкнутымъ строемъ
— Мой другъ, дотолѣ будутъ мнѣ
Всѣ чужды музы и Хариты,
Вѣнки, рукой любви свиты,
И радость шумная въ винѣ!“

Но „изранный герой“, съ которымъ Батюшковъ долженъ былъ ѣхать въ армию, т. е. Бахметевъ, не поправлялся; бездѣйствіе томило его и, по согласію съ своимъ начальникомъ, получивъ отъ него письмо, Батюшковъ рѣшился ѣхать въ извѣстному въ войну 1812 года генералу Раевскому, котораго и нагналъ въ Германіи. Остальную часть похода онъ сдѣлалъ при немъ, въ качествѣ его адъютанта. Ему пришлось участвовать въ сраженіи подъ Кульмомъ и при Лейпцигѣ. Въ послѣднемъ онъ потерялъ друга своей молодости Петина, который былъ убитъ на 26 году жизни. Эта смерть глубоко поразила его. Какъ нашелъ Батюшковъ мертвое тѣло своего друга и какъ онъ похоронилъ его въ небольшой нѣмецкой деревнѣ, по близости Лейпцига, обо всемъ этомъ онъ разсказалъ подробно въ своемъ „воспоминаніи о Петинѣ“¹⁾. Петинъ былъ дорогъ для Батюшкова „памятью сердца“; съ нимъ связанъ онъ былъ не литературными и художественными интересами, а молодостью и воспоминаніями бывающей жизни. Его молодая смерть правилась Батюшкову. „Что теряемъ мы, умирая въ полнотѣ жизни, на полѣ чести, славы, въ виду тысячи людей, раздѣляющихъ съ нами опасность? спрашиваетъ онъ. Нѣсколько наслажденій краткихъ, но зато лишаемся съ ними и терзаній честолюбія, и сей опытности, которая встрѣчаетъ насъ на срединѣ пути, подобно страшному призраку. Мы умираемъ; но зато память о насъ долго живетъ въ сердцѣ друзей, не помраченная ни однимъ облакомъ, чистая, свѣтлая, какъ розовое утро майскаго дня“...

Воспоминаніе о немъ осталось на всю жизнь. На кораблѣ, когда онъ плылъ на родину изъ Англіи, онъ вспомнилъ о немъ въ прекрасной элегіи „Тѣнь друга“, которая явилась ему въ мечтахъ:

„Но видъ не страшень былъ:
Чело глубокихъ ранъ не сохрало,
Какъ утро майское веселіемъ цвѣло
И все небесное душѣ напоминало“...

Онъ вспомнилъ, какъ онъ хоронилъ Петина „съ мольбой, рыданьемъ и слезами“...

„Я ношу сей образъ въ душѣ, какъ залогъ священный; онъ будетъ путеводителемъ къ добру — говорилъ Батюшковъ впоследствии; съ нимъ неразлучный, я не стану блѣднѣть подъ ядрами, не измѣню чести, не оставлю ея знамени; здѣсь мнѣ осталось одно воспоминаніе о другѣ: воспоминаніе — прелестный цвѣтъ посреди пустыней, могилъ и развалинъ жизни“.

¹⁾ Москв. 1851 г., № 5 стр. 11—20.

Еслибы не скорбь о потерѣ друга, Батюшковъ былъ бы вполне доволенъ и окружающимъ его миромъ и своими впечатлѣніями и своею службою, въ которой онъ видѣлъ тогда высокое призваніе. Онъ шелъ за арміею, идущею освобождать Европу отъ рабства и отмстить кровную народную обиду. Передъ его глазами развертывались картины новыхъ, никогда не виданныхъ странъ, въ ухахъ звенѣлъ народный восторгъ. Съ какою чувствомъ онъ говоритъ о томъ, какъ поилъ своего боевого коня историческою волною Рейна въ торжественной элегіи „Переходъ черезъ Рейнъ“; передъ нимъ возникаютъ вѣковыя историческія воспоминанія:

„О, радости! Я стою при Рейнскихъ водахъ!
И жадные съ холмовъ въ окрестность бросаю взоры,
Привѣтствую поля и горы
И замки рыцарей въ туманныхъ облакахъ,
И всю страну, обильну славой,
Воспоминаемъ древнихъ дней,
Гдѣ съ Альповъ вѣчною струей
Ты льешься Рейнъ величавый!“

Человѣку однообразныхъ равнинъ и пустынныхъ пространствъ, который не натывается въ нихъ ни на какія историческія воспоминанія, были особенно дороги эти берега и волны Рейна, полные широкою жизнію прошедшаго. И передъ его жадными взорами мелькаютъ тѣни этого прошлаго: и римскіе легіоны, переходящіе, съ Цезаремъ во главѣ, его волны, и суровые рыцари подъ знаменемъ креста, и турниры, и пѣсни трубадуровъ въ нагорныхъ замкахъ. Все, на этихъ берегахъ

„И видъ полей, и видъ священныхъ водъ...
Для чувствъ и мыслей дерзновенныхъ,
И силу новую и крылья придастъ“...

Но все это прошлое исчезаетъ для Батюшкова въ величіи настоящаго, того, что онъ самъ съ такою радостію переживаетъ въ душѣ:

„Мы здѣсь, сыны снѣговъ,
Подъ знаменемъ Москвы съ свободой и громами
Стеклись съ морей, покрытыхъ льдами,
Отъ струй полуденныхъ, отъ Каспія валовъ,
Отъ волнъ Улеи и Байкала,
Отъ Волги, Дона и Днѣпра,
Отъ града нашего Петра,
Съ вершинъ Кавказа и Урала!
Стеклись, нагрянули за честь твоихъ гражданъ,
За честь твердынь и сѣль и нивъ опустошенныхъ
И береговъ благословенныхъ“...

Надобно замѣтить, что для Батюшкова, да и вообще для того молодого поколѣнія, походъ этотъ, кровавый и торжественный, имѣлъ много образовательныхъ свойствъ. Люди сражались и учились въ Европѣ. Европейскій миръ дѣйствовалъ на побѣдителей своими политическими и образовательными началами, какъ порабощенная Греція на древнихъ Римлянъ. „Знаешь ли новую страсть? — пишетъ Батюшковъ къ сестрѣ — нѣмецкій языкъ. Я нынѣ, живучи въ Германіи, выучился говорить по-нѣмецки, и читаю все нѣмецкія книги; не удивляйся тому: Веймаръ есть отчина Гёте — сочинителя Вертера, славнаго Шиллера и Виланда“. Точно такъ же, едва войско вступило въ Шампанью, какъ Батюшковъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми пріятелями, отдѣлился отъ отряда и поскакалъ въ замокъ Сирей, гдѣ когда-то у Маркизы Шатле жилъ Вольтеръ, занимаясь Ньютоновой философіей и поэзіей подъ покровительствомъ дружбы своей прекрасной хозяйки, „чтобъ поклониться тѣнямъ Вольтера и его пріятельницы“. Имена ихъ „отъ дѣтства намъ драгоцѣнны“ — говоритъ Батюшковъ. Столовая Вольтера, гдѣ обѣдали русскіе офицеры, была украшена русскими знаменами. „Но мы утѣшили пугливую тѣню сирейской нимфы и ея друга — говоритъ Батюшковъ, прочитавъ нѣсколько стиховъ изъ „Альзиры“. Послѣ обѣда они читали письма Вольтера, гдѣ онъ говоритъ о маркизѣ. Такимъ образомъ на исторической почвѣ Европы они находили дорогое ихъ духу — воспоминанія своего образованія и идеалы молодости. Еще больше впечатлѣній доставилъ Батюшкову Парижъ, куда въ теченіе двухъ вѣковъ, со времени Петровской реформы, стремились мысли всѣхъ образованныхъ нашихъ людей. Въ Парижъ вступилъ онъ торжественно съ войсками союзниковъ, на которыхъ сыпались тогда благословенія вѣтренныхъ Парижанъ, измѣнившихъ побѣжденному и развѣнчанному корсиканцу, когда русскій генералъ былъ губернаторомъ Парижа и когда по бульварамъ его, по выраженію Батюшкова, „леталъ съ нагайкою козакъ“. Русскимъ французы невольно отдавали преимущество и ласкали ихъ, какъ побѣдителей: „Я, вашъ маленькій Тибулль, или проще капитанъ русской императорской службы, пишетъ Батюшковъ къ пріятелю своему Дашкову, что въ нынѣшнее время важнѣе, нежели бывший кавалеръ или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, „живой воробей лучше мертваго льва“) ¹⁾... Эти люди, восторгаясь Парижемъ, гуляя по его бульварамъ, садамъ и площадямъ, посѣщая театры и музеи, куда Наполеонъ во время своего могущества свезъ всѣ лучшія художественныя произведенія всѣхъ завоеванныхъ странъ, присутствуя на засѣданіяхъ академій, эти люди, слѣпныя орудія исторической Немезиды, сами хорошенько не по-

¹⁾ Р. Архивъ 1867 г., стр. 1459.

нимали, что происходитъ передъ ними; они были какъ бы въ чадѣ. „Повѣрите-ли, пишетъ Батюшковъ, мы, которые участвовали во всѣхъ важныхъ происшествіяхъ, мы едва ли до сихъ поръ вѣримъ, что Наполеонъ исчезъ, что Парижъ нашъ, что Лудовикъ на тронѣ и что сумашедшіе соотечественники Монтескье, Расина, Фенелова, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона, поютъ по улицамъ: „Vive Henry quatre, vive le roi vaillant!“ Такія чудеса превосходятъ всякое понятіе. И въ какое короткое время, и съ какими странными подробностями, съ какимъ кровопролитіемъ, съ какою легкостію и легкомысліемъ! Чудны дѣла твоя, Господи!“ ¹⁾ Событія слѣдовали быстро другъ за другомъ и не давали опомниться. Батюшковъ жаловался на усталость, но жизнь его была полна и онъ доволенъ ею: „Ни одного дня истинно покойнаго не имѣлъ, пишетъ онъ Вяземскому. Безпрестанные марши, биваки, сраженія, регименты,... однимъ словомъ вѣчное безпокойство: вотъ моя исторія“ ²⁾... Изъ Парижа Батюшковъ проѣхалъ въ Англію, гдѣ пробылъ недолго, успѣвъ однако замѣтить консерватизмъ страны, которая „заваленная богатствами всего міра, иначе не можетъ поддержать себя, какъ совершеннымъ почитаніемъ нравовъ, законовъ гражданскихъ и божественныхъ“ ³⁾. И въ Англіи, и на кораблѣ его чествовали, какъ русскаго. На морѣ онъ читалъ Гомера и Тасса „вѣрныхъ спутниковъ война“. Попавъ на берегъ Швеціи, онъ проѣхалъ по странѣ (тогда написалъ Батюшковъ элегію „На развалинахъ замка въ Швеціи“) и изъ Стокгольма, вмѣстѣ съ Блудовымъ, воротился въ іюль 1814 года въ Петербургъ.

ЛЕКЦІЯ XII.

Причины душевной тоски Батюшкова.—Выходъ въ отставку.—Арзамасъ.—Сближеніе съ Уваровымъ.—Поѣздка въ Италію.

Едва только Батюшковъ, послѣ участія въ мировыхъ событіяхъ и послѣ европейской жизни, столь полной для него новыми и глубокими впечатлѣніями, воротился въ Петербургъ, какъ имъ снова овладѣла та душевная тоска, которая его мучила въ деревнѣ, и томительная пустота жизни. Не думаю, чтобъ Батюшковъ относился сознательно и понималъ то реакціонное движеніе, которое начиналось тогда въ обществѣ и поддерживалось властію. Оно явилось нѣсколько

¹⁾ Ibidem, стр. 1457.

²⁾ Ibidem 1866 г., стр. 859—860.

³⁾ Письмо къ С. изъ Готенбурга отъ 19 іюня 1814 г.

воздѣе и не имѣло никакого отношенія къ литературной дѣятельности Батюшкова. Последнюю, какъ мы знаемъ, онъ почти вовсе не цѣнилъ, и не былъ доволенъ вообще своими литературными успѣхами, считая ихъ ничтожными. Его недовольство жизнью и обстановкою имѣло чисто личную причину. „Меня здѣсь (въ С.-Петербургѣ) ласкаютъ добрые люди, пишетъ онъ къ кому-то, а на розахъ, какъ авторъ, и на шипахъ, какъ человѣкъ. Успѣхи словесности ни къ чему не ведутъ, и ими восхищаться не должно. Тѣ, которые хвалятъ, завтра бранить будутъ. Ничего вѣрнаго не имѣю, кромѣ 400 р. доходу“ ¹⁾. Онъ числился все еще въ военной службѣ, но не имѣлъ никакихъ опредѣленныхъ занятій, а потому конечно тосковалъ, не удовлетворяясь своимъ положеніемъ. „Развѣ ты не знаешь, что мнѣ не посидится на мѣстѣ, что я сдѣлался совершеннымъ Калмыкомъ съ нѣкотораго времени,—пишетъ онъ къ Жуковскому,—и что пріятелю твоему нуженъ *остдлокъ*, какъ говоритъ Шишковъ, пристанище, гдѣ онъ могъ бы дышать свободнѣе, въ кругу такихъ людей, какъ ты, напримѣръ. И много ли мнѣ надобно?“ ²⁾ Между тѣмъ Батюшковъ жалуется, что у него и этого немногаго нѣтъ и что на долю его выпали „однѣ заботы житейскія и горести душевныя, которыя лишаютъ всѣхъ силъ и способъ быть полезнымъ себѣ и другимъ“ ³⁾... Недавно пережитое представляется ему неизмѣримо великимъ по сравненію съ тѣмъ, что его теперь окружаетъ: „Въ Парижѣ я вошелъ съ мечемъ въ рукѣ, говоритъ онъ. Славная минута Она стоитъ цѣлой жизни“ ⁴⁾... Батюшковъ сравниваетъ судьбу лицъ, участвовавшихъ въ великихъ событіяхъ того времени, съ судьбою героевъ Гомера, постигнувъ ихъ послѣ покоренія Трои: „По истинѣ Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровымъ воинамъ, разсѣянными по лицу земному. Каждого изъ насъ гонитъ какой-нибудь мститель-богъ. Кого Марсъ, кого Аполлонъ, кого Венера, кого Фурии, а меня Скука. Самое маленькое дарованіе мое, которымъ подарила меня судьба, конечно въ гнѣвѣ своемъ, сдѣлалось моимъ мучителемъ. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Что въ немъ, мой милый другъ? И чѣмъ замѣню утраченное время?“ ⁵⁾... Онъ проситъ совѣта для жизни у Жуковского: „Скажи мнѣ, къ чему прибѣгнуть, чѣмъ занять пустоту душевную; скажи мнѣ, какъ могу быть полезенъ обществу, себѣ, друзьямъ?“ ⁶⁾. Удивительное и печальное

¹⁾ Р. Архивъ 1867 г., стр. 1467.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Ibidem, стр. 1468.

⁵⁾ Ibidem.

⁶⁾ Ibidem, стр. 1469

время, когда человекъ съ умомъ, съ талантомъ, съ образованіемъ, не знаетъ, какую пользу онъ можетъ принести обществу, на какое полезное дѣло употребить свои духовныя силы. „Я оставляю службу по многимъ важнымъ для меня причинамъ, и не останусь въ Петербургѣ. Къ гражданской службѣ я не способенъ. Плутархъ не стыдился считать кирпичи въ маленькой Хероней: я не Плутархъ, къ несчастію, и не имѣю довольно философіи, чтобъ заняться бездѣлками. Что жъ дѣлать? Писать стихи? Но для того нужна сила душевная, спокойствіе, тысяча надеждъ, тысяча очарозаній и въ себѣ, и кругомъ себя“ ¹⁾... Самое дорогое, по его словамъ, для него дѣло, были хлопоты объ изданіи сочиненій его дяди и благодѣтеля Муравьева, котораго онъ ставилъ очень высоко и какъ писателя и какъ человека, называя его Фенелономъ. Онъ приглашалъ настойчиво къ этому дѣлу друга своего Жуковского. Не могли же удовлетворять его такіе стихи, какъ написанные имъ въ 1812 году, по заказу Нелединскаго-Мелецкаго „На выпускъ воспитанницъ Смольнаго монастыря“. Деревня, гдѣ жили его сестры и отецъ, также не могла наполнить той душевной тоски, которой страдалъ Батюшковъ. А между тѣмъ ему необходимо нужно было служить для того только, чтобъ имѣть средства. Въ Петербургѣ оставаться ему не хотѣлось, тѣмъ болѣе, что онъ сталъ жаловаться на испорченное здоровье, да и нужно было отказаться отъ женитьбы на любимой дѣвушкѣ, потому что, по собственному сознанію Батюшкова, онъ не могъ сдѣлать ее счастливою и по своему характеру, и по небольшому состоянію своему. Тотъ знакомый ему генералъ, съ которымъ онъ намѣревался въ 1812 году ѣхать изъ Нижняго въ армію, Бахметевъ, былъ въ это время генералъ-губернаторомъ на югѣ Россіи, въ Каменецъ-Подольскѣ. Батюшковъ поѣхалъ къ нему въ качествѣ адъютанта и уже съ начала іюля 1815 года былъ въ городѣ совершенно для него новымъ, но и здѣсь онъ даже на первыхъ порахъ не былъ доволенъ своимъ положеніемъ и повторялъ прежнія жалобы въ письмахъ къ близкимъ. Сначала, по европейскимъ привычкамъ, Батюшковъ и здѣсь обратилъ было вниманіе на мѣстность города, ея характеръ, на историческія воспоминанія, которыми довольно богатъ тотъ край: „Здѣсь, въ Каменцѣ, я вижу развалины замка и укрѣпленій турецкихъ, польскихъ и русскихъ; прогуливаюсь по ветхимъ бастионамъ и замѣчаю ихъ живописныя стороны. Виды развалинъ старой крѣпости и новыхъ укрѣпленій прелестны. ...Сколько воспоминаній историческихъ!“ ²⁾ говорить Батюшковъ, но они не удовлетворяютъ его,

¹⁾ Ibidem.

²⁾ Воспоминаніе мѣстъ, сраженій и путешествій.

я онъ переходитъ отъ нихъ въ болѣе свѣжій и въ болѣе дорогимъ ему воспоминаніямъ о недавнемъ европейскомъ походѣ. Скука начинаетъ его мучить снова; онъ жалуется, что „тянетъ день за днемъ, что читаетъ очень рѣдко, что тѣ книги, которыя онъ привезъ съ собою, составляютъ для него только тягость, что онъ всё перечиталъ ихъ, а въ Каменцѣ ничего, кромѣ календаря, достать нельзя. Онъ жалуется на недостатокъ общества, на то, что онъ въ теченіе шести недѣль не говорилъ ни съ одною женщиной.

„Всѣ мои радости и удовольствія въ воспоминаніи“ — пишетъ онъ къ Муравьевой. „Настоящее скучно, будущее Богу извѣстно, а протекшее наше“ ¹⁾. А тоска по любимой дѣвушкѣ, которую онъ покинулъ добровольно, еще болѣе подливала горечи въ его сердце. Недовольный всѣмъ, онъ подалъ въ отставку и въ началѣ 1816 года выѣхалъ изъ Каменца. „Горестно я провелъ этотъ годъ“ ²⁾ — говоритъ онъ. Служебныя неудачи мучили его, а онъ самъ сознается и въ честолюбіи и въ суетности. Служить онъ хотѣлъ непремѣнно, но не умѣлъ ни на что рѣшиться и откровенно признавался, что самъ не знаетъ что будетъ дѣлать ³⁾.

Въ этотъ пріѣздъ въ Петербургъ, случайное счастье, казалось улыбнулось ему; онъ получилъ награду за походъ и былъ зачисленъ въ гвардейскій Измайловскій полкъ; говорили даже, что онъ будетъ назначенъ адъютантомъ къ в. к. Николаю Павловичу, но это не состоялось почему-то и снова въ письмахъ Батюшкова, единственномъ источникѣ для его біографіи, появляются непрерывныя, однообразныя жалобы на судьбу и на службу и нерѣшительныя заботы о томъ, чтобъ какъ-нибудь устроиться. Если судить по этимъ письмамъ, то у него не было въ эту пору никакого другого интереса, кромѣ совершенно личнаго. Продолжать военную службу Батюшковъ не желаетъ: „По всѣмъ моимъ разсчетамъ я долженъ оставить службу, если захочу сохранить кусокъ насущнаго хлѣба и искру здоровья“ ⁴⁾... Это было понятно: съ раненою ногою онъ насилу могъ ходить. Служить на войнѣ онъ еще согласенъ, но „въ мирное время лучше заниматься своимъ дѣломъ, нежели безпрестанными бездѣльями“ ⁵⁾... Онъ желалъ отставки, чтобъ „заниматься книгами и марашиемъ бумаги“ ⁶⁾. Его главное затрудненіе заключалось въ необеспеченности состоянія. Вышедши въ отставку изъ военной службы и получивъ

¹⁾ Русск. Арх. 1867, стр. 1480.

²⁾ Ibidem, стр. 1485.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1486.

⁵⁾ Ibidem, стр. 1488.

⁶⁾ Ibidem, стр. 1489.

мѣсто почетнаго библіотекаря Публичной библіотеки, Батюшковъ сдѣлался совершенно свободенъ для литературныхъ занятій, но не обезпеченъ въ денежномъ отношеніи. Въ это время онъ сталъ собирать свои стихи и прозу, которые и были изданы въ 1817 году подъ редакціей Гнѣдича, подъ названіемъ „Опыты“ — 2 т. Въ 1817 году Батюшковъ довольно долго прожилъ въ своей Вологодской деревнѣ. Онъ намѣревался тамъ писать и много писать: „Авось напишу что-нибудь путное и достойное людей, которые меня любятъ“¹⁾, но планы остались безъ исполненія. У него умеръ отецъ, оставившій разстроенныя дѣла; нужны были хлопоты, не имѣвшіе ничего общаго съ поэзіей; необходимо было устроить наслѣдство сестеръ. „До стиховъ ли?“ — спрашиваетъ Батюшковъ. Издавши свои „Опыты“, онъ интересовался мнѣніемъ Жуковского о нихъ и спрашивалъ его о томъ или другомъ произведеніи: „Повравился ли мой Тассъ? Я желалъ бы этого. Я писалъ его сторача, исполненный всѣмъ, что прочелъ объ этомъ великомъ человѣкѣ. А Рейнъ?“²⁾. Очевидно, онъ считалъ эти поэтическія произведенія лучшими и въ самомъ дѣлѣ они были таковы. Впрочемъ, вообще онъ былъ правильнаго мнѣнія о своихъ произведеніяхъ и не обольщался ихъ достоинствами. „Что скажешь о моей прозѣ? спрашиваетъ онъ Жуковского. Съ ужасомъ дѣлаю этотъ вопросъ. Зачѣмъ я вздумалъ это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мнѣ стоили столько, меня мучать. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я велъ для стиховъ! Три войны, все на конѣ, и въ мирѣ на большой дорогѣ. Спрашиваю себя: въ такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совѣсть отвѣчаетъ: нѣтъ. Такъ зачѣмъ же печатать? Бѣда, конечно, не ведика: побранять и забудутъ. Но эта мысль для меня убійственна; убійственна, ибо я люблю славу и желалъ бы заслужить ее, вырвать изъ рукъ Фортуны. Не великую славу, нѣтъ, а ту маленькую, которую доставляютъ намъ и бездѣлки, когда онѣ совершенны. Если Богъ позволить предпринять другое изданіе, то я все переправлю; можетъ быть напишу что-нибудь новое. Мнѣ хотѣлось бы дать новое направленіе моей крохотной Музѣ и область элегіи расширить“³⁾... Скоро однакожь заботы о здоровьи и желаніе убѣжать какъ можно дальше отъ всего окружающаго стали преобладать въ намѣреніяхъ Батюшкова. Постоянно жалуется онъ на свои болѣзни: то на грудь, то на ногу; говорить, что сѣверная зима убиваетъ его, и собирается лѣчиться на югъ Россіи: или на кавказскихъ водахъ или въ Крыму, а потомъ

¹⁾ Ibidem, стр. 1494.

²⁾ Русск. Арх. 1870, стр. 1712.

³⁾ Ibidem, стр. 1713.

мечтаетъ о путешествіи по Италиі. „Здѣсь, право, холодно во всѣхъ отношеніяхъ“—пишетъ онъ. Мысль объ Италиі стала въ особенности занимать его и, приѣхавъ въ концѣ 1817 года въ Петербургъ, Батюшковъ началъ черезъ друзей своихъ хлопотать о томъ, чтобъ пристроиться къ какой-нибудь итальянской миссіи. Дѣло это, впрочемъ, не скоро было приведено къ желанному концу.

Въ Петербургѣ Батюшкова снова окружили литературные интересы. Въ это время туда переселился уже Карамзинъ, собиравшій вокругъ себя писателей однихъ съ нимъ убѣжденных. Арзамасское общество, куда приняли Батюшкова съ распростертыми объятіями, подъ именемъ Ахилла, было въ полномъ разгарѣ своей шутилой дѣятельности. У Жуковского тоже собирались по субботамъ друзья писатели и Батюшковъ познакомился на этихъ собраніяхъ съ новою, возникающею славою Пушкина, который писалъ тогда свою поэму „Русланъ и Людмила“ и читалъ изъ нея отрывки. Батюшковъ скоро замѣтилъ въ немъ поэтическій талантъ и, говорить, съ досадою слушалъ пьесы его, написанныя въ антологическомъ родѣ, томъ самомъ, въ которомъ и онъ былъ первымъ мастеромъ. Батюшковъ разглядѣлъ и всю вѣтренность Пушкина, и весь недостатокъ того пустого образованія, которое онъ вынесъ изъ Лицея и его увлеченіе разсѣянною жизнію въ свѣтѣ. „Сверчокъ что дѣлаеть, спрашиваетъ онъ у Н. Тургенева. Кончилъ ли свою поэму? Не худо бы его запереть въ Геттингенъ и кормить года три молочнымъ супомъ и логикою. Изъ него ничего не будетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ. Потомство не отличить его отъ двухъ однофамильцевъ, если онъ забудетъ, что для поэта и человѣка должно быть потомство... Какъ ни великъ талантъ Сверчка, онъ его промотаетъ, если... Но да спасутъ его Музы и молитвы наши!“¹⁾ Къ этому же времени относится сближеніе Батюшкова съ Уваровымъ по одинаковости вкусовъ и любви къ изящной формѣ древняго классическаго, въ особенности греческаго міра. Уваровъ былъ дѣятельнымъ членомъ Арзамаса и въ его домѣ собирались его члены. Въ этихъ собраніяхъ, среди своихъ товарищей и друзей молодости, онъ забывалъ свое высокое положеніе въ свѣтѣ и оставилъ о нихъ живыя и теплыя, хотя, въ сожалѣнію, краткія воспоминанія. Между Арзамасцами Уваровъ былъ безспорно самый блестящій, самый ученый и самый богатый членъ, для котораго жизнь вполнѣ улыбалась: онъ съ дѣтства былъ ея баловнемъ. Говоря объ его учености, Батюшковъ въ стихотворномъ посланіи къ Уварову, пишетъ:

„Отъ древней Спарты до Аѳинъ,
Отъ гордыхъ памятниковъ Рима

¹⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 1534—35.

До стѣвъ Пальмиры и Солима
Умомъ ты міра гражданинъ“...

а о счастиі въ жизни:

„Тебѣ легко, ты награжденъ,
Благословенъ, взлелѣянъ Фебомъ;
Подъ сумрачнымъ родился небомъ,
Но будто въ Аттивѣ рожденъ“...

Этотъ въ послѣдствіи столь извѣстный въ царствованіе Николая Павловича министръ народнаго просвѣщенія, первый вводителъ у насъ системы классическаго образованія, въ широкомъ и благороднѣйшемъ ея значеніи, былъ и въ то время лицомъ важнымъ, сановникомъ, не смотря на свою молодость. Счастіе, казалось, стало улыбаться ему съ колыбели.

Происходя изъ не очень знатной, но богатой фамиліи, Сергѣй Семеновичъ Уваровъ имѣлъ дальнимъ родственникомъ своимъ любимца императоровъ Павла и Александра—Ө. П. Уварова и съ его помощію очень рано сдѣлалъ чрезвычайно блестящую карьеру. Уваровъ родился въ Петербургѣ, въ 1786 году и былъ воспитанъ дома, на французскій манеръ, аббатомъ Мангенемъ, собственно для жизни въ высшемъ кругу общества, къ которому принадлежалъ по рожденію. Красивый по наружности, ловкій въ обращеніи, онъ славился умнѣемъ владѣть французскимъ языкомъ и писалъ на немъ съ удивительною легкостью и прозу и блестящіе стихи. Уваровъ вообще былъ одаренъ способностію къ изученію языковъ, но, владѣя обширнымъ умомъ, онъ рано понялъ, что изученіе языковъ даетъ прекрасныя средства для цѣлей болѣе широкихъ. Его любимымъ предметомъ сдѣлалась исторія, понимаемая вовсе не въ узкомъ смыслѣ, а какъ полная картина разносторонней цивилизаціи народовъ. Въ такомъ широкомъ смыслѣ онъ и изучалъ исторію. Не знаемъ, какими путями и какими средствами его молодое вниманіе остановилось на языкахъ классическихъ, которые, какъ средство для изученія древняго міра, сдѣлались его любимымъ занятіемъ. Новые языки, французскій, нѣмецкій, Уваровъ усвоилъ легко, съ дѣтства, въ домашнемъ воспитаніи. На нихъ онъ писалъ съ одинаковою легкостью; древніе языки пришлось изучать уже съ большимъ трудомъ и не вдругъ.

Свое служебное поприще Уваровъ началъ пятнадцати лѣтъ въ иностранной коллегіи. Въ 1806 году онъ былъ уже чиновникомъ по-сольства въ Вѣнѣ, а въ 1809 году секретаремъ при миссіи въ Парижѣ. Богатый, умный, образованный Уваровъ вездѣ за границею старался сближаться съ представителями науки и литературы, съ писателями, съ академиками. Какъ зналъ онъ современныя требова-

нія науки и на какой политической высотѣ стоялъ онъ, доказывается тѣмъ, что, подъ вліяніемъ тогдашняго стремленія филологіи къ Востоку, Уваровъ, понимая вмѣстѣ съ тѣмъ цивилизирующее призваніе Россіи на Востокѣ, издавъ въ 1810 году по-французски: „Essai d'une académie asiatique“, мысли котораго онъ постоянно потомъ, будучи министромъ народнаго просвѣщенія, приводилъ въ исполненіе, основывая въ нашихъ университетахъ кафедръ восточныхъ языковъ и литературъ и поощряя занятія ими въ молодыхъ людяхъ. Сочиненіе это обратило на него вниманіе европейскихъ ученыхъ обществъ.

Въ русскомъ высшемъ обществѣ и по службѣ онъ сталъ выигрывать чрезвычайно выгодною женитьбою на дочери тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, графа Разумовскаго, которая принесла ему, вмѣстѣ съ громаднымъ богатствомъ, блестящее положеніе въ служебной карьерѣ. Двадцати пяти лѣтъ отъ роду онъ былъ назначенъ попечителемъ Петербургскаго университета, въ 1811 году Петербургская академія наукъ выбрала его въ почетные члены свои, а въ 1818 году онъ получилъ званіе ея президента.

Сближеніе съ Академіей Наукъ, въ качествѣ ея почетнаго члена съ начала, а потомъ въ званіи президента, еще болѣе увеличили въ Уваровѣ любовь къ научнымъ занятіямъ и желаніе составить себѣ имя въ наукѣ. Всестороннее изученіе классическаго міра сдѣлалось любимымъ его занятіемъ. Издавая въ 1812 году свое новое сочиненіе, „Объ Элевзинскихъ таинствахъ“, Уваровъ высказалъ слѣдующій взглядъ свой на изученіе классическихъ языковъ, взглядъ, замѣчательный по глубинѣ своей и по широкому содержанію. „Изученіе древности, говоритъ онъ, не есть занятіе отдѣленное отъ другихъ: всякій разъ, когда оно поднимается выше мертвой буквы, это благородное изученіе становится исторіею ума человѣческаго. Оно не только умѣстно во всѣхъ возрастахъ и во всѣхъ положеніяхъ жизни, но еще открываетъ уму столь обширное поле, что мысль съ удовольствіемъ тутъ останавливается, и хоть на короткое время забываетъ дѣйствія, неразлучныя съ великими переворотами политическими и нравственными“ ¹⁾. Въ Петербургскомъ университетѣ и въ Академіи Уваровъ сблизился съ профессоромъ греческаго языка и словесности Грефе, вызваннымъ имъ изъ-за границы. Плодомъ занятій Уварова съ нимъ явилось новое его сочиненіе въ 1817 году на нѣмецкомъ языкѣ „Nonnos von Rapropolis der Dichter“, посвященное Гёте. Это было историко-критическое изслѣдованіе объ александрійскомъ поэтѣ V вѣка, послѣднемъ греческомъ поэтѣ, въ которомъ умерла греческая поэзія въ избыткѣ силы и выраженія, а не въ старческомъ безиліи. Сочиненіе это было на-

¹⁾ Essai sur les mystères d'Eleusis. S.-Petersbourg 1812, Préface XI.

писано съ большою ученостію и прекраснымъ языкомъ. На другой годъ Уваровъ назначенъ былъ президентомъ Академіи Наукъ, — званіе чрезвычайно важное въ его лѣта, когда ему было только 32 года. Понятно, что человѣкъ съ такимъ пониманіемъ формъ классическаго міра и съ такимъ умомъ долженъ былъ обратить вниманіе на талантъ Батюшкова, именно съ его художественной стороны и подмѣтить въ Батюшковѣ особенное умѣнье выражать изящную, пластическую форму древней Греціи. Батюшковъ и Уваровъ встрѣтились въ домѣ Оленина, а сблизились на веселыхъ собраніяхъ Арзамаса. Плодомъ этого сближенія обоихъ была статья „О греческой Антологіи“, пред- назначавшаяся, по словамъ Уварова, для журнала предполагаемаго Арзамасомъ къ изданію, которое впрочемъ, не состоялось ¹⁾. Статья вышла однако въ 1820 году отдѣльною брошюрою и потомъ стала помѣщаться въ изданіяхъ сочиненій Батюшкова, хотя текстъ въ ней, заключающій въ себѣ глубокое пониманіе мелкой антологической поэзіи древнихъ грековъ, — принадлежитъ Уварову. Батюшковъ собственно перевелъ 12 небольшихъ антологическихъ стихотвореній — съ французскаго; въ нихъ стихъ его и сочувствіе къ изящной греческой формѣ достигаетъ самаго блестящаго выраженія. Между тѣмъ Батюшковъ собирался въ Италію, надѣясь, что хлопоты друзей его доставятъ ему тамъ мѣсто при посольствѣ, хотя и смотрѣлъ на эту страну разочарованными глазами: „Я знаю Италію, не побывавъ въ ней — пишетъ онъ въ концѣ 1818 года къ Муравьевой. Тамъ не найду счастья: его нигдѣ нѣтъ; увѣренъ даже, что буду грустить о снѣгахъ родины и о людяхъ мнѣ драгоцѣнныхъ... Но первое условіе жить, а здѣсь холодно, и я умираю ежедневно“ ²⁾. Лѣтомъ этого года, по смерти отца своего, Батюшковъ весь занятъ былъ устройствомъ своихъ дѣлъ передъ предполагаемою поѣздкою. Она все-таки была отрадна для него. Но пока согласился на его опредѣленіе тогдашній министръ иностранныхъ дѣлъ, графъ Капо д'Истрія, пока это опредѣленіе было утверждено государемъ, время уходило и Батюшковъ, больной и тревожимый ожиданіями, рѣшилъ воспользоваться лѣтомъ для поѣздки въ Крымъ съ цѣлію излѣченія болѣзни. Эту поѣздку онъ сдѣлалъ съ Сергѣемъ Муравьевымъ-Апостоломъ, который провожалъ его до Одессы. Батюшкова, кромѣ климата и возможности вылѣчиться, манили въ Крымъ и на берега Чернаго моря воспоминанія исчезнувшихъ греческихъ городовъ, памятники древности, которые онъ надѣялся найти тамъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что развитію въ немъ любви къ классическому міру и пониманія его много содѣй-

¹⁾ Современ. 1851 г., № 6, стр. 38.

²⁾ Рус. Арх. 1867 г., стр. 532.

ствовавъ своими разговорами Уваровъ. Батюшковъ самъ сознаетъ это: „Поклонитесь Уварову—пишетъ онъ къ А. Тургеневу изъ Полтавы.— Не могу утаить передъ вами, сколько я ему благодаренъ! Сколько я ему обязанъ за его вниманіе и снисхожденіе! Онъ ободрялъ меня, какъ поэта и человѣка, хвалилъ меня прежде чѣмъ узналъ, и узнавъ, конечно, полюбилъ. Ему обязанъ я лучшими минутами въ вашемъ Питерѣ, и воспоминаніе о нихъ сохранию долго въ умѣ и сердцѣ“¹⁾. Въ Крымѣ, впрочемъ, Батюшковъ не побѣжалъ и ограничился только купаньемъ въ морѣ въ Одессѣ, гдѣ ему было весело, и гдѣ у него было много знакомыхъ. Но и въ окрестностяхъ Одессы онъ нашелъ много классическихъ воспоминаній и древностей, о которыхъ пишетъ съ большимъ увлеченіемъ: „Здѣсь недавно я бродилъ по развалинамъ Ольвіи: сколько воспоминаній! Если успѣю, то сплещу сіи священные останки, сію могилу города, и покажу вамъ въ Петербургѣ... Я срисовалъ все, что могъ и успѣлъ. Жалѣю, что нашъ Карамзинъ не былъ въ этомъ краю. Какая для него пища! Можно гулять съ мѣста на мѣсто съ однимъ Геродотомъ въ рукахъ. Я невѣжда, и мнѣ весело. Что же должны чувствовать люди ученые на землѣ классической? Угадываю ихъ наслажденія“²⁾... Въ другомъ письмѣ Батюшковъ сообщаетъ Муравьевой: „Я недавно былъ на могилѣ Ольвіи; нашелъ множество медалей, вазъ, обломковъ и дышалъ тѣмъ воздухомъ, которымъ дышали Мелезійцы, Аѳинцы Азіи“³⁾. Оленину Батюшковъ предлагаетъ покупать для бібліотеки вазы, медали и пр. Когда пришло, наконецъ, столь долго ожидаемое имъ опредѣленіе его при неаполитанскомъ посольствѣ, Батюшковъ успѣшилъ оставить Одессу и, заѣхавъ на короткое время въ деревню, чтобы проститься съ сестрами, пріѣхалъ въ Петербургъ. Къ Италіи и къ новой службѣ своей Батюшковъ готовился весьма добросовѣстно. Онъ покупалъ книги по географіи, исторіи, литературѣ Италіи, просилъ о помощи въ этомъ отношеніи у Н. Тургенева и у чрезвычайно развитого молодого родственника своего, Никиты Муравьева. Въ ноябрѣ того же года онъ уѣхалъ въ Неаполь.

О трехлѣтнемъ почти пребываніи Батюшкова въ Неаполѣ, о томъ, что онъ могъ написать тамъ, мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній. Съ отъѣздомъ его въ Неаполь, повидимому, прекратилась его литературная дѣятельность. Передъ нами только три короткія письма его къ А. Тургеневу, Уварову и Жуковскому, написанныя еще въ 1819 году, т.-е. первомъ году неаполитанской жизни Батюшкова; далѣе уже недостаетъ извѣстій.

¹⁾ Ibidem, стр. 1518.

²⁾ Ibidem, стр. 1519—20.

³⁾ Ibidem, стр. 1523

Изъ писемъ этихъ видно, что Батюшковъ, кажется, былъ доволенъ своею неаполитанскою жизнью, хотя ни слова не говорилъ о своей службѣ и о своихъ занятіяхъ. Письма главнымъ образомъ наполнены вопросами о томъ, что дѣлается съ друзьями его на родинѣ, и о русской словесности. Батюшковъ жалѣеть, что не можетъ слѣдить за нею. Онъ проситъ Тургенева прислать „чего-нибудь русскаго, новостей книжныхъ, стиховъ и прозы“¹⁾... Онъ интересуется узнать, вышла ли въ свѣтъ поэма Пушкина, съ которою онъ познакомился въ отрывкахъ. Симпатіи его все направлены въ сторону родины и ея литературы. „Въ общества я заглядываю, какъ въ маскарадъ; живу дома, съ книгами; посѣщаю Помпею и берега залива, наставительныя, какъ книга; страшусь только забыть русскую грамоту“—пишетъ Батюшковъ къ Уварову²⁾. „Я здѣсь, милый другъ, въ страхѣ забыть языкъ отечественный—пишетъ онъ то же самое къ Жуковскому.—совершенно безъ книгъ русскихъ, и по нынѣшнему образу занятій моихъ, не часто заглядываю въ двѣ или три книги русскія, которыя ненарокомъ взялъ съ собою“³⁾... Описывая Жуковскому красоты неаполитанскихъ видовъ, которыя приводятъ его въ восхищеніе, Батюшковъ жалуется, что талантъ его слишкомъ слабъ, чтобы достойно описать эти великія зрѣлища. „Посреди сихъ чудесъ удивись перемѣнѣ, которая во мнѣ сдѣлалась: я вовсе не могу писать стиховъ!“⁴⁾ Сохранился, но только въ памяти друзей, однако, отрывокъ, писанный въ 1819 году, гдѣ Батюшковъ поэтически обращается къ развалинамъ Байи, на берегу Неаполитанскаго залива⁵⁾. За то онъ рассказываетъ, что пишетъ „записки о древностяхъ окрестностей Неаполя“. „Мнѣ когда-нибудь послужить этотъ трудъ,—говоритъ онъ, ибо трудъ, я увѣренъ въ этомъ, никогда не потеряю“⁶⁾... Здоровье его не поправляется, не смотря на климатъ Италіи. Въ ней жалуется онъ на холодъ, но, повидимому, доволенъ собою и окружающимъ его. „Если прибавить, что я совершенно доволенъ моею участью, безъ роскоши, но выше нужды, ничего не желаю въ мірѣ; имѣю или питаю по крайней мѣрѣ надежду возвратиться въ отечество, обнять васъ и быть еще полезнымъ гражданиномъ, и это меня поддерживаетъ въ часы унынія“⁷⁾...

¹⁾ Соч. Батюшкова. Изд. 1850 г. т. I, стр. 358.

²⁾ Ibidem, стр. 361—362.

³⁾ Ibidem, стр. 364.

⁴⁾ Ibidem, стр. 365.

⁵⁾ Лонгиновъ. Библ. Зап. XXXV. Соврем. 1857 г., № 3, стр. 823.

⁶⁾ Соч. Батюшкова, изд. 1850 г., т. I, стр. 367.

⁷⁾ Ibidem.

ЛЕКЦІЯ XIII.

Душевная болѣзнь Батюшкова.—Причины ея.—Арзамасъ.—Шаховской и полемика противъ него.

Съ отъѣздомъ Батюшкова въ Италію въ 1818 году, т.-е. одновременно съ тѣмъ, какъ Жуковский вступилъ въ свои придворныя обязанности, литературная дѣятельность его прекращается, и если что-нибудь и было имъ написано въ Италіи, то не дошло до насъ. Какъ извѣстно, скоро постигла его душевная болѣзнь, наследственная въ семьѣ, но, вѣроятно, были къ ней и ближайшіе поводы, и объ этихъ-то поводахъ существуютъ разнорѣчивыя показанія. Мы не знаемъ даже опредѣленно, сколько времени прожилъ Батюшковъ въ Неаполѣ. Въ половинѣ 1820 года въ Неаполѣ, вслѣдствіе усилій карбонаровъ, произошло возстаніе. Король Фердинандъ I, изъ дома Бурбоновъ, возстановленный чужеземными штыками въ своемъ достоинствѣ въ 1815 году, послѣ казни Мурата, долженъ былъ уступить теперь народному движенію и выдать либеральную конституцію. Но это не могло быть терпимо тѣми великими державами, которыя составляли Священный Союзъ. На конгрессахъ въ Троппау и Лайбахѣ, собравшихся именно по поводу революціи въ Неаполѣ, рѣшено было вооруженное вмѣшательство въ дѣла этого королевства. Короля пригласили въ Лайбахъ и въ мартѣ 1821 года онъ вступилъ, подкрѣпляемый австрійскими войсками въ свое королевство. Народное движеніе было подавлено, либеральная конституція уничтожена и началась самая сильная реакція, съ казнями и прочими ужасами, обыкновенно ее сопровождающими. Это время неаполитанской революціи было, конечно, весьма любопытнымъ временемъ для жизни и наблюденій. Но Батюшковъ въ началѣ 1821 года былъ уже въ Римѣ, выѣхавъ туда вѣроятно съ миссіей. „Батюшковъ пишетъ изъ Рима, сообщаетъ Карамзину Дмитріеву, что революція *мучая* надоѣла ему до крайности. Хорошо, что онъ убрался изъ Неаполя бурнаго, гдѣ уже было, какъ сказываютъ, рѣзанье“ ¹⁾...

Италія не поправила его здоровья и, выѣхавъ въ началѣ 1821 г. изъ нея, онъ долженъ былъ лѣчиться на богемскихъ водахъ и вѣроятно не возвращался болѣе въ Неаполь. Съ водъ онъ переѣхалъ въ Дрезденъ, гдѣ прожилъ всю зиму, занимаясь мистикой и астрономіей и переводя трагедію Шиллера „Мессинскую невѣсту“, изъ которой въ его сочиненіяхъ напечатанъ только отрывокъ ²⁾.

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 304.

²⁾ König. H. Literarische Bilder aus Russland. 1837, S. 125.

Въ началѣ 1822 года онъ явился въ Петербургъ, полный болѣзненнаго раздраженія, въ состояннн близкомъ къ помѣшательству, подозрѣвая вездѣ враговъ, составившихъ противъ него союзъ, чтобъ уронить его славу. Онъ говорилъ, что ѣдетъ на Кавказъ или Крымъ. „Странный и жалкій меланхоликъ Батюшковъ ѣдетъ на Кавказъ“ — пишетъ къ Дмитріеву Карамзинъ въ маѣ 1822 г. ¹⁾. Въ петербургскомъ обществѣ говорили тогда, что помѣшательство Батюшкова произошло вслѣдствіе служебныхъ непріятностей; въ чемъ они состояли—неизвѣстно. „Недавно возвратился сюда изъ чужихъ краевъ К. Н. Батюшковъ, — пишетъ А. Е. Измайловъ 6 апрѣля 1822 года къ Дмитріеву въ Москву. Съ нимъ случилось величайшее несчастіе. Онъ, какъ говорятъ, почти помѣшался и даже не узнаетъ коротко знакомыхъ. Это слѣдствіе полученныхъ имъ по послѣднему мѣсту непріятностей отъ начальства. Его упрекали тѣмъ, что онъ писалъ стихи, и потому считали неспособнымъ къ дипломатической службѣ“... ²⁾. Это извѣстіе подкрѣпляется и послѣднею запискою Батюшкова къ Жуковскому, написанною, очевидно, уже въ болѣзненномъ состояннн, если подобная записка можетъ служить доказательствомъ. Въ ней Батюшковъ называетъ Нессельроде, тогда управляющаго министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, т.-е. своего главнаго начальника—своимъ убійцею. „Я ему никогда не прощу,—ни я, ни Богъ правосудный, ни люди добрые и честные“ ³⁾. Въ такомъ душевномъ состояннн Батюшковъ въ маѣ 1822 года вмѣсто Кавказа поѣхалъ въ Крымъ, гдѣ пробылъ около года. Что онъ тамъ дѣлалъ — намъ неизвѣстно. Есть извѣстія, что именно въ Крыму сумашествіе его достигло полнаго развитія, такъ что онъ нѣсколько разъ покушался на свою жизнь; но есть и другія противоположныя извѣстія. Пушкинъ пишетъ въ 1823 году брату своему изъ Кишинева: „Батюшковъ въ Крыму. Орловъ съ нимъ видался часто. Кажется мнѣ онъ изъ ума шутитъ“ ⁴⁾. Какъ бы то ни было изъ Крыма вернулся онъ въ безнадѣжномъ состояннн. Говорятъ, что употребляли много усилій для его излѣченія; пробовали музыку, но при ея звукахъ онъ приходилъ въ бѣшенство; возили его въ Парну, въ извѣстное заведеніе для умалишенныхъ Зонненштейна, и все напрасно. Какъ извѣстно онъ прожилъ до 1855 года въ тихомъ помѣшательствѣ въ Вологдѣ у родныхъ. Пенсіонъ, назначенный ему государемъ Николаемъ Павловичемъ обезпечивалъ его положеніе.

¹⁾ Ibidem, стр. 329.

²⁾ Русск. Арх., 1871, 7 и 8, стр. 970—971.

³⁾ Ibidem, 1870 г., стр. 1718.

⁴⁾ Библиогр. Зап., I, стр. 14.

Существуютъ въ разсказахъ и чисто нравственные поводы къ его помѣшательству. Говорать, что онъ узналъ о существованіи заговора, который разразился черезъ нѣсколько лѣтъ катастрофою 14 декабря. Въ тайномъ обществѣ участвовали всѣ дѣти К. Ѳ. Муравьевой, на которую онъ смотрѣлъ какъ на родную мать и благодѣтельницу и всѣ дѣти И. М. Муравьева-Апостола, котораго онъ уважалъ и какъ человѣка и какъ писателя. Всѣхъ этихъ молодыхъ людей, которые выросли на глазахъ его, ближайшихъ родственниковъ своихъ, Батюшковъ любилъ какъ родныхъ братьевъ, хотя они были нѣсколько моложе его. Его положеніе было затруднительно. Повидимому онъ не раздѣлялъ либеральныхъ стремленій своихъ родственниковъ, а выдать ихъ не могъ и по чувствамъ къ нимъ и по благородству своего характера ¹⁾. Впрочемъ въ такомъ разладѣ съ самими собою и съ убѣжденіями находились тогда многіе. Батюшковъ принадлежалъ, какъ мы знаемъ къ впечатлительнымъ и раздражительнымъ натурамъ; онъ и прежде пророчилъ себѣ сумашествіе, да и во времени, и въ обстоятельствахъ было такъ много элементовъ для того, чтобы помѣшательство казалось естественнымъ.

Какъ бы то ни было, нельзя не пожалѣть, что такая несчастная судьба постигла Батюшкова въ то время, когда ему было только 34 года и когда при лучшихъ, болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, онъ могъ бы многое еще сдѣлать для русской поэзіи и русской литературы. Мы нарочно останавливались на разнообразныхъ обстоятельствахъ его жизни, которыя тогда никому не казались странными въ обществѣ, останавливались для того, чтобъ показать, какъ отъ этихъ обстоятельствъ зависѣлъ и талантъ его, и самое содержаніе его произведеній. Званіе писателя еще не пользовалось почетомъ и уваженіемъ въ обществѣ. Оно не давало собственно говоря ничего существеннаго человѣку, кромѣ развѣ уваженія и привязанности въ томъ интимномъ кругу друзей, одинаково настроенныхъ, который любилъ искусство и литературу. Человѣку-писателю нужно было искать другую какую-либо профессію, чтобы получить средства для жизни, но какую найти, чтобъ она удовлетворяла писателя, чтобъ онъ былъ доволенъ ею? Вопросъ затруднительный и мы видимъ, что Батюшковъ нѣсколько лѣтъ жизни посвящаетъ его разрѣшенію и все напрасно. Отсюда его постоянныя колебанія, недовольство собою и окружающимъ. Мы видѣли, что въ немъ былъ сильный, самобытный талантъ, что нельзя отказать ему ни въ умѣ, ни въ пониманіи дѣйствительности. Но различныя обстоятельства, житейскія и общественныя, мѣшали ему въ спокойномъ созерцаніи жизни, дѣлали это со-

¹⁾ Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 149.

зерцаніе порывистымъ, неустановившимся. Обстоятельства житейскія еще больше имѣли вліянія на Батюшкова, чѣмъ положеніе дѣлъ общественныхъ, въ которое онъ, повидимому, не вдумывался. Вѣчно безпокойная жизнь съ волненіями, происходящими то отъ болѣзни, то отъ неудовлетвореннаго честолюбія, выпала на его долю и помѣшала полному развитію его таланта. Онъ растратилъ свой талантъ то въ тревогахъ бивачной жизни, которая давала ему только мимолетныя впечатлѣнія, то въ кибиткѣ, скача изъ одного конца Россіи въ другой противоположный. Отъ того въ стихахъ Батюшкова, во всемъ направленіи его таланта замѣчается что-то недодѣланное, недосказанное. Сочувствіе его къ классическимъ формамъ и образамъ было случайное; оно вытекало не изъ его собственнаго непосредственнаго знакомства съ классическимъ міромъ, а подъ вліяніемъ личностей, близко знакомыхъ съ нимъ, съ которыми Батюшковъ сближался: Гнѣдича, И. М. Муравьева-Апостола, Уварова. Наслажденіе любовью и паеосъ сладострастія, которые обыкновенно считаютъ признаками „классической Музы“ Батюшкова, заимствованы имъ не изъ классическихъ, а изъ французскихъ поэтовъ, въ родѣ Парни, и какъ-то плохо выжуются со всѣмъ знакомымъ намъ содержаніемъ его жизни. Образованіе его вообще было незавидно, какъ и у прочихъ нашихъ писателей. Саморазвитіемъ сдѣлаешь вообще мало, если школа не дала никакихъ идеаловъ, ни умственныхъ, ни нравственныхъ, ни политическихъ, а Батюшкову учиться приходилось или въ лагерѣ или въ кибиткѣ. Отъ этого въ его прозѣ, тамъ гдѣ онъ начинаетъ разсуждать о предметахъ общихъ, сколько-нибудь отвлеченныхъ, его рѣчь страдаетъ ограниченностію и пониманія и сужденія. Онъ обязанъ своими идеалами Карамзину, хотя и менѣе чѣмъ Жуковский. Въ то время, какъ молодой его родственникъ Никита Муравьевъ благородно и смѣло разбиралъ политическія тенденціи „исторіи государства російскаго“, Батюшковъ сравниваетъ свое впечатлѣніе при чтеніи исторіи Карамзина съ впечатлѣніемъ Фукидида, слушавшаго на Олимпійскихъ играхъ—Геродота:

„И я такъ плакалъ въ восхищеніи,
Когда скрижалъ твою читаль,
И гений твой благословлялъ
Въ глубокомъ сладкомъ умиленьи“¹⁾).

Собственные понятія о поэзіи у Батюшкова удаляли его отъ дѣйствительности: „Удались отъ общества, окружи себя природою, совѣтуетъ онъ поэту: въ тишинѣ сельской, посреди грубыхъ, неисторическихъ правовъ, читай исторію временъ протекшихъ, поучайся

¹⁾ „Карамзину“.

въ печальныхъ лѣтописяхъ міра, узнавая человѣка и страсти его, но исполнись любви и благоволенія ко всему человѣчеству: да будутъ мысли твои важны и величественны, движенія души твоей нѣжны и страстны, но всегда покорены разсудку, спокойному властелину ихъ“... ¹⁾). Самое значеніе писателя у него только художественное; онъ пишетъ не для народа, не для общества. „Мы прибѣгаемъ къ искусству выражать мысли свои, говорить онъ, въ сладостной надеждѣ, что есть на землѣ сердца добрыя, умы образованные, для которыхъ сильное и благородное чувство, счастливое выраженіе, прекрасный стихъ и страница живой, краснорѣчивой прозы—суть сокровища истинныя“... ²⁾). Такое убѣжденіе было общимъ, господствовавшимъ между лучшими образованными людьми нашими въ то время, между талантливыми, передовыми писателями.

Лучшимъ примѣромъ этой мысли и пустоты того содержанія, которое разрабатывала тогдашняя литература, совершенно чуждавшаяся общественныхъ вопросовъ, можетъ служить литературное общество „Арзамасъ“, о которомъ мы уже не разъ упоминали. Его обыкновенно связываютъ съ дѣятельностію Жуковского, и дѣйствительно, на сколько можно судить по печатнымъ документамъ, Жуковский былъ самымъ дѣятельнымъ членомъ въ этомъ обществѣ, хотя первая мысль о немъ и оригинальное устройство принадлежатъ Блудову. Происхожденіе этого общества надобно искать въ тѣхъ литературно-критическихъ спорахъ, которые давно велись по поводу нападеній Шишкова на слогъ Карамзина; Арзамасъ былъ продолженіемъ этихъ споровъ и возникъ тогда, когда нападеніе противной стороны, къ которой принадлежали всѣ члены Шишковской и Державинской „Бесѣды“, принялъ личный характеръ. Самый Арзамасъ вслѣдствіе этого получилъ также личный характеръ, а потому преобладающими свойствами его были насмѣшливость и пародія. Напрасно поэтому современники, участвовавшіе въ этомъ обществѣ, стараются придать ему какое-то научное значеніе, сдѣлать его выраженіемъ строгой критики и пр. „Направленіе этого общества или, лучше сказать, этихъ пріятельскихъ бесѣдъ, было преимущественно критическое, говоритъ графъ Уваровъ. Лица, составлявшія его, занимались: строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка и пр. ³⁾ Такое представленіе о трудахъ

¹⁾ „Нѣчто о поэтѣ и поэзіи“.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Современ. 1851 г. № 6, II, стр. 38.

этого дружескаго общества, которое сохранилось въ памяти одного изъ вліятельнѣйшихъ членовъ его, преувеличено значительно. Конечно, большинство участниковъ Арзамаса были люди умные и образованные, но серьезной цѣли они не имѣли.

Арзамасское общество образовалось, какъ противодѣйствіе „Весѣдъ любителей русскаго слова“, въ то время, когда послѣдняя оканчивала уже свое существованіе и образовалось въ средѣ поклонниковъ Карамзина, котораго выбрали какъ бы невидимымъ вождемъ своимъ. Слѣдовательно, это было продолженіе прежняго спора между двумя литературными партіями старой и новой. Ближайшимъ поводомъ къ возникновенію самаго общества и къ выбору для него оригинальнаго названія „Арзамасъ“ послужили слѣдующія обстоятельства.

Между писателями, принадлежавшими къ партіи Шишкова и „Весѣды“ — самымъ оригинальнымъ и самымъ живымъ лицомъ былъ князь Шаховскій, чрезвычайно плодовитый драматическій писатель, дѣйствовавшій на этомъ поприщѣ около полуцѣка. О немъ намъ уже случалось говорить нѣсколько прежде. И Шаховскій воспитывался въ томъ же благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, гдѣ учился и Жуковский, но былъ нѣсколько старше его (род. въ 1777 г.). Вѣроятно, и онъ въ пансіонѣ получилъ любовь къ литературнымъ занятіямъ, подобно прочимъ, хотя и вышелъ изъ него для поступленія въ военную службу на шестнадцатомъ году. Въ гвардейскомъ полку, гдѣ Шаховскій служилъ, онъ продолжалъ образовывать себя, по его собственнымъ признаніямъ. Тогда уже онъ полюбилъ театръ и эта страсть заставила его оставить военную службу и поступить въ другую, которая вполнѣ удовлетворяла его наклонностямъ — въ театральную дирекцію по репертуарной части. Русскій театръ и труппа въ Петербургѣ были тогда въ незавидномъ положеніи. Главное вниманіе театральнаго начальства, конечно, въ угоду большинства образованнаго общества, было обращено на французскій театръ, улучшить и устроить который заботились сильно. Эти заботы дирекціи дали возможность князю Шаховскому въ 1801 и 1803 годахъ съѣздить на казенный счетъ за границу, съ цѣлью приглашенія нѣкоторыхъ французскихъ актеровъ для пополненія труппы; это путешествіе развило и укрѣпило театральные вкусы князя Шаховскаго. Онъ видѣлъ лучшихъ представителей театральнаго искусства и съ тѣхъ поръ приобрѣлъ авторитетность въ этомъ дѣлѣ. Съ этихъ поръ онъ съ большою энергіею отдался усовершенствованію русскаго театра, который дѣйствительно любилъ. Имъ была задумана и устроена театральная школа, которая должна была готовить молодые таланты. Въ 1812 году Шаховскій снова поступилъ въ военную службу — въ ополченіе, но заграничныхъ походовъ не дѣлалъ и вскорѣ снова за-

чалъ прежнее мѣсто. Въ русскому театру онъ былъ привязанъ службою до 1826 года, но, и вышедши тогда въ отставку, до самой смерти своей въ 1846 году не охладѣвалъ къ драматической литературѣ и къ театральному искусству. Его литературная дѣятельность въ драмѣ, начавшаяся въ 1807 году, продолжалась почти до самой смерти его. Онъ писалъ много комедій и драмъ, число которыхъ доходитъ до ста и хотя эти театральныя пьесы Шаховскаго потеряли теперь всякое значеніе, въ виду, какъ измѣнившихся вкусовъ, такъ и самаго общества, но онѣ долго давались на сценѣ и были любимы. Не имѣя большихъ художественныхъ достоинствъ, всѣ онѣ служатъ, однако, доказательствомъ какъ прекраснаго знанія условій театра, такъ и значительной наблюдательности со стороны Шаховскаго. Всѣ они любопытны для исторіи общества.

Имя Шаховскаго, который сталъ писать въ самый разгаръ литературной и полемической борьбы между Шишковымъ и Карамзинистами, будучи членомъ Шишковскихъ собраний, а потомъ „Весѣды“, сдѣлалось въ первый разъ извѣстнымъ въ литературѣ шуточною эпико-комическою поэмою „Расхищенныя Шубы“, написанною довольно легкими стихами и не безъ одушевленной веселости. Такихъ пародій на эпическія поэмы писалось довольно въ XVIII вѣкѣ. Въ началѣ нашего вѣка появленіе ихъ у насъ, какъ и настоящей поэмы Шаховскаго объясняется вообще бѣдностью литературнаго содержанія. Содержаніе поэмы высказывается въ заглавіи. Это шуточный рассказъ о происшествіи, бывшемъ въ нѣмецкомъ клубѣ вслѣдствіе ссоры старшинъ между собою. По своему содержанію, поэма эта могла быть только прочитана и забыта, но нѣкоторую долговѣчность ей придали находящіеся въ ней выходы Шаховскаго противъ Карамзинистовъ и пародированіе стиховъ В. Пушкина въ посланіи его къ Жуковскому, что, конечно, не могло понравиться противной партіи, которая мстила за себя также эпиграммами и насмѣшливыми намеками на Шаховскаго въ своихъ стихотвореніяхъ. Въ эпиграммахъ князь Шаховскій сталъ называться „злымъ Гашпаромъ“, по имени главнаго дѣйствующаго лица его поэмы, но общее его названіе было обыкновенно Шutowской.

Еще болѣе нерасположенія къ себѣ возбудилъ Шаховскій своею комедіею „Новый Стернь“ (1805 г), въ которой онъ старался осмѣять не столько самого Карамзина, сколько малоталантливыхъ подражателей его чувствительности, именно родъ „сентиментальныхъ вояжеровъ“ и въ особенности князя Шаликова. Слабая сторона карамзинскаго направленія, даже вычурный слогъ писателей этой школы, ихъ любимыя выраженія осмѣяны были довольно удачно. Конечно, въ сентиментальности, господствовавшей тогда въ литературѣ, былъ

дальнѣйшій шагъ въ развитіи гуманности, общество дѣлало нравственный успѣхъ и съ этой точки зрѣнія и защищались совершенно справедливо Карамзинисты, но здравый смыслъ не могъ не видѣть въ немъ и слабыхъ сторонъ.

Полемика послѣдователей Карамзина съ Шишковымъ прекратилась на время войны и великихъ событій, слѣдовавшихъ за 1812 годомъ, когда самъ основатель „Бесѣды“, первый врагъ Карамзина былъ занятъ не тѣмъ. Но она неминуемо должна была возобновиться снова, такъ какъ порядокъ вещей остался все тотъ же и литературѣ не откуда было взять болѣе живое и глубокое содержаніе. Взаимные нападки продолжались, но остроуміе и настоящая насмѣшливость были на сторонѣ Карамзинистовъ, къ лагерю которыхъ невольно и естественно приставало все, что было талантливо и смотрѣло впередъ. Въ этомъ же лагерѣ появилось теперь два лица, получившія вдругъ большую извѣстность въ литературѣ: Батюшковъ и Жуковский, которые должны были скоро присоединить и свой голосъ къ прежней полемикѣ, потому что и образованіе ихъ и литературные вкусы — дѣлали ихъ сторонниками реформы, произведенной Карамзинимъ. Мы познакомились уже съ тѣми горячими нападками, которые въ дружескихъ письмахъ высказывалъ Батюшковъ на счетъ Шишкова и членовъ тогдашней Россійской Академіи. Въ его „Видѣніи на берегахъ Леты“ Шишковъ съ своею свитою игралъ главную роль. Конечно во всемъ этомъ не высказывалось полной приверженности къ манерѣ Карамзина, надъ преувеличеніями которой Батюшковъ смѣялся довольно зло, но за то очевидно было, что онъ вовсе не былъ на сторонѣ „Бесѣды“. Съ другой стороны и Жуковский, до своего пріѣзда въ Петербургъ и до распространенія своей славы, воспитанный вмѣстѣ съ сторонниками Карамзина—Блудовымъ, Дашковымъ, А. Тургеневымъ, и самъ привыкшій смотрѣть съ глубокимъ уваженіемъ на главу и вводителя у насъ сентиментальнаго направленія, съ которымъ его собственная мечтательность была въ непосредственной связи, необходимо долженъ былъ пристать къ противникамъ Шишкова и смѣяться надъ членами „Бесѣды“ и ихъ сочиненіями. Онъ былъ соединенъ дружескими связями съ В. Пушкинымъ, который одновременно съ полемикою Дашкова въ журналѣ „Цвѣтникъ“ принялъ печатное участіе въ общемъ спорѣ своими двумя стихотвореніями „Посланіями“ (къ Жуковскому, 1810 г. и къ Дашкову—1811 года) и съ Вяземскимъ, зятемъ Карамзина, преслѣдовавшимъ враговъ его эпитаграммами; въ своихъ дружескихъ посланіяхъ онъ и самъ не отказывалъ себѣ дѣлать злыя выходки противъ враждебной партіи. Шишковъ и въ его воображеніи представлялся противникомъ всего новаго и бессмысленнымъ приверженцемъ старины. Въ шутовомъ посланіи

въ Воейкову, написанномъ имъ въ 1814 году въ Долбинѣ, Жуковскій, разсказывая свои литературные сны и изображая въ забавномъ видѣ всю старую литературную партію, дольше всего останавливается на Шишковѣ и на его членахъ „Бесѣды“:

„Зрѣлъ въ ночи, какъ въ высотѣ,
Кто-то грозный и унылый,
Избоченясь на котѣ,
Ѣхалъ рысью — въ шуйцѣ вины,
А въ десницѣ грозный Икѣ.
По-славянски котъ мяукалъ,
А внимающій старикъ,
Въ тактъ съ усмѣшкой Икомъ стучалъ!“ ¹⁾

Царнасъ забавно представленъ въ русскомъ вкусѣ и въ русской обстановкѣ:

„Фебъ въ ужасныхъ рукавицахъ,
Въ русской шапкѣ и котакъ,
Кичивъ на его сестрицахъ (т.-е. музахъ)!“

Амуры—въ стихарахъ, хариты—въ черевикахъ; рядомъ съ старикомъ въ овчинѣ (т.-е. Шишковымъ) стоитъ Вкусъ съ бѣльмомъ, Фебъ играетъ въ гудокъ, а Мельпомена и Купидонъ пляшутъ голубца... Въ престолу старика... „подошли стихотворцы для присяги (все изъ „Бесѣды“):

Тѣ подъ мышками несли
Расписныя съ квасомъ флаги;
Тотъ тащилъ кису морщинъ,
Тотъ прабабушкину мушку,
Тотъ старинныхъ словъ кувшинъ,
Тотъ кавыкъ и юсовъ кружку,
Тотъ перину изъ бородъ,
Древле бритыхъ въ Петроградѣ,
Тотъ славянскій переводъ
Басенъ Дмитрева въ окладѣ.
Всѣ возрѣвъ на старину,
Персты въ верхъ и ставши рядомъ,
„Брань и смерть Карамзину!“
Грянули, свервая взглядомъ.
„Зубы грѣшнику порвемъ;
Осраимъ хребетъ строитивый,
Задъ во утро избьемъ,
Намъ обиды сотворивый!“ ²⁾

¹⁾ Русск. Арх. 1864 г. стр. 920.

²⁾ Ibidem, стр. 919—922.

Насмѣшки эти доходили разумѣется до тѣхъ, къ кому онѣ относились и безъ сомнѣнія возбуждали въ врагахъ ненависть къ насмѣшнику.

Самое направленіе Жуковскаго въ поэзіи, которое принесло ему извѣстность, — мечтательность и такъ называемый романтизмъ не могли нравиться тѣмъ, которые нападали уже на Карамзина. Они справедливо видѣли въ Жуковскомъ не только сторонника Карамзина, но и продолжателя его направленія. Для друзей же своихъ Жуковскій сдѣлался новымъ кумиромъ, и они поклонялись ему.

Въ то время, когда Жуковскій, послѣ чрезвычайнаго успѣха своего „Пѣвца въ станѣ“ и патриотическаго „Посланія къ императору Александру“, явился окруженный извѣстностію въ Петербургѣ, вызванный друзьями для придворной карьеры и обласканный дворомъ, у него было много тайныхъ и явныхъ враговъ. Жуковскій по внѣшнему виду и по характеру своего обращенія представлялъ изъ себя чрезвычайно скромную, даже запуганную натуру. Къ ней шло мечтательное содержаніе его поэзіи, и все это невольно вызывало насмѣшку въ тѣхъ, которые смѣялись надъ чувствительностію Карамзина. Самый злой ударъ нанесъ князь Шаховской въ своей комедіи „Урокъ кокеткамъ или Липецкія Воды“ (1815 г.), написанной и поставленной на сцену въ то самое время, когда Жуковскій наслаждался первою своею славою въ Петербургѣ. Поэтъ выставленъ въ смѣшной, хотя нѣсколько утрированной, какъ всякая пародія, фигурѣ жалкаго *балладника* Фіалкина, бесполезно ухаживающаго за петербургскою графиней — кокеткою и являющагося на сцену всегда со вздохами, стихами и гитарою за плечами. „Я выбралъ модный родъ балладъ“, говоритъ онъ графинѣ, желая прочесть посвященное ей свое стихотвореніе. Онъ даже поетъ на сценѣ балладу, очень напоминающую „Ахилла“ Жуковскаго и по размѣру и по выраженіямъ. Довольно близко изложено и то, что нужно автору, по понятіямъ Карамзина и Жуковскаго. Для поэта мало таланта, воображенія, познаній:

„Въ немъ сердце быть должно, которо бъ изливало
Слезу горячую въ грудь друга своего;
Чтобы онъ чувствовалъ, чтобъ чувствовалъ—какъ бьется
Любовью вѣщее; чтобы въ природѣ всей
Онъ видѣлъ милую, чтобъ жилъ одною ей,
Чтобъ тонкій вкусъ имѣлъ...
Чтобъ въ скромной хижинѣ вмѣщалъ онъ цѣлый міръ;
И утро бы ему наивно улыбалось,
И веселилъ его одной природы пиръ“...

Баллады, родъ поэтическихъ произведеній, введенный въ нашу

поэзію Жуковскимъ, были жестоко осмѣяны. Фіалкинъ говоритъ про баллады:

„Ими я свой нѣжный вкусъ питаю;
И полночь и пѣтухъ, и звонъ костей въ гробахъ,
И чу! все страшно въ нихъ, но милымъ все пріятно,
Все восхитительно, хотя невѣроятно“...

„И въ сказкахъ тоже гиль“—говоритъ на это слуга Семень. Это нападеніе было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ.

Содержаніе новой комедіи Шаховскаго, примѣчательной, какъ многія изъ его драматическихъ произведеній и по языку и по характерамъ лицъ и по сценическому искусству, вѣроятно, было извѣстно въ литературныхъ кружкахъ. И Жуковский и друзья его рѣшились встрѣтить ударъ противника, какъ рыцари, лицомъ къ лицу. Вигель, въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ рассказываетъ, что всѣ они собрались въ театръ на первое представленіе, что положеніе Жуковскаго было весьма незавидно ¹⁾. Онъ старался казаться равнодушнымъ. Въ письмѣ къ роднымъ тогда же онъ пишетъ: „Здѣсь есть авторъ князь Шаховской. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И овъ поэтому не охотникъ до меня. Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились... Теперь страшная война на Парнасъ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и всѣ молчали—городъ раздѣлился на двѣ партіи, и французскія волненія забыты при шумѣ парнасской бури“ ²⁾...

ЛЕКЦІЯ XIV.

Возникновеніе и занятія Арзамаса.—Члены его.

Комедія князя Шаховскаго „Липецкія Воды или урочъ кокеткамъ“, въ которой довольно остроумно, хотя и преувеличенно, задѣта была личность Жуковскаго и его баллады, произвела въ 1815 году, за неимѣніемъ другою, болѣе живого и дѣйствительнаго содержанія, цѣлую литературную бурю. Друзья Жуковскаго взяли себѣ отомстить за оскорбленнаго поэта, и личность комика въ свою очередь подверглась ихъ нападеніямъ. Такъ, князь Вяземскій въ одномъ изъ тогдашнихъ петербургскихъ журналовъ ³⁾ въ статьѣ подъ названіемъ: „Письмо съ Липецкихъ водъ“, рассказавши скучное, по мнѣнію автора, со-

¹⁾ Русск. Вѣстникъ, т. LIV, стр. 172—173.

²⁾ Русск. Арх. 1864 г., стр. 894.

³⁾ *Россійскій Музеумъ*, 1815 года, № 12, стр. 257—265.

держаніе комедіи князя Шаховскаго, подъ очень прозрачными намеками рисуетъ даже наружность комика, какъ лицо, пріѣхавшее вмѣстѣ съ прочими на воды, его плѣшивый лобъ, его толстую фигуру и глумится надъ его литературными трудами и надъ тѣмъ обществомъ писателей, къ которому онъ принадлежалъ, т.-е. „Бесѣдою“, называя ихъ гагарами. Дашковъ также написалъ статью, подъ названіемъ „Письмо къ новѣйшему Аристофану“¹⁾, гдѣ онъ на Шаховскаго вводитъ общее обвиненіе въ зависти къ литературнымъ успѣхамъ и къ талантамъ, говоритъ, что эта зависть погубила Озерова, что Шаховской, по своему вліянію на управленіе театромъ, заставляетъ всего чаще играть свои пьесы и мѣшаетъ успѣху другихъ²⁾. Множество эпиграммъ посыпалось тогда на Шаховскаго, какъ водится въ этихъ случаяхъ, и остроумныхъ и пошлыхъ; нашлись и защитники у него. Даже молодой Пушкинъ, который не оставлялъ еще тогда Лицея, принялъ, вѣроятно, по существовавшимъ уже у него тогда литературнымъ связямъ съ Жуковскимъ и друзьями его, участіе въ этой чернильной войнѣ, но впоследствии совершенно благоразумно отказался отъ этого увлеченія и раскаялся въ задорѣ³⁾.

Какъ бы то ни было, но изъ этой полемики, болѣе личной, чѣмъ общей, очевидно, что комедія Шаховскаго имѣла большой успѣхъ на сценѣ и давалась въ теченіе многихъ лѣтъ, хотя и потомъ возбуждала постоянно неблагопріятные отзывы молодыхъ литераторовъ⁴⁾. Друзья Жуковскаго даже, кажется, принудили Шаховскаго извиниться публично передъ оскорбленнымъ поэтомъ⁵⁾. Но Шаховской все-таки остался побѣдителемъ: публика была на его сторонѣ и наполняла театръ, когда давались „Липецкія воды“. „Бесѣда“ торжествовала.

Друзья Карамзина и Жуковскаго и сторонники новаго литературнаго направленія видѣли, что противники ихъ представляютъ компактное общество и дѣйствуютъ соединенными силами, въ которыхъ больше значенія, чѣмъ въ единичныхъ усиліяхъ. Тогда образовался „Арзамасъ“, названіе котораго произошло отъ шуточной статьи Блудова, которая не была напечатана: „Видѣніе во градѣ“; она была написана въ подражаніе пьесы аббата Мореле *La Vision*, направленной противъ комедіи Палиссо *Les philosophes*, гдѣ послѣдній осмѣивалъ личности и мнѣнія энциклопедистовъ. Вигель рассказываетъ, что Блудовъ ѣздилъ въ Оренбургскую губернію для полученія

¹⁾ *Сынъ Отеч.* 1815 г., № 42, стр. 140 и сл.

²⁾ *Долгиновъ*, „Библ. Зап.“ XIX, *Современникъ* 1856 г., № 7, стр. 11—15.

³⁾ *П. Анненковъ*. Матеріалы для біогр. Пушкина, т. I, стр. 22—23 и 56.

⁴⁾ *А. Бестужевъ*, въ *Сынѣ Отеч.* 1819, № 6, стр. 252—273.

⁵⁾ *Вяземскій*, „Мнѣніе посторонняго“. *Сынъ Отеч.* 1815 г., № 46, стр. 35.

наслѣдства и по дорогѣ, въ Арзамасѣ, гдѣ онъ остановился въ какомъ-то трактирѣ, въ смежной съ нимъ комнатѣ, собралось нѣсколько людей, и ему показалось, что они разсуждаютъ о литературѣ. Воспоминаніе объ этихъ разсужденіяхъ, конечно, забавныхъ, Арзамасскихъ, послужило содержаніемъ статьи. Она была написана библейскимъ слогомъ. Главное дѣйствующее лицо въ ней былъ князь Шаховской, разсказывающій въ магнетическомъ снѣ свои забавныя видѣнія о томъ, что происходило въ пустой залѣ дома Державина, т.-е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ собирались члены „Бесѣды“. Сочиненіе это быстро распространилось и разумѣется дошло по адресу, особенно при существованіи и въ обществѣ литераторовъ, какъ и вездѣ, сплетниковъ. Оно, вѣроятно, и дало названіе обществу друзей Карамзина и Жуковского. Усиленію въ немъ вражды къ Шаховскому послужила еще смерть Озерова въ сумашествіи, которое объяснили интригами противъ него Шаховского.

Весьма дѣятельнымъ лицомъ въ этомъ начинавшемся походѣ противъ представителей старой литературной партіи, несмотря на свои спеціальныя занятія и высокое тогда положеніе въ обществѣ, оказался Уваровъ, который и безъ того былъ близокъ съ карамзинистами. Онъ также былъ немного задѣтъ въ комедіи Шаховскаго и имѣлъ право считать себя обиженнымъ. При томъ, ему хотѣлось и здѣсь первенствовать. Онъ и сдѣлалъ начало. Въ его домѣ было первое засѣданіе общества, собравшееся по его приглашенію и состоявшее изъ немногихъ сначала членовъ — въ октябрѣ 1815 года. На немъ составленъ былъ уставъ общества, не писанный, но сохранявшійся въ памяти; уставъ этотъ, въ противоположность уставамъ многихъ существовавшихъ въ ту пору литературныхъ обществъ и въ столицахъ и въ провинціи, отличался шутствомъ и скорѣе походилъ на ихъ пародію. Прочія общества были утверждены властію; это, напротивъ, составляло свободное соединеніе людей, имѣвшихъ цѣлю позабавиться на счетъ литературныхъ своихъ противниковъ. Въ шутѣ и пародіи самое дѣятельное участіе принялъ Жуковский. Онъ придумывалъ забавные параграфы устава и онъ же былъ чаще всего избираемъ въ секретари. По словамъ друзей его, онъ „какъ бы нарочно сотворенъ для сего званія“ ¹⁾. Жуковский говорилъ, что „арзамасская критика должна ѣхать верхомъ на галиматьѣ“ ²⁾, — это уже даетъ понятіе о характерѣ засѣданій дружескаго общества. Сохранился даже одинъ протоколъ засѣданія Арзамаса, написанный Жуковскимъ стихами, размѣромъ гекзаметра, по это было одно изъ послѣднихъ засѣданій ³⁾.

¹⁾ Дашковъ, Русск. Арх. 1866 г., стр. 499.

²⁾ Ibidem, стр. 500.

³⁾ Русск. Арх., 1868 г., стр. 830—838.

Другимъ, чаще прочихъ избираемымъ секретаремъ Арзамаса былъ главный виновникъ его Блудовъ. Что касается до предсѣдателя, то онъ выбирался по жребію въ каждое собраніе и не былъ безсмѣннымъ. Чаще всего имъ бывали Уваровъ и Блудовъ, въ квартирахъ которыхъ, какъ людей женатыхъ, и собирались члены. Для поступленія въ члены Арзамаса, требовались: рекомендація одного изъ принятыхъ уже членовъ, знакомства въ этомъ кружкѣ и, вѣроятно, главнымъ образомъ, литературный талантъ и убѣжденія, противоположныя „Бесѣдѣ“. Число членовъ увеличивалось постепенно; Лонгиновъ въ статьѣ своей объ этомъ обществѣ насчитываетъ ихъ 19 дѣйствительныхъ и 5 почетныхъ. Всѣ они принадлежали къ поклонникамъ Карамзина и Жуковского, къ среднему поколѣнію того времени, но между ними не было ни одного, который бы принадлежалъ къ болѣе молодому поколѣнію умовъ либеральныхъ, мечтавшихъ о преобразованіяхъ и о политической дѣятельности. Послѣдніе, правда, выступившіе нѣсколько позднѣе, не нашли бы предмета для своего вниманія въ собраніяхъ Арзамаса, которыя по характеру и по направленію всѣхъ своихъ членовъ, были совершенно чужды политическихъ тенденцій. Повидимому, Арзамасцы сознательно избѣгали послѣднихъ и занимались невинною пародіею и шутками. Самымъ младшимъ членомъ между Арзамасцами былъ А. С. Пушкинъ, принятый въ сообраніе по рекомендаціи Жуковского, тогда уже оцѣнившаго талантъ, и потому еще, что онъ былъ роднымъ племянникомъ В. Л. Пушкина, который носилъ названіе „старосты Арзамаса“. Впрочемъ, онъ успѣлъ уже и тогда напечатать много стиховъ, написанныхъ имъ въ Лицеѣ, и свою вступительную рѣчь въ собраніи Арзамаса онъ произнесъ также стихами. Всѣ члены Арзамаса носили имена, заимствованныя изъ балладъ Жуковского. Самъ онъ, напр., назывался Свѣтланой, Блудовъ—Кассандрой, Дашковъ—чу! Уваровъ—старушкою и пр.

Арзамасское общество было пародіею на ученныя академіи, на другія литературныя общества того времени, имѣвшія опредѣленный уставъ, пожалуй, какъ сообщаетъ Вигель, и на масонскія ложи и тайныя политическія общества, въ то время уже образовавшіяся. Изъ членовъ Арзамаса, Орловъ Михаилъ и Тургеневъ Николай перешли въ послѣднія, вѣроятно, сознавая всю бесплодность и однообразіе пародіи. Ближайшею цѣлю пародіи и насмѣшливыхъ выходовъ была Шипковская „Бесѣда“ и ея члены. Принято было, чтобы каждый новый членъ выбиралъ для первой рѣчи своей, какъ это заведено въ академіи французской, научныя и литературныя заслуги своего покойнаго предшественника, но такъ какъ въ Арзамасѣ всѣ члены были налицо и не умирали, то брали *живыхъ покойниковъ* „Бесѣды“ или Россійской Академіи „заимобразно и на прокатъ“ и говорили

ямъ похвальныя надгробныя рѣчи, разумѣтся, въ насмѣшливомъ родѣ. Такъ Жуковскій говорилъ подобную рѣчь въ честь Хвостова, и современники были въ восторгѣ отъ его юмора. Какъ пародія тайныхъ обществъ, были введены въ Арзамасъ и испытанія и отбираніе клятвеннаго обѣщанія со стороны вступающаго. Собраніе, полное шутокъ и веселости, потому что людямъ этимъ не было надъ чѣмъ задумываться (всѣ они были люди со средствами, часто даже очень большими, или имѣли на службѣ прекрасное содержаніе) обыкновенно оканчивалось хорошимъ ужиномъ, на которомъ непременно требовался жаренный гусь, представитель города Арзамаса, славящагося этими птицами. Ясно, что все дѣло ограничивалось шуткою. „Съ каждымъ засѣданіемъ общество становилось веселѣе, рассказываетъ современникъ, за каждой шуткою слѣдовала новая, на каждое острое слово отвѣчало другое. Съ какою цѣлію составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, съ тѣмъ, чтобы проводить время пріятнымъ образомъ и про себя смѣяться глупостямъ человѣческимъ. Не совсѣмъ прошелъ еще вѣкъ, въ который молодые люди, какъ умныя дѣти, отъ души умѣли смѣяться, но конецъ его уже близился“¹⁾. Современникъ, повидимому, жалѣетъ объ этомъ „доброю старомъ времени“, но онъ забываетъ, что эта беззабѣтная веселость тогдашнихъ людей происходила отъ пустоты жизни и дѣятельности. Самая веселая пародія, прочитанная въ собраніи Арзамаса, принадлежала Батюшкову. Намъ неизвѣстно, впрочемъ, какъ смотрѣлъ на нее Жуковскій, ибо это было пародія на его любимое и прославленное произведеніе „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“. Пародія называлась „Пѣвецъ въ бесѣдѣ Славянороссовъ“ и заключала въ себѣ обычную насмѣшку надъ Бесѣдою“. Ея куплеты, впрочемъ, не всѣ извѣстны²⁾. Остроуміе пародіи заключалось и въ томъ, что Батюшковъ подсмѣялся и надъ пафосомъ Жуковскаго. Его „Пѣвецъ“ въ Бесѣдѣ говоритъ, напр., такимъ образомъ:

„Сей кубокъ чадамъ древнихъ лѣтъ!
Вамъ слава, наши дѣды!
Друзья! уже покойныхъ нѣтъ
Пѣвцовъ среди бесѣды.
Ихъ вирши сгнали въ кладовыхъ
Иль съѣдены мышами,
Иль продаютъ на рынкѣ въ нихъ
Салакушку съ сельдями.
Но духъ отцовъ воскресъ въ сынахъ:

¹⁾ Вигель, Русск. Вѣстникъ, ч. LIV, стр. 177.

²⁾ Ловгиновъ, Библ. Зап. Современн. 1856 г., № 5.

Мы всё для славы дышемъ,
Равно здѣсь, въ прозѣ и стихахъ,
Какъ Тредьяковскій, пишемъ*.

Или слѣдующее мѣсто, гдѣ пародируются извѣстные стихи Жуковского о родинѣ:

Друзья! большой бокалъ отцовъ
За лавку Глазунова!
Тамъ царство вѣчное стиховъ
Шахматова лихова.
Роднаго крова милый свѣтъ,
Знакомые подвалы,
Златая игры первыхъ гѣтъ—
Невинны мадригалы.
Что вашу прелесть замѣнить?
О, лавка дорогая!
Какое сердце не дрожить,
Тебя благославляя?“

и проч.

Но шутка, какъ ни бываетъ она остроумною, подъ конецъ надѣдаетъ, какъ сладкое блюдо пріѣдается и дѣлается приторнымъ. Вѣроятно, для многихъ членовъ Арзамасскаго общества, истина эта скоро уяснилась, особенно, когда стали въ него вступать новые члены, приготовленные послѣднимъ развитіемъ общества, для которыхъ въ жизни не все казалось шуткою, и которые смотрѣли на литературу не какъ на одно только забавное препровожденіе времени. Арзамасъ естественно не могъ долго просуществовать на прежнихъ началахъ, но былъ ли онъ въ состояніи принять въ себя новыя начала и идти впередъ вмѣстѣ съ требованіями времени? Уже самъ Жуковский, уѣхавшій въ Дерптъ, вскорѣ послѣ открытія общества, писалъ оттуда Арзамасскимъ друзьямъ своимъ упреки за ихъ неподвижность въ оказаніи помощи несчастному писателю; слѣдовательно, онъ сознавалъ, что у общества могла быть и благотворительная цѣль. „Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ!—пишетъ онъ.—Хвастайте, хвастайте, голубчики!... Но, милые друзья! Надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу. Мещевскій въ Сибири, а вы, друзья, очень весело проживаете въ Петербургѣ! (Мещевскій—поэтъ, который, кажется, былъ товарищемъ по пансіону Жуковскому и Воейкову; онъ печаталъ свои стихотворенія съ 1809 года, но мы знаемъ изъ нихъ только одно—1817 года, приведенное Шишковымъ въ своихъ запискахъ ¹⁾ подъ названіемъ „Посланіе къ артельнымъ друзьямъ“; Шишковъ разбираетъ его, какъ призывъ къ революціи и ищетъ въ немъ указаній

¹⁾ II, стр. 266—267.

на тайное общество; это стихотвореніе выставляется однако за написанное человѣкомъ, уже четыре года умершимъ ¹⁾). За что онъ былъ сосланъ въ Сибирь также намъ неизвѣстно). Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество! Если-жъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это... что это? Я не знаю, какъ назвать это! На что-жъ намъ толковать о добрѣ, объ общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу стихахъ? На что смѣяться надъ Шаховскими... Какъ не взбѣситься, подумавъ, что десять человѣкъ добрыхъ, имѣющихъ чувство и дружныхъ между собою, не могутъ найти свободной минуты, чтобы подумать о судьбѣ несчастнаго человѣка, ожидающаго отъ нихъ помощи и можетъ быть спасенія?²⁾

Арзамасцы дѣлали, какъ кажется, сборъ для изданія въ 1817 г. какой-то поэмы этого Мещевского, но она не явилась въ печати и чѣмъ кончились хлопоты Жуковского—не знаемъ. Жуковский же, какъ кажется, въ 1817 году думалъ пригласить Арзамасцевъ къ составленію періодическаго изданія, но предлагаемый имъ планъ изданія представлялъ что-то въ родѣ альманаха, съ содержаніемъ исключительно литературнымъ, и изданіе не состоялось. Этотъ 1817 годъ былъ, какъ кажется, послѣднимъ въ существованіи самаго Арзамасскаго общества. Забава не могла долго продолжаться въ прежнемъ своемъ видѣ, тѣмъ болѣе, что еще въ 1816 году, со смертію Державина, прекратила свои собранія и враждебная Арзамасу „Бесѣда“. Арзамасъ необходимо долженъ былъ или уступить новымъ требованіямъ вѣка, которыя приносились въ него вновь завербованными членами, и тѣмъ отказаться отъ первоначальной, вовсе не серьезной цѣли своихъ собраний, или разойтись. При томъ большинство первоначальныхъ основателей Арзамаса, все болѣе и болѣе успѣвавшее въ государственной службѣ, давно перестало смотрѣть на литературу, какъ на свое призваніе; она была вовсе не дорога ему. Эти основатели Арзамаса приходили въ его собранія для отдохновенія, для остроумной забавы, а вовсе не изъ участія къ литературѣ. Самъ Жуковский, членъ самый дѣятельный, обезпеченный теперь пенсіономъ и получившій придворныя обязанности, на которыя онъ смотрѣлъ серьезно, сталъ писать гораздо меньше прежняго и рѣже являлся на собранія. Съ другой стороны всѣ эти первоначальные члены Арзамаса, люди высшаго общества, старались вводить въ него своихъ друзей, изъ которыхъ нѣкоторые не имѣли почти никакого понятія о русской литературѣ и нисколько не интересовались ею, живя очень долго по служебнымъ обязанностямъ за границею, какъ

¹⁾ Русск. Арх., 1868 г., стр. 938—939.

²⁾ Русск. Арх. 1867 г., стр. 511—513.

напр. два дипломата—Съверинъ и Полевина. Для нихъ, какъ и для другихъ, болѣе развитыхъ членовъ, плоскія шутки надъ В. Л. Пушкинымъ, который былъ въ Арзамасѣ чѣмъ-то въ родѣ шута, могли казаться вовсе не забавными. Новые члены, которыхъ, благодаря усиліямъ Жуковского, непрерывно прибывало, должны были поселить разладъ въ обществѣ. Кавелинъ, напр., впоследствии известный клеветникъ Магницкаго—человѣкъ, почти ничего не писавшій и принятый только потому, что былъ товарищемъ Жуковского въ пансіонѣ—что было общаго у него съ прежними членами Арзамаса? Но еще менѣе общаго можно было найти съ шутливыми тенденціями Арзамаса у новыхъ членовъ, которые были представителями тогдашней либеральной партіи, мечтавшей о реформахъ и практической дѣятельности. Подъ именемъ Варвика былъ введенъ въ общество меньшей изъ братьевъ Тургеневыхъ, Николай, тотъ самый, котораго постигла бы жестокая судьба послѣ 14 декабря, еслибъ его не спасло пребываніе во время катастрофы и слѣдствія за границею. Это былъ человѣкъ съ серьезнымъ закаломъ мысли, съ очень солиднымъ образованіемъ, полученнымъ имъ въ Геттингенскомъ университетѣ, направленнымъ болѣе къ вопросамъ экономическимъ и финансовымъ, что доказываетъ его считавшееся классическимъ сочиненіе „Опытъ теоріи налоговъ“¹⁾.

Въ теченіе всей долгой жизни Николая Тургенева, его любимомъ мечтою, которую онъ разрабатывалъ въ теоріи, было освобожденіе крестьянъ и планъ конституціоннаго устройства государства. Онъ учился въ Германіи въ то тяжелое время, когда она стонала подъ игомъ Наполеона и когда мечты объ освобожденіи отечества проникали во всѣ сколько-нибудь чувствующія головы, когда профессора съ кафедръ, несмотря на преслѣдованія французской полиціи, призывали молодежь къ патріотической борьбѣ за свободу, а студенты образовывали съ тою же цѣлью тайныя общества. Нѣсколько лѣтъ въ этой экзальтированной сферѣ, вдали отъ ничтожныхъ интересовъ русской жизни, должны были оказать сильное вліяніе на умъ и убѣжденія Тургенева, а сближеніе его съ великимъ прусскимъ патріотомъ, впоследствии знаменитымъ министромъ Пруссіи и настоящимъ основателемъ этого государства, Штейномъ, съ которымъ Тургеневъ познакомился въ Германіи и при которомъ состоялъ официально въ 1813 году, когда Штейнъ былъ въ Россіи, открыло ему широкіе горизонты современнаго политическаго міра. Въ качествѣ дипломатическаго чиновника онъ сопровождалъ русскую армію въ ея освободительномъ походѣ по Европѣ и воротился въ Россію съ могучими впечатлѣніями и съ планами преобразованій. Тургеневъ

¹⁾ Спб., 1818.

отличался сильнымъ характеромъ и упорною волею; онъ имѣлъ большое вліяніе на людей, умѣлъ подчинять ихъ себѣ и управлять ими. Не будь онъ замѣшанъ въ дѣло, Россія вѣрно имѣла бы въ немъ блестящаго государственнаго человѣка, который оставилъ бы глубокой слѣдъ въ ея исторіи. Вступивши въ общество Арзамаса, въ которомъ былъ уже членомъ его старшій братъ и гдѣ было у него много близкихъ людей, Николай Тургеневъ, конечно, долженъ былъ смотрѣть на Арзамасъ, какъ на пустую забаву и не могъ ожидать отъ него ничего серьезнаго, сколько нибудь соответствовавшаго его тайнымъ планамъ и надеждамъ. Ихъ осуществленія онъ искалъ потомъ, подобно другимъ, въ тайномъ обществѣ.

Другой новый членъ, вступившій въ Арзамасъ виѣстѣ съ Николаемъ Тургеневымъ и раздѣлявшій его убѣжденія, былъ блестящій гвардейскій полковникъ Михаилъ Орловъ; Это былъ любимецъ императора Александра, принимавшій уже довольно важное участіе въ событіяхъ нашего европейскаго похода, кончившагося взятіемъ Парижа. Въ Арзамасѣ его приняли подъ именемъ Рейна. Онъ былъ воспитанъ совершенно на европейскій ладъ, и мечталъ и о конституціонномъ устройствѣ, и о политической дѣятельности. Вступивъ въ Арзамасъ и найдя въ немъ довольно много талантливыхъ и, какъ казалось ему тогда, людей съ свободными убѣжденіями, Орловъ задумалъ придать этому безобидному и невинному обществу политическій характеръ. Вигель довольно подробно и какъ очевидецъ, рассказываетъ, какъ принялся Орловъ за осуществленіе своего плана ¹⁾. Его одушевленная рѣчь въ собраніи, бывшемъ на дачѣ Уварова, клонилась къ тому, чтобъ расширить число членовъ общества, чтобъ предоставить также каждому члену право заводить тамъ, гдѣ онъ живетъ, новое общество, которое подчинено было бы главному, находящемуся въ столицѣ; разумѣется, съ этимъ расширеніемъ общество теряло уже первоначальный характеръ свой; оно превращалось въ систему распространенія свободныхъ идей и должно было возбуждать и готовить общественное мнѣніе. Съ этою же цѣлью приготовления общественнаго мнѣнія, Орловъ предлагалъ издавать журналъ съ либеральнымъ направленіемъ. Но Орловъ ошибся; онъ не понималъ тѣхъ людей, къ которымъ обращался съ этими планами и естественно встрѣтилъ въ нихъ притиводѣйствіе. Его противникомъ явился Блудовъ, который не желалъ никакихъ преобразованій въ Арзамасѣ и упорно стоялъ за первоначальный характеръ этого общества, намекая даже на предосудительность, противозаконность намѣреній Орлова. „Когда вспомнишь это преніе, приба-

¹⁾ „Русск. Вѣстн.“, т. LV, стр. 204—206.

вляеть Вигель, кажется, что будущій жребій сихъ людей былъ написанъ въ ихъ рѣчахъ¹⁾. Въ самомъ дѣлѣ Блудовъ умеръ графомъ и всѣми уважаемымъ первымъ государственнымъ челоуѣкомъ Россіи, а Орловъ, котораго блестящая карьера была приостановлена въ 1826 году и который спасся отъ болѣе жестокой судьбы благодаря своему происхожденію, доживалъ дни свои въ Москвѣ, скучающій и больной. Неудача Орлова въ преобразованіи Арзамаса повела къ выходу его изъ членовъ. Съ этого засѣданія Арзамасъ сталъ быстро клониться къ упадку; его дни были сочтены. „Неистошная веселость скоро прискучила тѣмъ, у коихъ голова полна была замысловъ,— говоритъ современникъ; тѣмъ же, кои шутя хотѣли заниматься литературой, странно показалось вдругъ перейти отъ нея къ чисто политическимъ вопросамъ“²⁾. Само время и развивающееся общественное сознаніе должны были устранить Арзамасъ съ его шутивными литературными цѣлями, какъ это же время устранило рондо, триолеты, мадригалы и тому подобныя литературныя забавы.

Къ этому послѣднему времени существованія Арзамасскаго общества, когда въ немъ происходили толки о журналѣ и о необходимости дѣйствовать на общественное мнѣніе, вѣроятно, относится „протоколъ двадцатаго засѣданія въ Арзамасѣ“, написанный стихами Жуковскимъ³⁾. Несмотря на образы имъ введенные, которые тогда друзьямъ членамъ казались можетъ быть весьма остроумными, а теперь кажутся только пошлыми, напр., брюхо толстаго Тургенева, съ котораго „какъ Моисей съ горы Синая“, говоритъ свою рѣчь Блудовъ, прозванный Кассандрою, въ этомъ протоколѣ довольно опредѣленно выражается характеръ тогдашнихъ толковъ, а равно и бесплодіе, какъ видно уже надѣвшею всѣмъ шутки. По протоколу однако видно, что мысль о журналѣ первоначально принадлежала Тургеневу. Вотъ какъ излагаетъ ее Блудовъ, въ качествѣ секретаря:

„Полно тебѣ, Арзамасъ, слоняться бездѣльникомъ! Полно Намъ, какъ портнымъ, сидѣть на ваткѣ и шить на халдеевъ, Сгорбась, дурацкія шапки изъ пестрыхъ лоскутьевъ Бесѣдныхъ. Время проснуться!.. Время, время летить. Насъ доселѣ собирала безпечная шутка; Нѣсколько ясныхъ минутъ украла она у *безплодной* Жизни. Но что же? Ова ужъ устала, иль скоро устанетъ! *Смѣхъ безъ веселости* только кривлянье! Старья шутки — Старья дѣвьи! Время прошло, когда по слѣдамъ ихъ Рой обожателей мчался!..“

¹⁾ Ibidem.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Русск. Арх., 1868 г., стр. 829—838.

И ораторъ предсказываетъ такую же судьбу Арзамасу, если онъ останется при старой шуткѣ и не сочетается законнымъ бракомъ со славой, т.-е. не уступитъ новому времени и его требованіямъ. Повидимому, въ этой рѣчи высказывалась и необходимость расширенія общества для другой, лучшей и плодотворнѣйшей дѣятельности:

„О, Арзамасцы! Всѣ мы судьбу испытали. У всѣхъ насъ
Въ сердцахъ хранится добра и прекраснаго тайна. Но каждый,
Жизнью своей охлажденный, къ сей тайнѣ ужь вѣру теряетъ.
Въ каждомъ душа, какъ свѣтильникъ, горящій въ пустынь,
Свѣтъ одинокой окрестныя мглы не освѣтитъ. Напрасно
Намъ онъ горитъ; онъ лишь мрачность для нашихъ очей озаряетъ.
Что за отрада намъ знать, что гдѣ-то, въ такой же пустынь,
Также тускло и тщетно братскій пылаетъ свѣтильникъ?
Намъ отъ того не свѣтлѣе“.

И онъ взываетъ къ соединенію разрозненныхъ силъ въ одно цѣ-
лое. Превосходно рисуется безплодіе одиночныхъ усилій:

„Иной, самому себѣ незнакомецъ,
Полный жизни мертвецъ, себя и свой даръ загвоздившій въ гробъ,
Имъ самимъ сотворенный, бьется въ своемъ заточеньи:
Силень свой гробъ разложить, но силъ не вѣрять — и гибнуть.
Тотъ, великимъ желаньемъ волнуемый, силой богатый,
Радъ бы разлить по вселенной, въ сянъи-ль, въ пожаръ-ль, свой пламень,
Къ смѣлому дѣлу свываетъ дружину, но... голосъ въ пустынь.
Отзыва нѣтъ“...

Это голосъ дѣйствительности и чувствующихъ и мыслящихъ лю-
дей времени, когда было обмануто столько прекрасныхъ надеждъ,
когда

„Предъ нами во дни упованья
Жизнь необъятная, полная блеска, вдали разстилалась“...

И все покрылось туманомъ.

ЛЕКЦІЯ XV.

Намѣреніе арзамасцевъ издавать журналъ.—Милюновъ.

Судя по стихотворному протоколу этого послѣдняго Арзамасскаго
засѣданія, составленному Жуковскимъ, планъ будущаго журнала изло-
женъ былъ Михайломъ Орловымъ. Это былъ только общій планъ,
который въ протоколѣ называется воротами. На нихъ изъ звѣздъ
сіяла надпись: „Журналъ Арзамасскій“.

„За ними (воротами) кипѣли
Въ свѣтломъ хаосѣ призраки вѣковъ; какъ гиганты смотрѣли
Лица славныхъ изъ сей оживленныя тучи; надъ нею

Съ яркой вѣздой на главѣ гениемъ тихимъ неслоь,
Въ свѣжемъ гражданскомъ вѣнкѣ, божество: *Простыцете*
Къ грозной и мирной богинѣ: *Свободѣ*“.

Протоколь говорить, что по поводу этого предложенія были споры въ собраніи:

„Совѣщанье начали члены.
Приятно было послушать, какъ вмѣстѣ
Всѣ голоса слилися въ одну безтолковщину“.

Рѣшено было, быть Арзамасскому журналу. Могли ли, однако, члены этого по большей части шутиваго общества, каждый занятый своимъ дѣломъ, которое онъ считалъ гораздо важнѣе литературы, представляющей для него только минутную забаву, въ самомъ дѣлѣ издавать журналъ? На вопросъ этотъ приходится отвѣчать отрицательно. Немногіе изъ членовъ Арзамаса понимали настоящее значеніе журнала, какъ органа общественнаго развитія, какъ такое орудіе, которымъ создается общественное мнѣніе, но они очень хорошо понимали также, что журналъ съ подобнымъ направленіемъ и съ подобнымъ содержаніемъ, т.-е. въ европейскомъ смыслѣ этого слова, былъ невозможенъ въ то время въ Россіи, при характерѣ правительственной власти и при бессмысленной цензурѣ, которая тогда существовала. Большинство членовъ однако оставалось при старыхъ понятіяхъ; они не сходили съ точки зрѣнія Карамзина, слишкомъ общей, сентиментальной и неопредѣленной, и программа задумываемаго въ Арзамасѣ журнала, казалось, была повтореніемъ, только въ другихъ словахъ, программы Карамзинскаго „Вѣстника Европы“. Вотъ какъ одинъ изъ членовъ (А. Тургеневъ, тотъ самый, въ уста котораго Жуковскій влагаеть поэтическія рѣчи объ единеніи), говорилъ о содержаніи предполагаемаго журнала: „Я вижу ваше, наше будущее; я вижу Арзамасъ въ величественномъ собраніи. Онъ опредѣляетъ образъ занятій, общій для всѣхъ, но разнovidный, какъ различны вкусы и таланты. Единство и разнообразіе—вотъ девизъ Арзамаса и журнала его; единство въ правилахъ, ибо всѣ арзамасцы горятъ любовью къ добру и изящному... Все принадлежитъ намъ, пока можетъ принадлежать словесности и—не заблуждайтесь, друзья мои!—литератору открыто не тѣсное поле. Его область—мысли и чувства, а въ нихъ—мы сказали—весь нравственный міръ, и работа его есть не безплодная побѣда надъ трудностью. Нѣтъ! Нѣтъ! Кто объясняетъ и умножаетъ понятія, кто дѣйствуетъ на сердца умиленіемъ и восторгомъ, тотъ исправляетъ природу въ человѣкѣ, тотъ полезенъ не одному народу, не одному поколѣнію и такую да будетъ судьба Арзамаса... Наше скромное правило: *истина* и *справедливость* въ карти-

нахъ и сужденіяхъ, цѣль — удовольствіе современниковъ, и, можетъ быть, польза потомства“... Едва ли на этихъ неопредѣленныхъ и нѣсколько туманныхъ фразахъ можно было основать программу журнала? За журналъ брались и о журналѣ толковали въ Арзамасскихъ собраніяхъ, безъ сомнѣнія, подъ вліяніемъ убѣжденія, что собранія эти становились съ каждымъ днемъ безцвѣтнѣе и однообразнѣе, что нужно было создать себѣ какое-нибудь дѣло, но для журнальной цѣли едва ли были и способны эти члены Арзамаса, взысканные въ жизни счастіемъ и только забавлявшіеся литературой? Арзамасъ не могъ продолжать свое существованіе дальше на прежнихъ началахъ; онъ былъ живъ, когда была жива „Бесѣда“, и умеръ вмѣстѣ съ нею. Его призваніе—была борьба съ старыми литературными преданіями, съ представителями отживающаго поколѣнія литераторовъ, которые, не имѣя таланта, поддерживали всѣми способами эти старыя преданія. Какъ только сошли со сцены эти лица, новое должно было восторжествовать; борьба становилась ненужною. Но Арзамасъ въ дватри года своего существованія успѣлъ однако пережить самого себя. Онъ понималъ, что вокругъ него, воспитаннаго мыслью и талантомъ Карамзина, зарождалось что то новое, чего онъ порядочно и не понималъ и чему онъ никакимъ образомъ не могъ сочувствовать. Рано ли поздно—этому новому было предоставлено будущее, и Арзамасъ въ пору разошелся подъ разтѣдающимъ вліяніемъ времени. По своему интимному, исключительному характеру, по своей замкнутости, Арзамасъ не могъ имѣть вліянія на общество. Его настоящее мѣсто—въ литературныхъ преданіяхъ... Но для участвовавшихъ въ немъ онъ представлялъ самую дорогія воспоминанія.

Лица, принадлежавшія къ обществу Арзамаса, были или высоко-даровитыя натуры, съ признаннымъ всѣми талантомъ или любители-дилетанты, обладающіе и наслѣдственными средствами къ жизни и общественными связями и такимъ выгоднымъ положеніемъ въ службѣ, что имъ ничего не стоило бросить для нея свои временныя занятія поэзіей и вообще литературнымъ дѣломъ. Это общество имѣло аристократическій характеръ; не даромъ же они сами себя въ шутку называли „ихъ превосходительства генія Арзамаса“. Но какъ жили и къ чему стремились другіе люди, не осыпанные, подобно „геніямъ Арзамаса“, дарами фортуны и вмѣстѣ съ тѣмъ принадлежавшіе также къ литературѣ, писавшіе много и стихами и прозой, преимущественно стихами? Какое значеніе имѣло для нихъ литературное дѣло; было ли оно ихъ настоящимъ призваніемъ или тоже совершалось между другимъ, болѣе важнымъ жизненнымъ дѣломъ? А такихъ людей было много. Мы уже говорили, что въ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, съ конца прошлаго вѣка, господствовало пре-

имуущественно литературное образованіе, причеъ обращалось большое вниманіе на искусство выражать свои мысли и писать стихами и прозой. Едва ли не каждый студентъ нашихъ университетовъ въ десятихъ годахъ писалъ стихи, хотя послѣдніе не были ни потребностью души его, ни выраженіемъ его пониманія дѣйствительности. Вышняя фактура стиховъ была усвоена и писать можно было о чемъ угодно: поэзія была раздѣлена на извѣстные теоретическіе роды и виды; условія каждаго, требованія каждаго были заравѣ опредѣлены строго теоріей, и поэту стоило только присѣсть, чтобъ въ готовые уже рамки ввести болѣе или менѣе удачно придуманное имъ содержаніе. Отъ этого въ ту пору расплодилось у насъ такое множество поэтовъ во всѣхъ вѣдомствахъ. Надобно замѣтить, что литературные труды открывали молодому человѣку путь въ службѣ и способствовали нѣкоторымъ образомъ успѣхамъ въ ней, на что было много достаточныхъ причинъ. Съ примѣра императрицъ Елисаветы и Екатерины, въ нашемъ обществѣ господствовала покровительственная система по отношенію къ литературѣ; въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы, она была еще въ значительной силѣ. Поэты еще подносили свои стихотворенія лицамъ знатнымъ и высокимъ, писали въ стихахъ о гражданскихъ заслугахъ своихъ начальниковъ, прославляли ихъ доблести и т. п. Прдержавшія власти смотрѣли снисходительно на подобную невинную литературу, даже поощряли ее наградами и повышеніемъ по службѣ. Съ другой стороны и новыя преобразованія вызывали отчасти избытіе литературныхъ талантовъ; именно въ это время Сперанскій въ своихъ реформахъ администраціи и вообще чиновничьяго міра требовалъ отъ вновь поступающихъ на службу образованія и свѣдѣній; ему хотѣлось истребить, вывести столько лѣтъ существовавшее „крапивное сѣмя“, существованіе котораго обусловливалось невѣжествомъ. Человѣкъ, окончившій курсъ въ тогдашнемъ университетѣ, очень скоро и охотно принимался на службу въ Петербургѣ, если онъ успѣлъ написать какое-нибудь, хоть даже плохонькое стихотвореніе, басню, идиллію или похвальное слово. Административныя реформы Сперанскаго требовали чиновниковъ, умѣющихъ излагать ясно и правильно свои мысли на бумагѣ; чего же лучше, если попался юноша, пишущій стихи, что считалось тогда труднымъ дѣломъ и вотъ стихи составляли юношѣ служебную карьеру. Случалось, что даже грубые, необразованные генералы обращали вниманіе на литературный талантъ молодого человѣка и приглашали его къ себѣ на службу, зная, что онъ напишетъ хорошимъ слогомъ, ясно и правильно, что требовалось въ тѣхъ высшихъ сферахъ власти, куда пойдетъ эта бумага. Только впоследствии, когда разлетѣлись всѣ эти иллюзіи Александровскаго времени и въ житейскихъ отношеніяхъ стала господство-

вать проза, на поэтовъ-чиновниковъ распространился другой, совершенно противоположный взглядъ: ихъ почти перестали терпѣть на службѣ. Но въ описываемое время произведеніи ихъ наполняли тогдашніе жалкіе журналы и газеты, они считались дюжинами, но изъ множества именъ ихъ немногіе, весьма немногіе, развѣ только для характеристики времени могутъ быть упомянуты въ исторіи.

Поэтомъ называли и какъ поэта помѣщали обыкновенно въ исторію русской литературы *Милонова*, дѣятельность котораго относится именно къ описываемому нами времени. Современники, но не тѣ, которые принадлежали къ Арзамасу, смотрѣли на него, какъ на настоящаго поэта и чрезвычайно уважали талантъ его. У него было довольно друзей въ литературныхъ кружкахъ, которые очень любили его и по поводу ранней смерти Милонова высказывали искреннее сожалѣніе о томъ, что обстоятельства его кратковременной жизни, „назначили слишкомъ ограниченныя предѣлы его дѣйствіямъ“ ¹⁾. „Дружба была кумиромъ души его“ ²⁾, говорятъ эти современники, но довольно ли дружбы для того, чтобъ получить названіе настоящаго поэта? Милонова обыкновенно причисляютъ къ нашимъ сатирическимъ поэтамъ. „Онъ привыкъ быть грозой порока, — говорили скоро послѣ смерти его, — и не можетъ говорить о немъ мало или равнодушно“ ³⁾. Такое мнѣніе основано на томъ, что Милоновъ написалъ шесть сатиръ; всѣ онѣ суть только подражанія и отчасти передѣлки; но тогда находили, что онѣ передѣланы на наши нравы и видѣли въ нихъ черты современности. Такой взглядъ происходилъ отъ господства классической теоріи; на русскую словесность смотрѣли съ ея точки зрѣнія; мѣсто сатирика было вакантно и его предоставили Милонову. Въ сатирахъ Милоновъ является передъ нами человекомъ съ честнымъ характеромъ и умомъ, но едва ли найдемъ въ его сатирахъ живое негодованіе на современность, ту „злону дня“, которая составляетъ достоинство настоящаго сатирика. Всѣ они скорѣе похожи на безцвѣтныя общія мѣста. „Къ Рубеллію“, сатира, написанная въ подражаніе Персію ⁴⁾, говорятъ, намекаетъ на Аракчеева. Но какое дѣло послѣднему, что когда-то въ Римѣ былъ

„Царя коварный льстецъ, вельможа напыщенный,
Въ сердечной глубинѣ таящій злону ядъ,
Не доблестями души—пронырствомъ вознесенный“...

¹⁾ Благонамѣренный, 1821 г. XVI, стр. 207.

²⁾ Ibidem, стр. 212

³⁾ Ibidem, стр. 233.

⁴⁾ Соч., изд. Смирдина, стр. 15—18.

Подобныя явленія встрѣчались въ исторіи миллионы разъ и будутъ еще встрѣчаться; могъ ли Аракчеевъ принять слова эти на свой счетъ? Содержаніе второй сатиры „Къ Луказію“ ¹⁾, гдѣ Милоновъ говоритъ о множествѣ современныхъ риетворцевъ и, разумѣется, смѣется надъ ними, было уже достаточно исчерпано сатирою Дмитріева и представляетъ только слабое подражаніе ему. Можетъ быть современники находили и здѣсь указанія на дѣйствительныя лица, но всѣ эти Валдусы, Вралевы, Бавин, Мидасы, Мевин и пр. были отвлеченными только аллегоріями и дѣлали сатиру Милонова весьма невинною. Что литературное покровительство было тогда въ нравахъ и существовало по прежнему, можно заключить изъ слѣдующихъ стиховъ Милонова:

„Съ огромною своей поэмою спѣши
Въ домъ Клита, и ему усердно припиши:
Онъ знатный господинъ, талантовъ покровитель,
И просвѣщенія въ отечествѣ ревнитель.
Страницей лести лишь пожертвуй — и твой трудъ
На счетъ его казны тисненью предадутъ!
Лишь книга добрая явится въ свѣтъ не смѣть“... ²⁾

Какъ и прежде, во время Дмитріева, было и теперь множество поэтовъ:

„У насъ кто захотѣлъ — въ поэты записался,
Хоть новый рекрутъ сей съ грамматикой не знался,
Нѣтъ нужды до того! отвага, дерзость, лести,
Невѣждъ и подлецовъ нерѣдко вводятъ въ чести!“ ³⁾

Но всѣ эти черты были высказываемы много разъ и многими. Это блѣдныя образы. При томъ самъ Милоновъ, какъ впрочемъ и всѣ сатирики, очень хорошо понималъ всю бесполезность этого ремесла.

„Сатира для людей худое наставленіе“...

— говоритъ онъ:

„Исправишь ли порокъ насмѣшкою одною?
Стихи-ль подѣйствуютъ надъ звѣрскою душою?“... ⁴⁾

Другіе предметы сатиры Милонова, напр. „На модныхъ болтуновъ“, „На женитьбу въ большомъ свѣтѣ“ — были еще безобиднѣе. Нѣтъ, тутъ нѣтъ ни русскихъ нравовъ, ни очерковъ современности, и сатирикомъ Милоновъ сдѣлался потому, что въ пятникахъ, по которымъ

¹⁾ Ibidem, стр. 23—29.

²⁾ Ibidem, стр. 24—25.

³⁾ Ibidem, стр. 25.

⁴⁾ Къ моему разсудку (сатира третья), стр. 42.

онъ усердно учился, стояла рубрика: Сатира. Онъ и взялся за этотъ родъ, не имѣя къ нему вовсе призванія.

Выразилось ли въ стихахъ Милонова какое-нибудь личное чувство, ему принадлежащее? И на это надобно отвѣчать отрицательно. Въ его стихотвореніяхъ отражалась общая чувствительность, начало которой было положено Карамзинимъ, и Милоновъ весьма рѣдко могъ отдѣлаться отъ нея. Милоновъ подражалъ или переводилъ. Образцами ему были преимущественно мелкіе французскіе поэты того времени. Лучшими подражаніями его могутъ назваться пьесы: „Паденіе листьевъ“ изъ Мильвуа, которой подражалъ и Батюшковъ и которую мастерски перевелъ потомъ Баратынскій, и „Бѣдный Поэтъ“ изъ Сень-Жильбера, самое удачное подражаніе его, потому что въ участіи французскаго поэта Милоновъ находилъ много общаго со своимъ. Есть у него переводы изъ Шиллера — доказательство, что онъ зналъ нѣмецкій языкъ, но его „Къ юности“, какъ онъ озаглавилъ извѣстную пьесу Шиллера „Die Ideale“—еще слабѣе слабаго перевода этого стихотворенія, сдѣланнаго Жуковскимъ. Большое стихотвореніе его „Монастырь“ ¹⁾ есть очевидное подражаніе „Сельскому Кладбищу“ Жуковского. Болѣе задушевнымъ чувствомъ проникнуто стихотвореніе Милонова „Къ сестрѣ моей“ ²⁾, гдѣ онъ жалуется на судьбу свою и на погибшую молодость. Все остальное не стоитъ упоминанія. Талантъ Милонова былъ невеликъ и не разнообразенъ; не будь теоріи, съ которою онъ познакомился въ школѣ, не получи онъ общаго литературнаго образованія, о вліяніи котораго мы уже говорили, едва ли бы сталъ онъ писать стихи и воображать себя поэтомъ, а былъ бы простымъ и честнымъ дѣльцомъ-чиновникомъ. Разладъ, сознаваемый имъ между своимъ поэтическимъ талантомъ и дѣйствительностію, кажется и былъ причиною его житейскихъ неудачъ и ранней смерти, о которой жалѣли его друзья.

Милоновъ, Михайлъ Васильевичъ, родился въ 1792 году въ Задонскомъ уѣздѣ Воронежской губерніи въ деревнѣ своего отца. Объ этой степной родинѣ Милоновъ вспоминалъ иногда въ стихахъ своихъ, писанныхъ среди невзгодъ петербургской служебной карьеры. Онъ мечталъ кончить жизнь свою на родныхъ берегахъ Дона ³⁾, быть похороненнымъ въ монастырѣ, „среди обители отцовъ“ ⁴⁾. Онъ вспоминалъ о томъ времени, когда съ любимою сестрою онъ шелъ

„На брегъ высокій и крутой,
Гдѣ Донъ, вспоившій насъ, свѣтлѣетъ,

¹⁾ Сочиненія, стр. 80—83.

²⁾ Ibidem, стр. 67—69.

³⁾ „Къ Н. О. Г. у“.

⁴⁾ „Ночь на могилѣ друга“.

Раствявъ широко зыби водъ,
Гдѣ жатвой нива богатѣеть,
Родныхъ полей обильный плодъ!“¹⁾

Учился Милоновъ въ благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, гдѣ кончилъ въ 1809 году курсъ со степенью кандидата. Товарищи его были Грамматинъ, Мещевскій, Родзянко, Петинъ— всѣ писавшіе стихи. Первый, бывший самымъ близкимъ другомъ Милонова, въ перепискѣ съ которымъ сохранилось нѣсколько біографическихкихъ свѣдѣній о Милоновѣ, занялся-было усердно литературою; въ 1809 году онъ издалъ „Разсужденіе о древней русской словесности“, а въ 1811 году первую часть собранія своихъ сочиненій, подъ названіемъ „Досуги“, но потомъ бросилъ литературное дѣло и поселился безвыѣздно въ деревнѣ, занимаясь только хозяйствомъ. Всѣ эти молодые люди своею любовью къ словесности и общимъ стремленіемъ къ авторству обязаны были урокамъ профессора Мерзлякова.

По окончаніи курса Милоновъ, который еще въ пансіонѣ сталъ печатать стихи свои въ „Утренней Зарѣ“ и „Вѣстникѣ Европы“, долженъ былъ служить и по желанію отца своего и потому, что у него не было другихъ средствъ для жизни. Съ этою цѣлію онъ и поѣхалъ въ Петербургъ въ томъ же 1809 году. Какъ кончившему курсъ въ университетѣ, и съ отличіемъ, Милонову было легко найти службу, но нелегко было ему со своимъ исключительно литературнымъ образованіемъ и съ претензіями на поэтическое призваніе, примириться съ нею. Разладъ съ дѣйствительностію сказался тотчасъ же. Милоновъ началъ свою службу въ какой-то экспедиціи министерства внутреннихъ дѣлъ и уже на первыхъ порахъ сталъ на нее жаловаться: „Я попрежнему хожу въ экспедицію, и счастливые дни, въ которые въ ней не бываю—весьма рѣдки. Братецъ твой открылъ недавно самую неоспоримую истину, „что служба дѣлаетъ людей пустыми и безсмысленными“—пишетъ Милоновъ къ Грамматину²⁾. Служба производила на него отталкивающее впечатлѣніе; сидѣть каждый день „между привазною челядью“ кажется Милонову убійственнымъ бездѣліемъ, „терять самое драгоцѣнное и лучшее въ жизни время“. Необходимость служить онъ называетъ „проклятыми предразсудками“. Департаментъ кажется ему „ненавистнымъ“, дежурство въ немъ „адскимъ“³⁾. Служба для Милонова была невыносима и производила на него самое тягостное впечатлѣніе. „Рѣдкій день проходитъ, чтобы не было непріятностей, — пишетъ онъ къ Грамматину, — и я часъ отъ часу

¹⁾ „Къ сестрѣ моей“.

²⁾ Библиогр. Записки, II, стр. 289.

³⁾ Ibidem, стр. 289—292.

деревенѣю. За всякій вдоръ оглушаются уши отъ брани. Что дѣлать! Если уже судьба не даетъ жить, то доживать надобно“ ¹⁾. Сослуживцевъ своихъ Милоновъ называетъ „мерзавцами“ и говорить, что онъ отстиралъ имъ въ своихъ стихахъ, которые, безъ сомнѣнія, остались только въ рукописи. Неудовольствія служебныя не прекратились и тогда, когда онъ, кажется по рекомендаціи Дашкова, поступилъ на службу къ И. И. Дмитріеву, бывшему тогда министромъ юстиціи и знавшему его еще въ Москвѣ, какъ писателя. Это видно изъ того, что Милоновъ скоро поссорился съ Дашковымъ изъ-за чего-то и, встрѣчаясь съ нимъ на службѣ, не кланялся ему. Онъ говоритъ, что ему противно видѣть „его обезображенную надменностью харю“ ²⁾. Когда послѣ московскаго пожара, на Дмитріева, уже вышедшаго тогда въ отставку, возложено было раздавать пособія пострадавшимъ жителямъ, онъ взялъ къ себѣ въ правители канцеляріи этого комитета—Милонова. Передъ этимъ, въ 1812 году, Милоновъ, слѣдуя общему чувству, взялъ-было отпускъ и хотѣлъ поступить въ военную службу, считая, что „это необходимо для безопасности“ ³⁾, но воротился въ Петербургъ. Въ московской комиссіи служба его продолжалась не долго; онъ вышелъ въ отставку въ 1815 году. Года черезъ три Милоновъ снова пріѣхалъ на службу въ Петербургъ; Дмитріевъ и Жуковскій принимали въ немъ и теперь участіе, и при ихъ посредствѣ въ концѣ 1819 года онъ поступилъ въ департаментъ духовныхъ исповѣданій, гдѣ директоромъ былъ А. Тургеневъ. Тогда же онъ издалъ свои стихотворенія. Но и въ этой службѣ Милоновъ оставался очень не долго. Тургеневъ опредѣлилъ его къ себѣ изъ сожалѣнія, но принужденъ былъ скоро прогнать его. Тогда поступилъ Милоновъ еще разъ и въ послѣдній къ генераль-провіантмейстеру Абакумову, который обходился съ нимъ не какъ начальникъ съ подчиненнымъ, а какъ отецъ съ сыномъ. „Человѣкъ простой и добрый, безъ дальнихъ обѣщаній сдѣлалъ для меня больше, чѣмъ всѣ прежніе мои начальники, покровители, меценаты словесности, не исключая высокопревосходительнаго И. И. Дмитріева“ ⁴⁾. Здѣсь служилъ Милоновъ недолго, однако уже не по своей винѣ. Онъ умеръ въ октябрѣ 1821 года.

Причина этихъ служебныхъ неудачъ заключалась не въ неуживчивости Милонова. По временамъ онъ очень здраво и разумно смотрѣлъ на свои служебныя обязанности. „Съ службою своею поми-

¹⁾ Ibidem, стр. 302.

²⁾ Ibidem, стр. 301.

³⁾ Ibidem, стр. 298.

⁴⁾ Ibidem, стр. 303.

рился, писать онъ въ Грамматику, потому что пересталъ искать въ ней химерныхъ отличій, а должно нести ее, какъ вещь полезную и нужную въ обществѣ. Нѣкоторыя неудовольствія и непріятности, въ ней встрѣчаемы, переношу съ возможнымъ равнодушіемъ и хладнокровіемъ, почитая сіи качества настоящею мудростію жизни, въ которой необходимо должны быть разнообразія“¹⁾). Причина, которая мѣшала службѣ Милонова, несмотря на всю необходимость служить, и дѣлала въ ней такіе большіе перерывы, заключалась въ несчастной страсти къ вину. Милоновъ былъ горькій пьяница. Онъ самъ сознается, что любитъ выпить лишнюю чарку и за нею объятія жриць Венеринныхъ²⁾). Пьянство и развратъ были причиною его болѣзней, служебныхъ неудачъ и наконецъ смерти. „Онъ умеръ отъ невольнаго, — пишетъ о немъ хорошо и давно его знавшій Е. А. Измайловъ, — за два только часа передъ смертію, какъ пришелъ священникъ исповѣдывать его и приобщать, пересталъ онъ пить“. По свидѣтельству Измайлова, Милоновъ сдѣлался пьяницею еще въ училищѣ. Нѣсколько разъ онъ допивался до сумашествія, до религіозной мавни, „только молился да пилъ“,—говоритъ Измайловъ. Увѣщанія друзей и самыхъ близкихъ родныхъ на него не дѣйствовали³⁾). Такова была несчастная судьба этого человѣка, сдѣлавшагося поэтомъ случайно, только потому, что онъ получилъ исключительно литературное образованіе и привыкъ еще въ училищѣ писать стихи, не имѣя никакихъ положительныхъ знаній. Современники видѣли въ элегическомъ настроеніи нѣкоторыхъ стихотвореній Милонова отголоски его жизни. „Онъ страдаетъ,—говоритъ одинъ критикъ того времени,—отъ жизни, въ которой нѣтъ того, чего онъ искалъ“⁴⁾). Это можно сказать развѣ объ общемъ направленіи, но самыя его стихотворенія были или переводы или подражанія. Какъ версификаторъ по слогу и выраженію, Милоновъ стоитъ ниже современниковъ своихъ, Ватюшкова и Жуковского; онъ второстепенный поэтъ и его относительная извѣстность зависѣла отъ бѣдности нашей литературы.

Милоновъ не могъ принадлежать къ литературному кружку Арзамаса ни по таланту своему, ни по общественному положенію, ни, наконецъ, по беспорядочному образу своей жизни. У него однако былъ свой кружокъ литературный, даже цѣлое общество людей, занимавшихся словесностію и въ особенности поэзіей, общество, которое подъ разными названіями существовало съ самаго начала царствованія

¹⁾ Ibidem, стр. 294.

²⁾ Ibidem, стр. 291.

³⁾ Русск. Арх. 1871 г., стр. 967—968.

⁴⁾ Плетневъ, Соревнователь просв. 1822 г. XVII, стр. 45.

Александра и издавало даже свои журналы. И Милоновъ участвовалъ своими стихами въ этихъ журналахъ: „С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ“ и „Соревнователѣ Просвѣщенія“. Впрочемъ онъ считалъ небольшою честью быть членомъ этого общества: „Меня выбираютъ членомъ здѣшняго Императорскаго общества любителей наукъ и словесности,—писать онъ къ Грамматину,—хотя оно и пустое, но все лучше быть его членомъ, нежели засѣдателемъ какого-нибудь нижняго суда“¹⁾. Не прошло и двухъ лѣтъ, какъ Милоновъ вышелъ изъ него неизвѣстно по какой причинѣ, и говорилъ, что хорошо сдѣлалъ. Изъ литераторовъ, кромѣ молодыхъ, совершенно неизвѣстныхъ, которыхъ стишки канули въ Лету, Милоновъ былъ знакомъ съ Измайловымъ, Воейковымъ и съ сыномъ извѣстнаго Радищева, который тоже писалъ. Онъ и жилъ, слѣдовательно, въ обществѣ второстепенныхъ литераторовъ. Намъ неизвѣстенъ даже образъ мыслей Милонова, его взгляды, то, чѣмъ онъ интересовался. Едва ли онъ интересовался многимъ. Пріятель просилъ его о сообщеніи новыхъ политическихъ извѣстій и Милоновъ отвѣчаетъ ему слогомъ Брюсова Календаря: „Политическія вѣсти такъ непріятны, что и писать объ нихъ больно: все еще войны, новые короли, наши сосѣди, отклоненіе мира; не желалъ бы этого и слышать“²⁾. Положимъ, что это шутка, но всѣ письма Милонова свидѣтельствуютъ, что его ничто не интересовало, кромѣ самого себя...

Если Милонову поэтическій талантъ и умѣнье писать стихи не доставили дальнѣйшаго хода по служебной карьерѣ, въ чемъ онъ самъ былъ виноватъ, то были и такіе писатели, которые именно стихами составляли себѣ первоначальную служебную карьеру и выигрывали въ ней, несмотря на то, что ихъ поэтическій талантъ былъ вполнѣ чуждъ жизни и дѣйствительности и также, какъ у Милонова, образовался только вслѣдствіе исключительнаго литературнаго образованія и усерднаго изученія теоріи. Въ примѣръ этого можно привести В. И. Панаева, который извѣстенъ былъ въ двадцатыхъ годахъ въ качествѣ идилика, какъ Милоновъ слылъ сатирикомъ. Его довольно любопытныя „Воспоминанія“, напечатанныя послѣ смерти его, позволяютъ познакомиться подробно съ типомъ подобнаго рода поэта. Панаевъ родился въ Тетюшахъ, Казанской губерніи, въ 1792 году. Отецъ его принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ людей XVIII вѣка; бывалъ въ кругу Новикова и въ дружескихъ отношеніяхъ ко всѣмъ замѣчательнымъ людямъ этого общества и ко многимъ профессорамъ Московскаго университета, хотя самъ не

¹⁾ Библиогр. Зап., II, стр. 296.

²⁾ Ibidem, стр. 293.

учился тамъ. По женѣ онъ сдѣлался родственникомъ Державина и черезъ него познакомился съ петербургскими литераторами. Когда онъ былъ прокуроромъ въ Перми, то въ народномъ училищѣ этого города отыскалъ даровитаго мальчика, пишущаго стихи и доставилъ ему возможность получить дальнѣйшее образованіе и извѣстность подъ именемъ профессора Мерзлякова. Отецъ Панаева, впрочемъ, умеръ, когда сыну его, идиллику, было только четыре года.

ЛЕКЦІЯ XVI.

В. И. Панаевъ. — Казанское общество любителей отечественной словесности. — „Идиллія“ Панаева.

Панаевъ учился въ Казанской гимназіи. И здѣсь исключительно господствовало литературное образованіе, такъ что, будучи еще мальчикомъ, онъ сталъ писать стихи. Въ университетѣ это направленіе еще болѣе укрѣпилось. Университетъ не давалъ тогда никакихъ положительныхъ знаній, а одно только общее образованіе. „Все свободное время отъ классовъ и забавъ посвящали мы сужденіямъ о предметахъ высокихъ или изящныхъ, — говоритъ Панаевъ: — подвиги героевъ, черты самоотверженія, торжество добродѣтели, творенія великихъ писателей и поэтовъ. — вотъ что составляло преимущественно предметъ нашихъ разговоровъ, нашихъ помысленій, наполняло сердца ваши и души...“¹⁾ Другое любимое занятіе Панаева и его товарищей-студентовъ было собираніе растений, бабочекъ, букашекъ. Строго научной дѣли и тутъ не было, хотя таково было тогда направленіе естественныхъ наукъ въ Казанскомъ университетѣ. Все это располагало молодого человѣка къ идиллическому настроенію. Къ этому нужно присоединить сентиментальное направленіе, господствовавшее тогда въ литературѣ, которое развивало мечтательность и приторную чувствительность. Чтеніе Карамзина и переводныхъ сентиментальныхъ журналовъ Лафонтена, Жанлисъ было любимымъ чтеніемъ. Панаевъ самъ рассказываетъ, какъ подъ вліяніемъ такихъ произведеній возникла его первая платоническая любовь къ дочери профессора Яковина и какъ, вслѣдствіе ея, увеличилась склонность его къ поэзіи и сочувствіе къ природѣ. Тогда онъ сталъ писать *идилліи*. Но еще болѣе расположило Панаева къ этому неестественному роду

¹⁾ Вѣстн. Европы 1867 г., III, стр. 220—221.

поэзии существовавшее тогда въ Казанскомъ, какъ и въ другихъ университетахъ нашихъ, „общество любителей отечественной словесности“.

Общество это, которое вполне отвѣчало духу и направленію того времени и выражало собою стремленіе къ общенію, къ единенію силъ, которымъ было проникнуто все время царствованія Александра, образовалось скоро, на другой годъ существованія молодого университета. Тогда оно не было еще утверждено, но зато собиралось часто и работало на первыхъ порахъ больше, чѣмъ въ послѣдующіе официальные годы своей жизни, не смотря на весьма ограниченное число своихъ первыхъ сочленовъ, которыхъ тогда было всего пять членовъ. Въ числѣ этихъ пятерыхъ были и старшіе братья Панаева. Аксаковъ, какъ видно изъ его „Хроники“, былъ также въ ихъ числѣ и тогда уже получилъ любовь къ литературѣ ¹⁾.

Общество это приостановилось было въ своей закрытой дѣятельности во время отечественной войны, хотя съ 1811 года при университетѣ стали издаваться „Казанскія Извѣстія“, выходившія еженедѣльно и заключавшія въ себѣ и литературныя статьи, даже отчасти сатирическаго содержанія. Въ 1814 году послѣдовало преобразование университета и тогда же полученъ былъ отъ министра народнаго просвѣщенія уставъ общества, который давно былъ посланъ на утвержденіе, въ болѣе расширенномъ видѣ, такъ что въ немъ уже могли принимать участіе не одни только члены университета или гимназій, а и лица постороннія. Въ декабрѣ этого года было торжественное собраніе общества, которое привлекло въ университетскую залу много постороннихъ слушателей и на которомъ Панаевъ читалъ свое „Похвальное слово императору Александру“, отзывавшееся общимъ восторгомъ того времени. Въ отчетѣ секретаря общества и въ историческомъ обзорѣни его дѣйствій съ самаго начала до времени официально утвержденного устава перечисляются занятія общества, высчитываются всѣ засѣданія его и сколько въ какомъ году было прочитано сочиненій, но не говорится, въ чемъ они состояли, хотя и можно составить о нихъ представленіе по содержанію первой и единственной книги „Трудовъ Казанскаго общества любителей отечественной словесности“ ²⁾. Самый характеръ общества хорошо выражается въ слѣдующихъ словахъ секретаря его: „Хотя общество наше и не принесло еще особенной пользы для публики, однако же оно многихъ любителей словесности соединяя дружественно бесѣдовать о своихъ

¹⁾ Изд. 1870 г., стр. 284.

²⁾ Казань 1815—17 гг.

занятіяхъ; чрезъ то возбуждало въ нихъ большую любовь къ изящному и непрямѣтно содѣйствовало къ распространенію *правильнаго и лучшаго вкуса*, равномерно поощряло нѣкоторыхъ молодыхъ людей къ дальнѣйшему себя усовершенію и старалось не быть бесполезнымъ для высшаго ученаго мѣста, при коемъ находится“¹⁾.

Общество это, какъ видно изъ словъ его секретаря Кондырева, задавалось въ то время разнообразными цѣлями, изъ которыхъ главною было сближеніе университета съ публикою и развитіе „въ согражданахъ любви къ учености“.

Кругъ собственныхъ занятій общества любителей отечественной словесности былъ очерченъ очень широко; въ него входило и то, что не предоставлено было по уставу даже Россійской Академіи, т.-е. „ислѣдованіе россійскаго языка и касательно россійской грамматики, истолкованіе сослововъ или синонимовъ, значеній разныхъ словъ, изобрѣтеніе техническихъ терминовъ, переводы и разборъ твореній классическихъ древнихъ и новыхъ писателей, критическій разборъ примѣчательнѣйшихъ сочиненій, извѣстій о таковыхъ твореніяхъ, о знаменитыхъ писателяхъ, свѣдѣніи по части исторіи словесности нашей и иностранной, въ разсужденіи обществъ словесности (?), отечественная и часто чужеземная исторія, изслѣдованіе касательно древностей и изящныхъ искусствъ, славенскій языкъ и славенская словесность вообще“²⁾. Изъ этого видно, какъ много научныхъ цѣлей, которыя были бы въ пору и по силамъ любой академіи, брало на себя общество любителей россійской словесности въ Казани. Къ сожалѣнію, однако, уровень науки въ немъ самою былъ довольно низокъ, а въ окружающемъ его обществѣ еще ниже, такъ что оно нѣсколько лѣтъ могло пробавляться тѣми пустячками, которые напечатаны въ первой книгѣ его трудовъ. Когда поднялась выше наука въ нашемъ отечествѣ, когда нѣсколько поняли ея настоящее значеніе и содержаніе, широкія цѣли, которыми задавалось казанское общество, оказались только претензіями.

Кромѣ этихъ общихъ цѣлей Казанское общество словесности мечтало и о специальныхъ; оно сознавало свое географическое положеніе и думало воспользоваться имъ для этнографическихъ изслѣдованій, самыхъ разнообразныхъ и широкихъ. „Мы живемъ между многими иноплеменными народами,—говорилось въ рѣчи секретаря,—въ древнемъ татарскомъ царствѣ, въ виду бывшей древней болгарской столицы. Татары, Чуваши, Черемисы, Мордва, Вотяки, Зыряне окружаютъ насъ. Армяне, Персіане, Башкирцы, Калмыки, Бухарцы и Китайцы

¹⁾ „Труды“ стр. 38.

²⁾ Ibidem, стр. 44.

ближе къ намъ, нежели къ другимъ обществамъ. Мы удобнѣе можемъ имѣть касательно языка или и словесности ихъ сношеніа и изъ онаго дѣлать употребленіе. Какъ полезно собирать различныя пѣсни сихъ народовъ, сказанія, записки, повѣсти, книги, надписи и т. п., и все сіе еще весьма ново. Въ Астрахани можно познакомиться болѣе съ древностями кавказскихъ горъ, съ грузинскою, армянскою и персидскою словесностью; въ Оренбургѣ — съ Бухарою и Хивою; въ Иркутскѣ и Троицко-Савской крѣпости — съ китайскою словесностью; въ первомъ городѣ — съ бурятскими и другихъ народовъ памятниками. Составленіе словарей сихъ языковъ, филологическое изслѣдованіе ихъ также не бесполезно¹⁾. Выполненіе даже сотой доли этихъ широкихъ цѣлей было совершенно не по силамъ Казанскому обществу словесности. Съ его стороны это были только *ria desideria*, фразы безъ содержанія, никогда не получавшія осуществленія, такъ какъ общество не имѣло даже понятія о тѣхъ трудностяхъ и о тѣхъ требованіяхъ, которыя соединялись съ научными вопросами, такъ легко имъ выдвинутыми. Потому понятно, что главнымъ предметомъ занятій Казанскаго общества по необходимости должна была быть отечественная словесность, которою пробавлялись и другія современныя столичныя общества.

„Отечественная словесность, — говорится въ этомъ отчетѣ, — есть весьма важный предметъ не для одной народной образованности, но и для нравственности“²⁾. Она ставится въ связь съ патриотизмомъ и авторъ въ особенности призываетъ къ занятію отечественной словесностью россиянокъ, образованіе которыхъ разумѣется было ничтожно. Общество приглашало быть членами и любителей, которые ничего не печатали еще и не рѣшались печатать своихъ произведеній. Имъ оно предлагало дружескій судъ, безпристрастную критику, которая „необходима для улучшенія таковыхъ умопроизведеній“. Но въ особенности общество хлопотало о молодыхъ людяхъ „съ дарованіями по части словесности отличными: часто, какъ прекрасный цвѣтокъ въ пустынѣ, дарованія сіи увядаютъ въ неизвѣстности“³⁾. Общество желало „цвѣтки сіи пересаживать въ свой садъ и воспитывать“. Тѣ же почти самыя мысли, но гораздо подробнѣе, повторялъ въ своей рѣчи „О вліяніи словесности *въ* нравственное образованіе человѣка“ адъюнктъ философіи Срезневскій, читавшій послѣ секретаря въ торжественномъ собраніи Казанскаго общества въ томъ же 1814 году. Замѣтимъ, что соединеніе слова *вліаніе* съ предлогомъ *въ* сдѣлано

¹⁾ Ibidem, стр. 45.

²⁾ Ibidem, стр. 47.

³⁾ Ibidem, стр. 47.

было имъ согласно требованіямъ Шишкова, хотя самое содержаніе рѣчи напоминаетъ неизбѣжныя тогда для всѣхъ Карамзинскія понятія. „Добродѣтель есть *единственная цѣль* всѣхъ произведеній истинно изящной словесности“ ¹⁾, говоритъ онъ. Науки словесныя способствуютъ нравственному образованію человѣка — вотъ тезисъ, доказываемый исторією всѣхъ тогдашнихъ обществъ словесности, въ которой отражалось еще общее стремленіе къ гуманности въ предшествовавшую эпоху, когда словомъ думали поправить всякое зло, даже общественное. И Казанское общество, не смотря на свои этнографическія стремленія, могло остаться только на эстетической точкѣ зрѣнія. Торжественное собраніе общества, гдѣ прочитанъ былъ уставъ, рѣчь Срезневскаго и исторія общества, посвящено было исключительно Александру I, которому читались и оды и похвальное слово. Это было въ духѣ времени и императоръ, въ блескѣ тогдашней славы, былъ на устахъ у каждаго. Тогда еще можно было хвалить его либеральныя реформы... Послѣ того было еще нѣсколько засѣданій Казанскаго общества; одно изъ нихъ было посвящено памяти Державина, когда было получено извѣстіе о его смерти.

Въ литературѣ, однако, это общество замѣло себя немногимъ. Оно издало только одну книжку „трудовъ“ своихъ и на томъ покончило. Разсматривая эту книжку, составленную изъ статей мѣстныхъ членовъ и немногихъ писателей, завербованныхъ обществомъ въ свои сочлены изъ петербургскихъ литераторовъ, напр. графа Хвостова, Капниста, Войкова, Анастасевича, мы видимъ, что общество осталось вѣрно своей эстетической или теоретической цѣли и взгляду на нравственное содержаніе словесности. Мы встрѣчаемъ здѣсь тѣ же общія разсужденія по словесности, напр. „Опытъ о средствахъ плѣнять воображеніе“ — В. Перевощикова или „О словесности“ — Анастасевича. Все остальное, кромѣ разбора синонимовъ или сослововъ русскаго языка, чѣмъ любили заниматься и общества словесности того времени и Россійская Академія, составляло стихотворную часть, распределенную по рубрикамъ теоріи. Тутъ были и оды, и отрывки дидактическихъ поэмъ, и идилліи, и сатиры, и посланія, и басни, и пѣсни. Все это было, конечно, не выше посредственности; мѣстные литераторы обрадовались случаю увидѣть свои произведенія въ печати, но все это, однако, свидѣтельствовало и о потребности духовной жизни въ нашей провинціи и выражало общія стремленія времени къ образованію. На Казанскомъ обществѣ, на его цѣляхъ, планахъ и намѣреніяхъ, отразилась лучшая пора царствованія Александра, хотя, конечно, въ слишкомъ слабой степени, согласно условіямъ провинціальной жизни.

¹⁾ Ibidem, стр. 67.

Долго, однакожь, на прежнихъ основаніяхъ не могло существовать Казанское общество.—оно должно было бы уступить необходимому появленію и развитію научныхъ цѣлей, но въ дѣйствительности оно прекратилось и измѣнилось въ общество, не имѣвшее ничего общаго съ литературою подъ гнетомъ вскорѣ наступившей реакціи ¹⁾).

Панаевъ своею первою литературною извѣстностію обязанъ былъ этому обществу родного города. Его литературный талантъ не былъ потребностію для него необходимою, а развился, какъ и у Милонова, вслѣдствіе усерднаго занятія теоріей поэзіи и, конечно, чтенія такъ называемыхъ тогда образцовыхъ сочиненій въ разныхъ родахъ. Безъ сомнѣнія, на эти занятія и на любовь къ литературнымъ упражненіямъ долженъ былъ имѣть большое вліяніе также и профессоръ русской словесности въ университетѣ.

Панаевъ, мы сказали, читалъ на торжественномъ собраніи Казанскаго общества любителей словесности „Похвальное слово императору Александру“. Чтеніе это вызвало особенныя похвалы пріѣхавшаго въ Казань важнаго генерала Желтухина, который пригласилъ его къ себѣ въ адъютанты и послалъ сочиненіе къ разнымъ высокимъ лицамъ въ Петербургъ. Но опредѣленіе въ военную службу Панаева не состоялось. Онъ поѣхалъ въ Петербургъ. Конечно, онъ не могъ жить только для одной литературы, которая не давала ни чиновъ, ни почестей, а все русское общество ставило высоко одно служебное честолюбіе. И оно сдѣлалось цѣлью стремленій Панаева. Но между служебными обязанностями онъ занимался, однако, и литературою, которая въ свою очередь служила ему, при существованіи покровительственной системы. Весьма любопытный эпизодъ въ его „Воспоминаніяхъ“ представляетъ описаніе его перваго знакомства съ Державиннымъ, который приходился ему дальнимъ родственникомъ. Въ домѣ дяди своего Страхова Панаевъ привыкъ къ глубокому уваженію къ „казанскому барду“; Казанское общество любителей словесности носило съ этимъ именемъ въ теченіе многихъ лѣтъ; первыя свои идилліи, чистенько переписанныя, Панаевъ при почтительномъ письмѣ послалъ въ Петербургъ къ Державину и удостоился получить отъ него отвѣтъ, въ которомъ онъ одобрилъ стихотворныя попытки Панаева въ идиллическомъ родѣ; называлъ талантъ его прекраснымъ, но давалъ и наставленія, которыя рисуютъ передъ нами доброе старое время и тотъ господствовавшій въ немъ взглядъ на литературное произведеніе, по которому оно являлось чѣмъ-то механическимъ. „Совѣтую дружески не торопиться,—писалъ Державинъ,—вычищать хорошенько слоги, тѣмъ паче когда онъ въ свободныхъ (т.-е. безъ римовъ)

¹⁾ Н. Поповъ, Русск. Вѣстникъ, XXIII, стр. 52—98.

стихахъ заключается. Въ семь родѣ у насъ мало писано. Возьмите образцы съ древнихъ, если вы знаете греческій и латинскій языки, а ежели въ нихъ неискусны, то нѣмецкія Геснера могутъ вамъ послужить достаточнымъ примѣромъ въ описаніи природы и невинности нравовъ. Хотя климатъ нашъ суровъ, но и въ немъ можно найти красоты и въ физикѣ и въ морали, которыя могутъ тронуть сердце¹⁾. Изъ писемъ Державина, изъ объясненія самого Панаева въ его предисловіи къ „Идилліямъ“²⁾, видно, что главное дѣло въ этомъ поэтическомъ родѣ заключалось въ „невинности нравовъ“. Это требованіе удаляло идиллію вполне отъ современности, и сцена дѣйствія переносилась въ золотой вѣкъ человѣчества, въ поля Аркадіи и Сициліи; главнымъ содержаніемъ ихъ была чувствительность сердца. Отчего нельзя переселить идилліи въ наши времена? — спрашиваетъ Панаевъ. „Тогда она совершенно бы лишилась своего достоинства, — отвѣчаетъ онъ, — даже правдоподобія, а писатель увидѣлъ бы себя въ самомъ затруднительномъ положеніи. Извѣстно, каковы нынѣшніе пастухи и земледѣльцы: продолжительное рабство сдѣлало ихъ грубыми и лукавыми. Такими ли привыкли воображать счастливыхъ обитателей Аркадіи?“³⁾

Письмо Державина съ теоретическими наставленіями въ поэзіи къ молодому университетскому кандидату произвело чрезвычайный эффектъ. Нечего и говорить, что авторъ „цѣлую зимнюю ночь не могъ сомкнуть глазъ отъ пріятнаго волненія“, но „и самый университетъ принялъ въ томъ участіе, профессора, товарищи, всѣ поздравляли“ счастливица. „Такъ цѣнили тогда великихъ писателей, людей государственныхъ!“ — прибавляетъ отъ себя Панаевъ въ поученіе непочтительному потомству⁴⁾. Любопытно въ „Воспоминаніяхъ“ Панаева то мѣсто, гдѣ онъ описываетъ свое первое представленіе Державину и какъ онъ хотѣлъ поцѣловать его руку⁵⁾. Онъ былъ и на собраніяхъ „Бесѣды“, и разумѣется, по убѣжденіямъ своимъ принадлежалъ къ ней. По смерти Державина, Панаевъ познакомился съ нѣкоторыми другими молодыми второстепенными литераторами, въ кругу которыхъ принадлежалъ и Милоновъ, и довольно подробно, хотя съ недѣлающею честью его уму и сердцу откровенностію останавливается въ „Воспоминаніяхъ“ на своихъ отношеніяхъ къ Пономаревой, женщинѣ весьма образованной, молодой и энергичной, блестящей представительницѣ средняго круга петербургскаго общества, у которой въ ту поръ

1) Вѣстн. Европы, 1867 г., III, стр. 242—243.

2) СПб. 1820.

3) XIII—XIV.

4) Вѣстн. Европы 1867 г., III, стр. 242.

5) Ibidem, стр. 246.

собиралось много писателей, привлекаемыхъ ея характеромъ и прелестью обращенія. О ней намъ придется еще сказать нѣсколько словъ, какъ и о тогдашнихъ литературныхъ кружкахъ столицы. Вся фальшь, однако, этихъ разсказовъ Панаева о Пономаревой была обнаружена современниками тотчасъ по выходѣ его записокъ.

Службою Панаевъ не пренебрегалъ такъ, какъ Милоновъ. „По обѣимъ частямъ (своихъ служебныхъ обязанностей) занимался я съ полнымъ усердіемъ,—говоритъ онъ,—являлся къ должности въ опредѣленной часъ, отправлялъ въ свою очередь ночное въ департаментѣ дежурство, ночевалъ тамъ съ клопами, утѣшаясь одобреніемъ и ласкою Деканскаго (главнаго регистратора), но не удостоиваясь никакого вниманія со стороны исправляющаго должность директора“¹⁾. По переходѣ въ другую службу, Панаевъ не оставлялъ, однако, своихъ занятій литературою, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ устроился въ департаментѣ путей сообщенія и дана была ему „казенная квартира, чистенькая, просторная“. Панаевъ помѣщалъ свои стихи и прозу въ „Вѣстникѣ Европы“, „Сынѣ Отечества“, а больше всего въ „Благонамѣренномъ“, журналѣ, издаваемомъ А. Е. Измайловымъ, который былъ съ нимъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ. Онъ сдѣлался членомъ двухъ литературныхъ обществъ, существовавшихъ тогда въ Петербургѣ и судя по „Воспоминаніямъ“ составилъ себѣ обширный кругъ знакомыхъ между писателями. Онъ сблизился „съ нѣкоторыми, въ которыхъ находилъ болѣе простоты и менѣе самолюбія — довольно коротко, съ другими — только слегка. Литература и тогда дѣлилась на нѣсколько партій или приходовъ. Не любя этого, я не принадлежалъ ни къ одному...“²⁾ Въ особенности Панаеву не нравились лицеисты, т. е. товарищи Пушкина, изъ которыхъ нѣсколько по окончаніи курса, тоже вслѣдствіе полученнаго ими образованія, взялись за литературу; къ нимъ применили другіе молодые люди одинаковыхъ съ ними лѣтъ. Это была либеральная партія и Панаевъ не благоволилъ къ ней. По его словамъ, „они были (оставляя въ сторонѣ гениальнаго Пушкина), по большей части, люди съ дарованіями, но и непопѣрнымъ самолюбіемъ. Имъ хотѣлось поскорѣе войти въ кругъ писателей, поравняться съ ними“³⁾. Въ особенности Панаевъ разошелся съ ними по отношенію къ С. Д. Пономаревой.

Въ 1820 году Панаевъ издалъ книжку своихъ „идиллій“, съ историческимъ и теоретическимъ введеніемъ объ этомъ родѣ поэзіи. Всѣ его идилліи суть подражанія Геснеру и въ этомъ отношеніи Па-

¹⁾ Ibidem, стр. 259.

²⁾ Ibidem, стр. 264.

³⁾ Ibidem.

наевъ послѣдовалъ совѣту, данному ему Державинымъ. Происхожденіе этихъ идиллій, конечно, надобно объяснять только теоріей; нужно было молодому писателю выбрать себѣ какой-нибудь родъ, какъ это дѣлалось тогда, тѣмъ болѣе, что, по словамъ Панаева, онъ видѣлъ недостатокъ этого рода въ нашей словесности, гдѣ со времени Сумарокова мало писалось идиллій. Онъ думалъ, по взгляду того времени, принести существенную пользу нашей литературѣ и наполнить своими идилліями существующій пробѣлъ. Но выборъ идиллическаго рода Панаевъ объяснялъ и личными причинами, собственною склонностію, „образомъ первоначальнаго своего воспитанія, мирною семейственною жизнію и частымъ пребываніемъ въ деревнѣ“ ¹⁾. Нечего и говорить, что образы и нравы послѣдней не встрѣчаются въ его идилліяхъ и что всѣ картины, всѣ характеры, имъ изображаемые, не имѣютъ ничего общаго съ жизнію и совершенно искусственны. Не смотря на это, идилліи были торжествомъ для Панаева: „Лучшіе писатели и большая часть читающей публики, — говоритъ онъ съ самодовольствомъ, — приняли ихъ съ отряднымъ для меня одобреніемъ; журналы отзывались благосклонно; Россійская Академія наградила меня золотой медалью; императрица Елисавета Алексѣевна — золотыми часами“ ²⁾. Все это не могло не содѣйствовать успѣху служебной карьеры Панаева. Въ 1823 году Панаевъ издалъ свое „Похвальное слово Кутузову“. И оно также послужило ему въ пользу, конечно не безъ хлопотъ со стороны автора. Оно сблизило его съ Шишковымъ, который вскорѣ послѣ того былъ назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія и взялъ автора къ себѣ на службу. Одинъ экземпляръ онъ послалъ къ статсъ-секретарю Лонгинову для поднесенія императрицѣ. „Спустя недѣлю, — рассказываетъ Панаевъ, — вижу сонъ, будто входитъ ко мнѣ придворный лакей и подаетъ красную сафьянную коробочку; раскрываю — три бриллантовые кружка. Въ это самое время (въ 8 часовъ утра) человекъ мой будитъ меня, говоря, что пріѣхалъ придворный ѣздовой. Надѣваю халатъ; выхожу — ѣздовой подаетъ мнѣ пакетъ; распечатываю — письмо отъ Лонгинова съ препровожденіемъ фермуара, пожалованнаго императрицею моею невѣстѣ!... Чѣмъ объяснить сей сонъ, такъ вѣрно и такъ быстро сбывшійся?“ — спрашиваетъ Панаевъ. Онъ отрицаетъ, что много думалъ о посланномъ государынѣ экземплярѣ и надѣялся на новую отъ нея милость. „Выходитъ, что сонъ этотъ принадлежитъ, — говоритъ авторъ, — къ числу многихъ подобныхъ неизъяснимыхъ явленій нашей жизни, гдѣ гордый, пытливый умъ человѣческій долженъ

¹⁾ Въмѣсто предисловія, XIX.

²⁾ Русск. Арх., 1867 г., III, стр. 267.

умолкнуть и гдѣ начинается область одной вѣры“¹⁾). Но и государь подарилъ за то же похвальное слово Панаеву богатый брилліантовый перстень. „Судя по тогдашнимъ цѣнамъ и небольшому чину моему— коллежскаго ассесора,—говорить Панаевъ,—милость эта была всѣми признана значительною, даже неожиданною, тѣмъ болѣе, что сочиненіе мое заключало въ себѣ мѣста щекотливыя, именно тамъ, гдѣ говорилось о постигшей Кутузова опалѣ“²⁾). Изъ этого видно, что литература была очень удачнымъ дѣломъ для Панаева и что онъ умѣлъ поступать такъ, чтобъ извлекать изъ нея всевозможныя выгоды, на что, конечно, не всякій способенъ. Литературные труды Панаева, при невзыскательности тогдашней критики и при существованіи системы покровительства, которая не умѣла хорошенько разобрать, за что слѣдуетъ наградить, составили служебную карьеру Панаева, положили основаніе его успѣхамъ по службѣ, но по мѣрѣ разширенія этихъ успѣховъ онъ постепенно охладѣвалъ къ литературному дѣлу, которое не могло уже приносить ему прежней пользы. Литература, которая въ Панаевѣ не была сознательнымъ служеніемъ обществу и необходимою потребностію души его, а только упражненіемъ въ томъ или другомъ родѣ или просто въ слогѣ, должна была быть скоро забыта имъ. Въ высокихъ чинахъ и звѣздахъ, онъ долженъ былъ смотрѣть на нее свысока, какъ на забаву молодости, и когда въ ту канцелярію, которой онъ былъ директоромъ, поступали молодые люди съ призваніемъ къ литературѣ, съ желаніемъ заниматься ею, онъ совѣтовалъ имъ бросить это занятіе и требовалъ отъ нихъ только службы, только одной службы. И этотъ типъ писателя, который уясняется намъ, благодаря собственнымъ запискамъ Панаева, приводитъ къ тому же нѣсколько разъ повторенному заключенію о бѣдности нашей литературы въ царствованіе Александра, о ея печальномъ удаленіи отъ жизни и дѣйствительности. Одобреніе властью литературныхъ трудовъ Панаева объясняется тѣмъ, что, по всей вѣроятности, цензура не вымарала изъ нихъ ни одной строчки.

ЛЕКЦІИ XVII и XVIII.

Н. И. Гнѣдичъ. — Переводные романы. — Нарѣжный.

Между людьми, сдѣлавшимися поэтами и литераторами совершенно случайно, было весьма немногихъ людей, смотрѣвшихъ серьезно на литературное свое призваніе, искренно преданныхъ ему во всю жизнь и получившихъ такое солидное образованіе, которое выдвигало ихъ изъ

¹⁾ Вѣстн. Европы 1867 г., IV, стр. 90—91.

²⁾ Ibidem.

ряда. Это образованіе, исключительно направленное въ одну сторону, отодвигало ихъ также отъ живыхъ интересовъ времени и общества, не давало имъ возможности хорошо понять ихъ, но за то позволило имъ оказать дѣйствительныя услуги русской литературѣ внесеніемъ въ нее элементовъ, прежде неизвѣстныхъ. Къ числу такихъ рѣдкихъ исключеній принадлежалъ Гнѣдичъ, писатель, хотя и одаренный небольшимъ поэтическимъ талантомъ, но знакомый, и вслѣдствіе полученнаго имъ первоначально образованія и потомъ вслѣдствіе усиленнаго труда почти цѣлой жизни, съ классическимъ міромъ и съ древней греческой поэзіей, что позволило ему обогатить русскую литературу замѣчательнымъ переводомъ Илиады. Вдали отъ литературныхъ партій того времени, не принадлежа всецѣло ни къ представителямъ „Бесѣды“, ни къ именамъ „Арзамаса“, Гнѣдичъ одинокой и большею частію болѣзненный, дѣлалъ свое дѣло, которое любилъ всею душою. Это не мѣшало ему находить искреннихъ и преданныхъ друзей въ разныхъ партіяхъ и поколѣніяхъ писателей того времени. Его любили за прекрасное, доверчивое сердце, за свѣтлый умъ, за страстныя и искреннія увлеченія міромъ искусства, которое онъ цѣнилъ во всѣхъ формахъ и видахъ его и за готовность служить при всякихъ обстоятельствахъ друзьямъ своимъ въ литературномъ мірѣ. Это заставляло смотрѣть всѣхъ снисходительно на его странную, педантическую фигуру, съ его классическими увлеченіями и вѣчнымъ Гомеромъ, напоминавшую старика Тредьяковскаго. Гнѣдичъ былъ некрасивъ собой, но имѣлъ претензію нравиться; его лицо было изуродовано оспой, которая сдѣлала его кривымъ, но подъ этою невзрачною и отталкивающимъ наружностію скрывалась прекрасная душа, которая заставляла всѣхъ любить его и забывать его наружность. Гнѣдичъ нисколько не былъ ослѣпленъ на счетъ размѣровъ своего поэтического таланта, онъ очень вѣрно опредѣлялъ стихи свои

„Дары небогатые строго-скупой моей музы“.

Но въ этихъ немногихъ стихахъ его, повторимъ его собственныя выраженія, всякій—

„Узнаешь изъ нихъ, что въ груди моей бьется, быть можетъ,
 Не общее сердце; что съ юности нѣжной оно трепетало
 При чувствѣ прекрасномъ, при помыслѣ важномъ или смѣломъ,
 Дрожало при имени славы или гордой свободы;
 Что съ юности нѣжной, любовію къ музамъ пылая,
 Оно сохраняло, во всѣхъ коловратностяхъ жизни,
 Сей жаръ, хоть не пламенный, но постоянный и чистый;
 Что не было видовъ, что не было мзды, для которыхъ
 Душой торговалъ я, что бывши не разъ искушаемъ

Могуществомъ гордимъ, изъ опытовъ вышелъ я чистымъ;
Что жертвъ не куривъ, возжигаемыхъ идоламъ міра,
Ни словомъ однимъ я безсмертной души не увидилъ“ ¹⁾.

Дѣйствительно Гнѣдичъ, былъ глубоко честною натурою. Биографъ его, впрочемъ представившій о Гнѣдичѣ самыя скудныя свѣдѣнія, приводитъ одну фразу его, которая можетъ служить его характеристикю: „Умомъ моимъ я не всегда доволенъ: онъ нерѣдко увлекается; но душею—всегда: она ни разу меня не обманула“ ²⁾.

Николай Ивановичъ Гнѣдичъ былъ родомъ изъ Малороссіи. Онъ родился въ Полтавѣ въ 1784 году и происходилъ изъ очень небогатыхъ дворянъ того края. Первоначальное воспитаніе Гнѣдичъ получилъ въ Полтавской семинаріи, гдѣ, вѣроятно, положено было прочное основаніе для знакомства съ древними языками. Въ 1800 году онъ поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ прилежно продолжалъ заниматься древними языками и познакомился съ французскимъ и нѣмецкимъ. Современникъ рассказываетъ, что въ университетѣ и товарищи и профессеры любили добраго, умнаго и миролюбиваго Гнѣдича, хотя и подсмѣивались надъ его педантическимъ видомъ, надъ привычкою говорить свысока и придавать значеніе самымъ пустымъ обстоятельствамъ. Еще въ университетѣ онъ полюбилъ чтеніе гекзамеровъ въ Телемахидѣ Тредьяковскаго и выдерживалъ изъ-за нея споры съ своими товарищами, которые удивлялись его странному вкусу и не могли понять его. Тамъ же Гнѣдичъ пріучился декламировать, что продолжалъ онъ дѣлать и потомъ, славясь мастерскимъ чтеніемъ и кромѣ того получилъ искреннюю страсть къ театру, которая не оставляла его до самой смерти. Гнѣдичъ полюбилъ Шекспира, хотя и не былъ знакомъ съ нимъ въ подлинникѣ, и Шиллера. Его страстью сдѣлалась трагедія. Первые литературные труды его, за которые онъ взялся еще въ университетѣ, чтобы получить деньги, были переводы трагедій: Дюссиса „Абуфаръ или Арабская семья“ ³⁾ и Шиллера „Заговоръ Фіеско въ Генуѣ“ ⁴⁾. Тогда же онъ написалъ плохой подражательный романъ: „Донъ Коррадо де Геррера или Духъ мщенія и варварства испанцевъ“ ⁵⁾. Преобладающею страстію его была однако трагедія. Основываясь на примѣрахъ мистерій среднихъ вѣковъ и Шекспировыхъ историческихъ хроникъ, которыя дѣлятся на нѣсколько частей, Гнѣдичъ задумалъ было самъ написать

¹⁾ Къ моимъ стихамъ.

²⁾ *Лобановъ*, Биографія Н. И. Гнѣдича. „Сынъ Отеч.“, 1842, XI, стр. 26.

³⁾ М. 1802.

⁴⁾ М. 1803.

⁵⁾ М. 1803.

драму въ 15 дѣйствіяхъ, но предпріятіе его осталось неоконченнымъ: нужно было ѣхать служить въ Петербургъ ¹⁾). На студенческомъ театрѣ Гнѣдичъ любилъ выбирать для себя трагическія роли.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, отнекивая мѣсто, Гнѣдичъ находился въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Рассказываютъ, что не имѣя денегъ, онъ принужденъ былъ обратиться за помощью къ графу Хвостову и написалъ ему стихотворное посланіе ²⁾). Ему помогъ его соотечественникъ, тоже классикъ, извѣстный намъ И. И. Мартыновъ, давшій ему мѣсто подъ своимъ начальствомъ, въ департаментѣ народнаго просвѣщенія, гдѣ онъ оставался на службѣ до 1817 года. Съ этого времени онъ сталъ принимать дѣятельное участіе въ петербургской литературѣ и помѣщалъ свои стихи сначала въ журналахъ, издаваемыхъ Мартыновымъ: „Сѣверный Вѣстникъ“, „Лицей“, а потомъ и въ другихъ. Съ этихъ поръ онъ сближается съ разными писателями, и съ молодыми и съ старыми и живетъ постоянно въ литературномъ кругѣ. Мы уже видѣли, въ какой тѣсной дружбѣ находился онъ съ Батюшковымъ; вмѣстѣ съ нимъ онъ участвовалъ въ „Цвѣтникѣ“, издававшемся молодыми писателями. Онъ принадлежалъ къ обществу любителей русской словесности, которое подъ разными названіями существовало очень долго. Дружбу съ Батюшковымъ и поэтическія мечты съ нимъ Гнѣдичъ цѣнилъ очень высоко, какъ это видно изъ его стихотвореній ³⁾). Но и со старыми писателями онъ сблизился съ самаго пріѣзда своего въ Петербургъ. Гнѣдичъ былъ знакомъ съ Капнистомъ, тоже малороссомъ и близкимъ другомъ и родственникомъ Державина. Когда образовалась „Бесѣда“ онъ сдѣлался ея членомъ, хотя на первыхъ порахъ чуть-было не разошелся съ Державинымъ. Послѣдній, какъ и многіе другіе, любилъ въ Гнѣдичѣ талантъ отличнаго чтеца и приглашалъ его читать въ собраніяхъ свои трагедіи. Но Гнѣдичъ смѣялся надъ „Бесѣдою“ и ея членами. „У насъ заводится названное съ начала Ликей, потомъ Аѳиней и наконецъ Бесѣда или общество любителей російской словесности“, пишетъ онъ къ Капнисту... Разсказавъ ея внѣшнее устройство въ домѣ Державина, Гнѣдичъ продолжаетъ: „Чтобы въ случаѣ пріѣзда вашего и посѣщенія Бесѣды не прійти вамъ въ конфузю, предувѣдомляю васъ, что слово проза называется у нихъ *говоръ*, билетъ—*значекъ*, номеръ—*число*, швейцаръ—*въстникъ*; другихъ словъ еще не вытвердилъ, ибо и самъ новичекъ. Въ залѣ Бесѣды будутъ публичныя чтенія, гдѣ *будутъ совокупляться знатныя особы обоого пола*—подлинное

¹⁾ Жихаревъ, Записки, стр. 158.

²⁾ Вигель, Записки, ч. III, стр. 146.

³⁾ Къ К. Н. Батюшкову и Дружба.

выраженіе одной статьи устава Бесѣды¹⁾. Бесѣда задѣла и самолюбіе Гнѣдича. Члены различныхъ разрядовъ ея въ спискахъ, составленныхъ по выбору, были разставлены по старшинству чиновъ. Это не могло понравиться Гнѣдичу: „Отдавая всю справедливость и уваженіе заслугамъ по службѣ, писалъ онъ Державину, я тогда только позволю себѣ видѣть имя свое ниже нѣкоторыхъ господъ, послѣ какихъ внесены я въ списокъ, когда дѣло будетъ идти о чинахъ“²⁾. Несмотря на это недоразумѣніе, кажется, однако, что Гнѣдичъ участвовалъ въ засѣданіяхъ Бесѣды и читалъ въ нихъ до самаго конца ея существованія.

Существуетъ очень мало стихотвореній Гнѣдича, въ которыхъ выражалось бы личное чувство его. Человѣкъ скромный, тихій, одинокій, любившій уединеніе, онъ рѣдко высказывался, да едва ли и могъ. Какъ во всякомъ южно-русскѣ, и въ Гнѣдичѣ сильно развито было чувство любви къ своей родинѣ и въ особенности къ роднымъ. Впрочемъ, его семейныя отношенія намъ почти неизвѣстны. Изъ Петербурга онъ ѣздилъ нѣсколько разъ на родину. Такъ въ 1805 году, онъ посѣтилъ гробъ матери, которую, кажется, потерялъ еще въ дѣтствѣ:

„Отъ колыбели я остался
Въ печальномъ мірѣ сиротой,
На утрѣ дней моихъ разстался,
О мать бездѣнная, съ тобой“.

Онъ жалуется на свою печальную судьбу: ...„Оставленный тобою, говорить онъ о матери, я отъ пеленъ усыновленъ суровой мачихой—судьбою“³⁾. Была у Гнѣдича сестра, которой онъ передалъ небольшое отцовское наслѣдство. Она умерла молодой женщиной и Гнѣдичъ перенесъ всѣ свои сердечныя привязанности на ея единственную маленькую дочь, которую онъ называетъ своей „последней земной привязанностію“.

„Тебя далекую, невиданную мною,

говоритъ онъ въ исполненномъ грусти стихотвореніи, написанномъ имъ по случаю смерти племянницы,

Любилъ, делѣялъ я во глубинѣ души,
Какъ лучшую мечту, какъ сладкую надежду“⁴⁾.

¹⁾ Соч. Державина, т. VI, стр. 375.

²⁾ Ibidem, стр. 203.

³⁾ На гробъ матери.

⁴⁾ На смерть дочери покойной сестры.

Не имѣя такимъ образомъ близкихъ людей, привязанность къ вторымъ могла бы наполнить его сердечную пустоту, Гнѣдичъ постоянно жаловался на свое одиночество. Оно томило его. Въ стихотвореніи „Дума“ онъ высказываетъ свою личную жалобу:

„Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!
Ничьей не ласкаемъ рукою,
Отъ дѣтства я росъ одиноко, сиротю;
Въ путь жизни пошелъ одиноко;
Прошелъ одиноко его—тощее поле,
На коемъ, какъ въ знойной Ливійской юдоли,
Не встрѣтились взору ни тѣнь, ни цвѣтокъ;
Мой путь одинокъ я кончаю,
И хилую старость встрѣчаю
Въ домашнемъ быту одиноко:
Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!“

Всю жизнь Гнѣдичъ мечталъ о семейномъ счастіи. Свидѣтельствомъ желаній этихъ могутъ служить разные наброски, въ которыхъ онъ записывалъ мысли и чувства или собственныя или навѣянные чтеніемъ чужихъ произведеній. Нѣсколько такихъ афоризмовъ, изъ бумагъ Гнѣдича, напечаталъ Лобановъ въ своей статьѣ о немъ. „Долго испытывая, что такое счастье, или лучше сказать — на чемъ бы хотѣлъ я основать мое счастье, нахожу, что постоянство и однообразіе жизни, спокойствіе духа и свобода, образованность сердца и раздѣленіе чувствъ его — вотъ источники счастья, мною воображаемаго. Только воображаемаго! Какъ я бѣденъ!... Главнѣйшій предметъ моихъ желаній—домашнее счастье... Но увы! я бездоменъ, я безроденъ. Кругъ семейственный есть благо, котораго я никогда не вѣдалъ. Чуждый всего, что могло бы меня развеселить, ободрить, я ничего не находилъ въ пустотѣ домашней, кромѣ хлопотъ, усталости, унынія. Меня обременяли всѣ заботы жизни домашней, безъ всякаго изъ нея наслажденій“... ¹⁾). Къ тому же и здоровье Гнѣдича было плохое; онъ часто хворалъ. Но за то въ этомъ невольномъ уединеніи и отчужденіи отъ всего внѣшняго міра, Гнѣдичъ тѣмъ съ большимъ увлеченіемъ и страстію погружался въ міръ поэзіи, преимущественно классической, и въ міръ искусства. Гнѣдичъ страстно любилъ и живопись и музыку и тѣмъ сильнѣе были его увлеченія, что рѣдко удавалось ему съ кѣмъ-нибудь раздѣлять ихъ. Изъ міра поэзіи и искусства Гнѣдичъ любилъ больше всего театръ, это была его страсть исключительная, и хотя самъ онъ не написалъ ни одной оригинальной пьесы, но мы видѣли, что, еще будучи московскимъ студентомъ, онъ переводилъ трагедіи.

¹⁾ „Сынъ Отеч.“, 1842, XI, стр. 28—29.

Эта страсть нашла еще больше удовлетворенія въ Петербургѣ. Какъ литераторъ, какъ знатокъ искусства, какъ отличный чтецъ и декламаторъ, Гнѣдичъ получилъ большую извѣстность въ литературныхъ и близкихъ къ театру кружкахъ. Его вкусъ и сужденія уважались. Изъ всѣхъ трагическихъ поэтовъ Гнѣдичъ нынѣ ставилъ Шекспира и приходилъ въ восторгъ отъ характера Гамлета, хотя онъ знакомъ былъ съ произведениями англійскаго драматурга по французскому переводу Дюсиса ¹⁾. Мнѣнія Гнѣдича вообще были правильны въ этомъ вопросѣ.

Но классическая теорія, въ которой онъ былъ воспитанъ, брала, разумѣется, перевѣсъ, и съ ея точки зрѣнія Гнѣдичъ долженъ былъ смотрѣть и на Шекспира. Въ 1807 году онъ поставилъ на петербургскую сцену, а въ слѣдующемъ году напечаталъ свою трагедію „Леаръ“, „взятую изъ Шекспира“. Конечно, съ большимъ трудомъ можно узнать въ ней знаменитаго „Короля Лира“. Это не переводъ, а подражаніе или скорѣе передѣлка. Гнѣдичъ былъ недоволенъ ни Шекспиromъ, ни переводчикомъ его Дюсисомъ. Ему не нравится сумашествіе Лира въ Шекспировомъ оригиналѣ; ему не нравится, что Дюсисъ, въ своей передѣлкѣ, сдѣлалъ Лира „легкомысленнымъ, возмутительнымъ, властолюбивымъ“. Это заставило Гнѣдича, по его собственнымъ словамъ, „прибѣгнуть къ изобрѣтенію“; даже развязка трагедіи переименована у него ²⁾. Публика, конечно, была такъ мало знакома съ настоящимъ Шекспиromъ, что Гнѣдичу не стоило и оправдываться въ своихъ передѣлкахъ; „Леаръ“ имѣлъ большой успѣхъ на сценѣ, точно такъ, какъ и другая переводная трагедія Гнѣдича, на этотъ разъ взятая изъ псевдоклассическаго театра „Танкредъ“—Вольтера ³⁾. Къ этому времени литературныхъ успѣховъ Гнѣдича на театрѣ, относится сближеніе его съ знаменитой трагической актрисой того времени Семеновою, которая возбуждала восторгъ публики въ пьесахъ Озерова и въ „Лирѣ“, передѣланномъ Гнѣдичемъ,—въ роли Корделии. Скоро, впрочемъ, Семенова, слѣлавшись благодаря своей классической красотѣ, княгиней Гагариною, оставила сцену. По словамъ современниковъ своимъ талантомъ, повиманіемъ трагическихъ сторонъ характеровъ, да и вообще своею славою Семенова обязана была исключительно Гнѣдичу. Съ глубокою преданностью, можетъ быть съ затаенною страстью къ прекрасной женщинѣ, Гнѣдичъ слѣдилъ за ея развитіемъ и проходилъ съ ней усердно главныя трагическія роли, въ которыхъ она появлялась на сценѣ. Труда и усердія

¹⁾ Жихаревъ, Записки, стр. 350.

²⁾ Леаръ, траг. въ пяти дѣйствіяхъ. Спб. 1808. Предисловіе.

³⁾ Спб. 1810.

на это любимое дѣло, въ которомъ удовлетворялась его страсть въ театру и любовь къ изящному, Гнѣдичъ положилъ очень много, за то и добился блестящихъ результатовъ. Говорятъ даже, что частая и усиленная декламация, чтеніе вслухъ и сильное напряженіе при этомъ положили въ немъ начало той болѣзни, которая свела его въ могилу — расширенію артеріи сердца.

„Свершай путь начатый; онъ труденъ, но почтенъ,—

говорить Гнѣдичъ въ своемъ стихотворномъ посланіи къ Семеновой:

Дается свыше даръ, и всякій даръ священъ;
Но ихъ природа намъ не вгунѣ посылаетъ:
Природа даръ даетъ, а трудъ усовершеняетъ;
Цѣни его и уважай,
Искусствомъ, опытомъ, трудомъ обогащай,
И шествуй гордо въ путь, въ прекрасный путь за славой.

Скоро, однако, другая могучая, уединенная страсть наполнила душу Гнѣдича и не оставляла его до самой смерти. Мы говоримъ о его замѣчательномъ переводѣ Иліады, трудѣ, которому онъ посвятилъ много лѣтъ своей жизни и который дѣйствительно составляетъ приобрѣтеніе нашей литературы. Переводъ этотъ, къ счастью самого Гнѣдича, даже на первыхъ порахъ, нашелъ одобреніе и матеріальную помощь, такъ что онъ безпрепятственно и спокойно могъ продолжать его. Писатели, любившіе Гнѣдича, также смотрѣли на трудъ его съ уваженіемъ и одобрили тѣ отрывки, которые появлялись въ тогдашнихъ журналахъ. А сначала Гнѣдичъ отчаявался. „Карабаться до столбовъ Геракулесовыхъ до тѣхъ поръ, пока отъ дороги и труда упаду ободраннѣе и изнеможеннѣе? Какіе усладительные виды, а особливо для старости!“ писалъ Гнѣдичъ къ Капнисту въ 1811 году ¹⁾. Онъ собирался было ѣхать при посольствѣ въ Сѣверную Америку, но „убоялся, говоритъ онъ, чтобъ при повтореніи Виргиліевой бури меня не замутило и не потерпѣть бы мнѣ судьбы Палинура“ ²⁾. Гимны Гомера въ переводѣ онъ сталъ печатать съ 1808 года и тогда же принялся за продолженіе перевода Иліады, сдѣланнаго александрійскими стихами еще въ прошломъ вѣкѣ Костровымъ. Этотъ старый переводчикъ напечаталъ при жизни своей шесть пѣсенъ; трудъ его ставили очень высоко въ литературѣ и Гнѣдичъ, хорошо знакомый съ Гомеромъ еще въ университетѣ, по совѣту ли другихъ или по собственному убѣжденію, рѣшился продолжать его. До 1812 года онъ пере-

¹⁾ Соч. Державина, т. VI, стр. 375.

²⁾ Ibidem, стр. 376.

велъ около пяти пѣсень, печатая отрывки ихъ въ журналахъ и читая ихъ въ разныхъ литературныхъ обществахъ, какъ вдругъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1811 года ¹⁾ появилось случайно найденное продолженіе перевода Кострова, состоящее изъ 7-й, 8-й и 9-й части пѣсень Иліады. Гнѣдичъ сталъ отчаяваться, говорилъ, что начинаніе труда его было напрасно, жаловался, что онъ суетно потерялъ на этотъ трудъ шесть лѣтъ жизни ²⁾. Незадолго до этого онъ получилъ новое служебное мѣсто и матеріальную помощь для перевода Гомера. Въ 1811 году Гнѣдичъ поступилъ на службу въ Публичную Библіотеку, не оставляя, однако, своей должности въ департаментѣ до 1817 года. Директоромъ Библіотеки былъ тогда графъ А. С. Строгановъ, большой любитель искусствъ. Онъ былъ искренно расположенъ къ Гнѣдичу и труду его и понималъ все его значеніе для русской литературы. Въ домѣ его Гнѣдичъ былъ принятъ съ истиннымъ радушіемъ. Мѣсто Строганова, скоро умершаго, занялъ Оленинъ, о которомъ намъ не разъ уже приходилось говорить. Въ его домѣ Гнѣдичъ былъ также принятъ какъ родной, вмѣстѣ съ Крыловымъ, своимъ сослуживцемъ; дружба ихъ завязалась тутъ и длилась до самой смерти Гнѣдича. Ласкамъ и радушію Оленина и жены его, извѣстной Елизаветы Марковны, Гнѣдичъ былъ многимъ обязанъ. Въ своемъ стихотвореніи „Пріютино“ (такъ называлось имѣніе Олениныхъ подь Петербургомъ), посвященномъ имъ женѣ своего начальника, Гнѣдичъ рассказываетъ свои уединенныя прогулки по его лѣсамъ въ теченіе многихъ лѣтъ:

„Здѣсь часто по холмамъ бродилъ съ моею мечтою,
И спящее въ глуши безжизненныхъ лѣсовъ
Я эхо съвера вечернею порою
Будилъ гармоніей Гомеровыхъ стиховъ“.

И тотъ и другой начальники Гнѣдича, говоритъ Лобановъ, не столько службы требовали отъ него, сколько Иліады. Безъ сомнѣнія, при ихъ посредствѣ предпринятый Гнѣдичемъ переводъ Иліады дошелъ до свѣдѣнія Высочайшихъ особъ. Покровительница Карамзина, великая княгиня Екатерина Павловна, назначила Гнѣдичу въ 1812 году пенсію въ 1000 рублей, которую онъ получалъ по самую смерть свою. Онъ удостоился приглашенія и къ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и читалъ въ ея присутствіи свой переводъ. Объ этомъ онъ самъ говоритъ въ своихъ стихотвореніяхъ. По смерти великой княгини онъ написалъ „Приношеніе“, въ которомъ высказываетъ свою

¹⁾ Ч. 58, № 14.

²⁾ Соч. Державина, т. VI, стр. 376.

печаль, что ему не удалось поднести ей окончанный переводъ Иліады. Но Гнѣдичъ посвящаетъ его ея памяти, ея имени:

„Такъ имя твое да украситъ мой свитокъ;
И пусть оно скажетъ потомкамъ, что я,
Избранный тобой проповѣдникъ Гомера,
Не вовсе пѣвцовъ недостойную жертву
Принесъ на священный отчизны алтарь“¹⁾.

Нѣсколько лѣтъ труда надъ продолженіемъ перевода Иліады, начатаго Костровымъ александрійскими стихами, хотя и казались сначала Гнѣдичу напрасно потерянными, не были, однако, безплодными. Онъ успѣлъ полюбить Гомера и не могъ уже съ нимъ разстаться. Въ годъ появленія найденнаго продолженія Кострова, когда Гнѣдичъ колебался, на его трудъ обратилъ вниманіе Уваровъ, научно знакомый съ содержаніемъ и характеромъ греческой поэзіи. Онъ убѣдилъ Гнѣдича оставить совершенно александрійскій стихъ, который требовался необходимо для эпической поэмы ложно-классической теоріей, и приняться за новый переводъ Иліады—размѣромъ подлинника, т.-е. гекзаметромъ, неудачный опытъ котораго былъ представленъ въ прошломъ вѣкѣ Телемахидою. Кажется, и самъ Гнѣдичъ съ самаго начала сознавалъ достоинство гекзаметра для русскаго перевода Гомера: „Кончивъ шесть пѣсень, я убѣдился опытомъ, говоритъ онъ въ предисловіи, что переводъ Гомера, какъ я его разумѣю, въ стихахъ александрійскихъ невозможенъ, по крайней мѣрѣ для меня; что остается для этого одинъ способъ, лучшій и вѣрнѣйшій—гекзаметръ... Люди образованные (Уваровъ) одобрили мой опытъ и вотъ, что дало мнѣ смѣлость отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и Виргилія, прикованный къ нему Тредіаковскимъ“²⁾. Дѣйствительно, по настоянію Уварова Гнѣдичъ сталъ переводить Гомера гекзаметрами. Уваровъ написалъ съ этою цѣлію письмо къ Гнѣдичу, помѣщенное въ „Чтеніяхъ Бесѣды“ вмѣстѣ съ отвѣтомъ послѣдняго и отрывками перевода уже въ новомъ размѣрѣ³⁾. Нашлись писатели, которые стояли за прежній александрійскій размѣръ, напр., Капнистъ, доказывавшій въ своемъ письмѣ къ Уварову, что гекзаметръ невозможенъ въ русскомъ языкѣ. Онъ предлагалъ переводить Гомера размѣромъ русской пѣсни или былины. Его поддерживали и другіе. Эта полемика или „вопли старовѣровъ литературныхъ“—по выраженію Гнѣдича, напе-

1) Приношеніе Екатерины Павловны, покойной королевы Виртембергской.

2) Иліада, изд. 1839 г., стр. XVI.

3) Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова. Чтеніе тринадцатое. Спб. 1813 г. стр. 56—86.

чатана также въ Читеніяхъ ¹⁾. Она вызвала даже сатирическіе стихи Воейкова:

„Вотъ ямбонъ защищая честь,
Не зная, что гекзаметръ есть,
Въ филиппикѣ многорѣчивой,
Капнисть рассказываетъ намъ,
Что въ музыкѣ Гораціи самъ
Не зналъ ни толку, ни размѣра,
Что ухо грубо у Гомера“ ²⁾.

Переводъ Иліады стоилъ Гнѣдичу нѣсколько лѣтъ жизни и большаго труда. Онъ изучалъ не одинъ языкъ Гомера, а все что только было писано о поэмахъ его въ европейской наукѣ, знакомился со всѣми разнообразными толкованіями Гомера. Гнѣдичу хотѣлось снабдить свой переводъ объясненіями, которыя онъ считалъ тѣмъ болѣе необходимыми, что наше общество совершенно незнакомо съ классическою литературою и съ содержаніемъ древняго міра. „Фоссъ могъ издать свой переводъ Гомера безъ всякихъ примѣчаній—говорить Гнѣдичъ; онъ не опасался никакихъ недоразумѣній со стороны читателя... Но древняя тьма лежитъ на рощахъ русскаго Ликае“ ³⁾ и Гнѣдичъ жалуется на господство въ нашей литературѣ одностороннихъ французскихъ сужденій, которыя не позволяютъ правильно смотрѣть на Гомера. Свой собственный взглядъ на Гомера Гнѣдичъ достаточно высказалъ въ своемъ „предисловіи“ къ переводу. Взглядъ этотъ, конечно, соотвѣтствовалъ научному уровню того времени, но теперь онъ значительно измѣнился, какъ измѣнился самый языкъ, которымъ переводилъ Гнѣдичъ и о которомъ онъ много заботился. Какъ извѣстно, языку перевода Гнѣдича недостаетъ простоты и естественности, которыя очевидны въ подлинникѣ; на переводѣ его отразилось сильное вліяніе „Бесѣды“ и господствовавшего въ ней вкуса; Гнѣдичъ не желалъ ограничиваться „языкомъ гостинныхъ и скудными еще нашими словарями“. Онъ употреблялъ и слова малоизвѣстныхъ, областныхъ, но болѣе всего матеріала доставилъ ему языкъ церковно-славянскій. Отъ этого его Иліада имѣетъ нѣсколько торжественный тонъ, не вполне соотвѣтствующій подлиннику; въ этомъ сказался старинный теоретическій взглядъ на эпическую поэму. Недостатки эти, конечно значительны, но въ нихъ надобно видѣть вліяніе времени и образованія, полученнаго Гнѣдичемъ; притомъ они не такъ важны, чтобъ читатель не могъ изъ-за нихъ познакомиться съ содержаніемъ всемірно-исторической поэмы и полюбить Гомера. Трудъ Гнѣдича во

¹⁾ Читеніе семнадцатое. Спб. 1815 г., стр. 18—42 и 47—66.

²⁾ Современ. 1857 г., № 3.

³⁾ Иліада, изд. 1839 г., стр. I—II.

всякомъ случаѣ заслуживаетъ полнаго и глубокаго уваженія, потому что онъ дѣлалъ достояніемъ русской литературы такое великое произведеніе, съ которымъ она вовсе не была до него знакома и такимъ образомъ способствовалъ обогащенію ея содержанія, развитію художественнаго вкуса. Скромный и уединенный труженикъ сдѣлалъ много. Нѣсколько десятилѣтій тому назадъ переводъ Гнѣдича ставился очень высоко. „Русскіе владѣютъ едва ли не лучшимъ въ мірѣ переводомъ „Иліады“, восторженно говоритъ Бѣлинскій. Этотъ переводъ, рано или поздно, сдѣлается книгою классическою, настольною и станетъ краеугольнымъ камнемъ эстетическаго воспитанія. Не понимая древняго искусства, нельзя глубоко и вполне понимать вообще искусство“¹⁾.

Переводъ Иліады вышелъ въ 1829 году. Современные писатели, академія російская, власти—встрѣтили его чрезвычайно благосклонно. Въ этомъ отношеніи Гнѣдичъ не могъ пожаловаться на равнодушіе къ нему. Вотъ что писалъ между прочимъ Пушкинъ въ издаваемой пріятелемъ его Дельвигомъ „Литературной газетѣ“ о трудѣ Гнѣдича: „Наконецъ вышелъ въ свѣтъ такъ давно и такъ нетерпѣливо ожидаемый переводъ Иліады! Когда писатели, избалованные минутными успѣхами, большею частію устремились на блестящія бездѣлки; когда талантъ чуждается труда, а мода пренебрегаетъ образцами величавой древности; когда поэзія не есть благоговѣнное служеніе, но токмо легкомысленное занятіе: съ чувствомъ глубокимъ уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятившаго гордо лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго высокаго подвига. Русская Иліада передъ нами“²⁾. Посреди романтическихъ стремленій тогдашней литературы и неестественныхъ, вычурныхъ характеровъ, которые тогда нравились всѣмъ, какъ выраженіе тогдашняго идеала—свободы гениальной личности, простой міръ Гомера, его скульптурные боги и герои—казались какимъ-то откровеніемъ. Передъ ними становилось неловко. Тотъ же Пушкинъ писалъ: „Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи, старца великаго тѣнь чую смущенной душой“³⁾.

Что Гнѣдичъ съ искреннею любовью и по призванію посвятилъ нѣсколько лѣтъ своей жизни Гомеру, доказываютъ его собственныя слова, что „чистѣйшими удовольствіями въ жизни онъ обязанъ былъ Гомеру“, что онъ „забывалъ труды, которые налагала на него любовь къ нему“⁴⁾. То же доказывается и его апопееозою Гомера въ большомъ стихотвореніи „Рожденіе Гомера“, которое было бы лучше,

¹⁾ Бѣлинскій. Сочиненія Александра Пушкина. Гл. III.

²⁾ О выходѣ Иліады въ переводѣ Гнѣдича.

³⁾ На переводъ Иліады.

⁴⁾ Иліада. Изд. 1839 г., стр. XVIII.

Въ книжномъ складѣ при типографіи М. М. СТАСЮЛЕВИЧА

(Спб., В. О., 5 линія, д. 28)

имѣются въ продажѣ изданія Историческаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ:

1. „Историческое Обзорѣніе“, издаваемое подъ редакціей *Н. И. Карьева*. Цѣна I тома 2 р. 50 к.; II, III, IV, V, VI и XI по 2 р.; VII, VIII, IX, X и XII—по 1 р. 50 к.

2. **Личные мемуары г-жи Роланъ**. Переводъ *Н. Г. Вернадской*. Цѣна 1 р.

3. **С. И. Носовичъ**. Крестьянская реформа въ Новгородской губерніи (1861—1863). Съ предисловіемъ *В. И. Семевского*. Цѣна 1 р. 50 к.

Изданіе помѣщается въ книжн. складѣ тип. М. М. Стасюлевича.

(Спб., Вас. Остр., 5 л., д. 28).